

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Михаил Косарев
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Елена Богданова
редактор отдела общественно-политической жизни

Евгения Акимова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая
Верстка: О. Н. Вялкова

8/2022

Содержание

ПРОЗА

- Леонид ПОЛИНОВСКИЙ. Куртуазное воспитание.** Рассказы. 3
Алина ПОЖАРСКАЯ. Любовь, и борщ, и психобилли. Рассказ. 39
Алексей ШУПИКОВ. Браслеты дружбы. Рассказы. 66

ПОЭЗИЯ

- Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Осень в рощах.** Стихи. 36
Светлана МИХЕЕВА. Пустое место сада. Стихи. 61
Владимир ТИТОВ. Семафоры. Стихи. 78

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Наталья ЛЕВЧЕНКО. «Азию» я писал... кровью сердца.**
Николай Анов и его роман «Азия». 81
Николай АНОВ. Азия. Роман. 92

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Александр АГАЛАКОВ. «Сибирский Фокс».**
От фарта до расстрела. 137

Народные мемуары

- Вячеслав ИГРУНОВ. Хроники долгого детства. Окончание.** 154

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА. «Нет смерти сердцу...»**
О Константине Николаевиче Батюшкове. 174

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

- Лариса МАРТЫНОВА. Сын солнца.**
О художнике Марате Джунусове. 185

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Леонид ПОЛИНОВСКИЙ

КУРТУАЗНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Р а с с к а з ы

Цыганы

*Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют...*

А. С. Пушкин

Общение в поезде самое удобное: никто никому не навязывается, говори, рассказывай, что хочешь, или залез на верхнюю полку, отвернулся да и закрыл глаза. Тебя чуть покачивает, а то потянет немного вверх, в сторону, — и заскрипит где-то нехотя и лениво, как будто потревожили кого-то там внизу, под вагоном. И состояние такое умиротворенное, и мысли спокойные, медленные... Да и куда спешить: ехать-то еще долго-долго. И кажется, лежишь себе просто, как в люльке, дремлешь — ан нет: ты за это время столько уже проехал, преодолел, что если бы, к примеру, пешком, то и месяца бы не хватило.

На второй день решаешься на отчаянный шаг — сходить в вагон-ресторан пообедать. Не то чтобы продуктовые запасы кончились или нельзя приобрести чего-то съестного на перроне, а так, больше для развлечения.

Добраться до ресторана — целое приключение. Чего стоят переходы между вагонами, где мотаются и скрипят железные челюсти изголодавшегося динозавра! В бессильной злобе наезжают они друг на друга, с трудом перемалывая пространство.

Пустынный враждебный коридор другого вагона. Чужая территория. Кажется, вот-вот одна из длинного ряда дверей распахнется — и вывалившийся из нее мафиози с небольшим автоматом сразу даст короткую очередь. Ковровая дорожка упрямо ползет вбок, прижимая тебя к закрытым дверям. Изредка встретишь одного-двух человек, похожих на провинившихся учеников, изгнанных из класса. Каждый из них стоит против своей двери и с отрешенным видом смотрит в окно поверх занавесок.

Еще один переход над бездной — и ты неожиданно попадаешь в самую гущу людей, народных масс, сограждан, которые решили не оплачивать сомнительный купейный комфорт, ограничивая себя узким кругом общения. Люди везде: со всех сторон, сверху и снизу. Еле успеваешь уворачиваться.

Общий вагон изнутри достоин кисти великого испанского художника Диего Веласкеса или не менее великого Франсиско Гойи. Вот один пассажир, с нижней полки, живописно раскладывает на столике домашние припасы; другой, лежа над ним на животе, отложил раскрытую книгу и в задумчивости наблюдает за быстрой сменой картин родной природы. Необычно много детей, и число их, кажется, увеличивается с каждым днем. Не знаю, как теперь, а раньше дети любили ездить в общих вагонах. Запах, конечно, специфический, зато весело!

Но вот наконец узкий коридорчик, за ним зал. Столики, салфетки, скатерти, вежливый официант. Особый запах борща...

К себе в купе возвращаешься тем же путем. Переходы между вагонами теперь еще опаснее: железные челюсти быстрее мотаются взад-перед над решеткой шпал. Жизнь в общих вагонах придерживается своего неспешного сценария. Некоторые еще обедают, другие уже кемарят с открытой книгой или журналом на груди. Даже детвора притихла. Коридоры купейных совсем опустели. А вот, кажется, и наш вагон: мужик в пижаме бредет с двумя пустыми стаканами за кипятком. Такая пижама одна на весь поезд.

Обращение «мужик» сегодня звучит панибратски, как простонародная, нарочито грубоватая шутка. В нем слышится беззлобная ирония и нет оскорбительного пренебрежения, как, скажем, в слове «баба». Както, когда я работал в вузе, весь наш преподавательский состав должен был пройти медицинский осмотр чуть ли не у десяти врачей. Многие старались занять сразу несколько очередей, в разные кабинеты. Молодой человек, за которым занимали очередь, на вопрос «Кто перед вами?» ответил: «Да тут еще один мужик приходил». Интеллигентную даму, стоявшую в той же очереди, это покорило, и она посчитала нужным поправить: «Не мужик, а декан заочного факультета!» Слава богу, не прибавила всех остальных его титулов.

А поезд мчится так, как будто освободился, сбросил путы, весь отдался движению! Купе, кажется, уменьшилось в размерах и стало особенно тесным и неприятным. С верхней полки небрежно свесился матрац. Зато столько проехали — и за окном другие места: другие дома, дороги, столбы, небо... Промелькнула сторожка, прогрохотал под колесами и остался позади мостик. Поле, роцца, дорога, зацепившись за поезд, поворачиваются на месте, как будто готовы бежать вслед, но сразу отстают. Все быстрее, все дальше!

Помню, едва ли не в первый год своей трудовой деятельности я ехал куда-то по государственной надобности в плацкартном вагоне и попутчиком моим оказался профессор (по крайней мере, он так представился)



Московского университета. Судя по возрасту, высшее образование он получил еще до революции и теперь, путешествуя по стране, обвинил меня — и в моем лице все наше юное еще тогда поколение — в невежестве. Ухудшение образования и в то время было актуальной темой для обсуждения. Я не спорил, но профессор не хотел быть голословным.

— Вот, например... — говорил он. — Я не задаю вопросов по своей специальности — по математике. А можете ли вы мне сказать, как заканчивается поэма Пушкина «Цыганы»?

Я, как мне казалось, знал и даже попытался отстоять честь своего поколения. Но чувствовалось, что любой ответ будет отвергнут и лучше заранее выбросить белый флаг капитуляции в виде вафельного полотенца. Я мог только втайне порадоваться тому, что разговор не коснулся математики, которая в то время занимала в нашем инженерном образовании положение бедной родственницы. Так, если дифференцирование я художественно освоил, то с интегрированием возникали проблемы. Сейчас, когда я вспоминаю о том, что где-то в подвалах старейшего в Сибири Томского политехнического хранятся ведомости с моими оценками (свой экземпляр я сразу уничтожил), мне хочется пробраться туда и выкрасть злополучный документ.

Могу даже ясно представить себе, как все происходит.

Вот я прячусь с вечера в одном из кабинетов старинного Физического корпуса. В этом здании я когда-то проработал не один год уже после окончания института. В небольшой комнате стояли столы нескольких аспирантов. Мы были молоды, полны энтузиазма, готовы работать круглые сутки и часто досиживали до десяти вечера, пока охранник, закрывавший корпус, не выгонял нас на улицу. Как-то, когда мы проводили длительное испытание образца в печи, нам по очереди пришлось прятаться в зале испытаний. Раскладушка стояла рядом с печью.

Вот охранник проходит по коридору и закрывает на ночь огромные, тяжелые трехметровые двери. Темно, чуть мерцающий свет фонаря, проникая со двора через окна, освещает черные столы, табуреты, бетонный пол. Чтобы спуститься вниз по широкой лестнице, лучше включить фонарик (или подсветку мобильного телефона). Просторный коридор, длинная труба, застоявшийся теплый воздух, какой обычно бывает в подвалах. Неприметная, обитая уже в советское время железом дверь с навесным замком. Сцену проникновения в архив можно представить во всех подробностях. Хотя сегодня дело обстоит намного сложнее из-за камер наблюдения...

Прошлое не исправишь, как бы этого ни хотелось. Оно стало достоянием истории. Позорные страницы бледнеют, стираются, исчезают вместе со свидетелями той поры, далекой, призрачной. Может быть, это единственное благо, за которое нам следует благодарить быстротекущее время.

«И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалею, и горько слезы лью, но строк позорных не смываю».



О разговоре с «дореволюционным» попутчиком я рассказал своему другу, бывшему однокласснику, с которым мы к тому же попали по распределению в один проектный институт. На что он ответил:

— Латынь изучали, а страна отсталая. Народ полуграмотный, нищий.

Так или иначе, получив высшее образование, мы, дети ускоренной индустриализации, отнюдь не чувствовали принадлежности к высокообразованной элите, а, напротив, склонны были гордо заявлять: «Мы университетов не кончали». И вот теперь, на закате дней, оглядываясь на прошлую жизнь свою, думаю иногда, что надо было прожить ее совсем не так... Самое ужасное и трагическое — в том, что прошлое уходит, растворяется, гаснет, а вокруг уже мир иной, непонятный, чужой, чуждый.

А что касается цыган, то раньше их часто можно было встретить на вокзалах, на улицах, в электричках. Чаще попадались цыганки — молодые, в длинных юбках, один ребенок на руках, другой цепляется за подол сзади. Цыганки гадали по руке, делали приворот, предсказывали судьбу. Не раз доводилось мне слышать об удивительной точности их предсказаний.

Цыганята — шустрые, сообразительные, знающие про тебя больше, чем ты сам. Они чувствовали себя хозяевами, собирающими причитающуюся им дань со случайных прохожих:

— Куда идешь? О чем так задумался, что не замечаешь ничего вокруг? Какие такие заботы? Остановись, позолоти ручку, будь человеком! Или мы будем презирать тебя, как и всех остальных — таких же жалких жмотов!

Как-то на даче по примеру соседей мы по дешевке отхватили трехлитровую банку меда. Продавец был красноречив, предлагал различные способы проверки чистоты и подлинности своего товара. Мед оказался не Краснодарским, а «цыганским». С тех пор, стоило кому-то из нас купиться на какую-нибудь подделку, мы так и говорили: «Цыганский мед». Кажется, не было в округе человека, которого не обманули бы цыгане.

Но пришли иные времена. Мошенников разного рода стало больше, и действуют они более изощренно. Современный мошенник работает обычно с определенной группой клиентов. Он учитывает их психологическое и физическое состояние, активно использует интернет, мобильники, не пренебрегая, однако, и личным общением. Обман зачастую сводится к сеансу психотерапии. По многу лет существуют и процветают целые фирмы жуликов с распределением ролей между сотрудниками. Это позволяет им достичь высокого уровня профессионализма.

Даже странно, что до сих пор в университетах не готовят соответствующих специалистов и не присваивают ученых степеней по весьма важным в настоящее время специализациям «Мошенничество и обман населения на современном этапе» и «Технология обмана». Считаю, что это



большой просчет нашего образования. Также вполне уже можно проводить международные конференции по темам вроде «Как нам эффективно облапошить покупателя» или «Методика законного изымания денежных средств у людей преклонного возраста».

Как-то, когда мне в двадцатый раз позвонили из какой-то фирмы, названия которой я не разобрал, и предложили бесплатный осмотр и профилактику пластиковых окон, я вдруг согласился. Собирался посмотреть по интернету названия компаний и цены соответствующих услуг, но почему-то не посмотрел. «Специалист» от фирмы заполнил какие-то бланки и объяснил, что мне очень повезло, поскольку именно сейчас действует особая акция и фирма дает грандиозные скидки. Потом дал мне расписаться. Я зачем-то расписался, хотя уже подозревал, что меня облапошивают и цены, по самым скромным подсчетам, завышены раз в десять. Но зато, как оказалось, я входил в группу, которой положена небывалая (а на деле совершенно мизерная) скидка. Хотел спросить, почему смазка стоит только две, а не десять тысяч, — и не спросил, а вместо этого отдал аванс. Хотел отказаться, но стало стыдно, что так нагло одурачили, — и не отказался...

У моста через Иню цыганский табор.

«Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют».

Несколько веселых ромалэ заполняют тамбур и первые сиденья вагона электрички. Обремененные множеством детей, но неунывающие, они несут заряд бодрости, безопасности, оптимизма.

Любопытный пассажир поинтересовался, где они живут зимой. Оказывается, на юге.

— Летом хорошо поработаешь — зимой хорошо отдохнешь!

Как-то в командировке оказался я в городе Горьком, где была гостиница «Нижегородская». Снаружи — обычное пятиэтажное здание из силикатного кирпича. Вполне приличная, по нашим тогдашним понятиям, гостиница. Узенький одноместный номер, рубль двадцать в день. Отдельный номер — редкая удача! Кровать, зеркало, умывальник. Не все удобства, но не беда, не туалетом единым...

Через некоторое время в гостинице остановился цыганский ансамбль. Опытный распорядитель быстро разместил всех по номерам, а к вечеру подошел автобус и артисты отбыли на концерт в какой-то клуб. Возвратились часа через два. Вместо того чтобы рассредоточиться по номерам, закрыть двери и, не привлекая внимания, достать запрещенные кипятильники или спуститься в буфет на втором этаже и взять по паре бутылок «жигулевского» и по две-три сосиски, они собрались во дворе и продолжили петь и плясать уже без зрителей, а исключительно для себя, для своего удовольствия. И постояльцы, окна которых выходили во двор, могли оценить мастерство исполнителей. Вот что значит цыганская душа и бескорыстная любовь к искусству!

Мне нравился Нижний (в те времена еще Горький) — город деловой, рабочий.

«Под городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет...»

Вспомнил песню — и так стало вдруг грустно, что кончилась та жизнь, простая, пусть во многом примитивная, но такая бесхитростная и светлая. «Что пройдет, то будет мило». И сколько уже времени прошло с тех пор, пролетело, минуло, кануло в Лету!

...Пять часов, конец смены, а я уже на проходной, один из первых. Но автобусы в заводском районе забиты до отказа, и водители высаживают пассажиров метров за тридцать до остановки. Тут надо быть начеку, чтобы вовремя рвануть, успеть втиснуться в приоткрывшуюся дверь и хорошо надавить, упиравшись плечом и лбом в чью-то спину, пока раздвижная дверца не прокатит по твоей спине. Автобус, как объевшийся толстяк, завалившись на правый бок, отходит от остановки...

Кафе напротив театра называлось «Театральное». Один раз при мне его посетила царственная Людмила Хитяева¹. Актрису сопровождал подросток в школьной форме. Всем своим видом — ухоженным лицом, сшитой на заказ и хорошо сидящей на ней одеждой — она резко отличалась от большей части тогдашних представительниц прекрасного пола. Конечно, постой-ка полдня у шлифовального или сверлильного станка, покрути ручки!

Ужин в кафе стоил чуть больше одного рубля. Командировочные — два шестьдесят. Около стен Нижегородского кремля стоял Чкалов, похожий на средневекового рыцаря в латах. К реке спускалась широкая лестница. В городе было много живописных мест. С обрыва, облепленного домишками свинцового цвета, открывался чудный вид на долину двух рек.

Легко представить, как по деревянным тротуарам ходили мастеровые в рубахах навывпуск, высоких картузах и плисовых штанах, бабы в платках и длинных юбках, с ведрами воды на коромыслах. Вот калитка одного из домов заскрипела, и из нее вышел худой Алеша Пешков в серой рубашонке, заляпанной краской. Вот он пошел по деревянным мосткам к перекрестку, а навстречу ему — элегантная, редкая в этих местах пролетка с известным писателем и знаменитым певцом. Пролетка повернула за угол, мальчик обернулся и посмотрел ей вслед, как будто увидел что-то такое, что заставило его задуматься. Потом повернулся и пошел дальше своей дорогой.

А поэма великого русского поэта Пушкина «Цыганы», которая известна каждому грамотному россиянину, заканчивается несколько неожиданно:

¹ Хитяева Людмила Ивановна (род. в 1930 г.) — известная советская и российская киноактриса. Снималась в картинах «Стряпуха», «Тихий Дон», «Евдокия», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Василий Буслаев» и др. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР.

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

Наверно, существует много объяснений, как родились и какой скрытый смысл несут эти строки. Может быть, они возникли еще до поэмы и пригодились, когда надо было чем-то ее завершить. То, что поэма написана «неровно», критики объясняют переломным периодом в жизни и творчестве автора.

Литература

*Всем хорошим, что есть во
мне, я обязан книгам.*

М. Горький

*Литература — один из луч-
ших питомников пошлости.*

В. Набоков

Я, возможно самонадеянно, не считал себя полным профаном в литературе. Хотя в первые послевоенные годы в стране с хорошими книгами было не очень благополучно. Типографии едва успевали публиковать труды классиков марксизма. В раннем детстве, когда для меня было слишком низко сидеть за столом на обычной табуретке, ее высоту увеличивали с помощью самой толстой книги, какую я только видел. Книга называлась «Вопросы ленинизма», И. В. Сталин.

Когда я пошел в первый класс, буквари имелись у редких счастливых, которые остальным казались почти небожителями. Бабушка скопировала для меня часть букваря на прозрачную бумагу, а картинки раскрасила цветными карандашами. Впрочем, отсутствие букваря меня мало смущало: читать я научился еще за год до школы, сидя за обеденным столом напротив веселого ученика-второгодника, с которым бабушка занималась репетиторством. Ученик выглядел неунывающим оптимистом. Он сам и все его учебники были измазаны чернилами. Уроки оплачивались парным молоком. Молоко приносила мать веселого ученика и, глядя на меня, удивлялась, что есть такие дети, которых приходится заставлять пить этот животворящий напиток. Для меня же молоко казалось почти таким же неприятным, как и рыбий жир.

Квартира была тесной, поэтому собрания сочинений классиков, полученные еще в старые времена в виде приложений к журналу «Нива», лежали в сундуках. К началу моего школьного образования мы переехали в новую квартиру, и книги наконец удалось разместить в шкафах. Там были сочинения Писемского, Вересаева, Чехова, Андреева и даже иностранных и, видимо, популярных когда-то у нас авторов Гамсуна и Метерлинка. Часть книг была переплетена, а некоторые — например, сочинения Бунина — хранились в виде обтрепанных журналов с изображением





поникших ветвей какого-то дерева на пожелтевшей обложке. Некоторые страницы так и остались неразрезанными. Среди книг был толстый том «Истории Российской империи» с чудесными гравюрами. На одной из них был запечатлен момент утопления поверженного изваяния Перуна, которое, как мне сказали, было из чистого золота. Отказ от старой веры — и концы в воду.

Некоторые книги я получал, меняясь со сверстниками. Один из них дал почитать «Мальчика из Уржума», другой обещал роман «Принципиций». Это название звучало завораживающе и таинственно, потом оказалось, что это три слова. Но сама книга не принесла разочарования.

Странно было читать литературные шедевры того времени, удостоенные Сталинской премии первой степени, такие как «Кавалер Золотой Звезды» или «Белая береза». Казалось, что не было великой русской литературы рубежа девятнадцатого и двадцатого веков. В пятидесятые годы опубликовали шеститомник Бунина, это был прорыв, но до Набокова так и не дошли.

Литературу одно время у нас преподавала энергичная, коренастая и как бы слегка вросшая в землю Ирина Николаевна. Если бы не фигура, ее можно было бы назвать русской красавицей. Ее румянному лицу очень пошел бы кокошник. Так и слышу ее громкий, с легкой хрипотцой голос, призывающий к вниманию во время моего ответа по повести Пушкина «Дубровский». Отвечал я на отлично, поскольку сыпал дословно: «Но за лучшее почиталось следующее...» Как сказано: «почиталось»! Не Пушкину же ставить тройку. Это было бы уже за гранью.

В последних классах нам повезло меньше. Занятия вела супруга директора. Сидеть на уроке было скучно. Сначала писали план: введение, основная часть, заключение. Основная часть делилась на подпункты: а, б, в... Придумать подпункты было сложно.

Как-то у доски мне пришлось разбирать стихотворение Лермонтова «Люблю Россию я, но странною любовью...». Единственной чертой, характеризующей данное произведение, я смог назвать патриотизм.

Часто после звонка на урок возникал небольшой беспорядок, который сопровождался просительными выкриками: «В лицах! В лицах!» Иногда, к всеобщей радости, преподавательница соглашалась, и урок начинался с распределения ролей одной из пьес Островского или Чехова. Роли распределяла сама учительница. Избранные, человек пять-шесть, выходили к доске и выстраивались полукругом. У каждого в руках была толстая книга. Большая часть класса, и я в том числе, наслаждалась свободой. Такой урок нравился нам гораздо больше обычных.

Ради справедливости следует отметить, что не все учителя так пренебрежительно относились к моим артистическим способностям. Так, учитель истории Александр Михайлович Мазаев (кроме истории он вел также предмет под названием «Конституция СССР») сочинил револю-



ционную феерию, предназначенную к исполнению в канун какой-то особенно знаменательной даты, возможно, к тридцать седьмой годовщине Октябрьской революции. Феерию исполняли в спортзале при большом скоплении народа. У нас тогда было пять параллельных классов. После нашего «Г» (это обозначение служило постоянным поводом для шуток) был еще «Д». Мне автор доверил роль ведущего, на которую приходилась добрая половина всего текста. Следуя советам домашних, я научился читать громко и с пафосом.

В начале представления свет в зале был погашен и только на сцене, передо мной, горела настольная лампа, освещавшая тетрадь с текстом. К сожалению, сейчас не помню из него ни слова. Остальные роли исполняли ученики других классов. Я читал громко, как меня учили во время репетиций, и, кажется, не подвел. Спектакль украсило выступление юной учительницы (жалко, что она не вела у нас занятий), которая чудесно продекламировала стих Лермонтова, «облитый горечью и злостью».

Александр Михайлович был одним из коммунистов-романтиков и считал, что высокая цель все оправдывает, а мы были его единомышленниками. Он настолько доверял нам, что иногда был излишне откровенен. Так, когда после Сталина на первые роли выдвинулся сначала Маленков, а потом Хрущев — причем ни тот ни другой не пользовались достаточным авторитетом, да и выглядели непрезентабельно, — Мазаев посетовал, что в высшем эшелоне, собственно, не из кого выбирать. Тем более, по его словам, первым лицом должен был быть русский. Рассказывая о марксизме, он с некоторым сожалением доверительно поведал нам, что Карл Маркс был евреем. Такой вот несколько прискорбный факт, но истина превыше всего. Партия не скрывает это досадное недоразумение, сходное с появлением внебрачного ребенка: вроде бы пора отбросить предрассудки и радоваться, но осадок все-таки остается. Что поделаешь: и на солнце есть пятна. Учение Маркса всесильно, потому что верно.

...Мужская школа, шестой или седьмой класс, третья смена. Последний урок, на улице темно. Машин нет, зато много прохожих, что спешат домой со службы. А кто-то уже пришел, зажигает свет, снимает пальто, валенки, стряхивает снег с воротника и папахи из серого каракуля, заглядывает на кухню. Жена тоже уже пришла, подогревает суп, режет хлеб. Темные силуэты зданий оживают. «Вот и окна в сумерках зажглись...» А уроки еще не кончились: не математика, конечно, а черчение, география или история. Афины, Спарта, Рим, Византия... Самые счастливые часы моей школьной жизни! Спартанцы в красных плащах. Когорты, императоры. Столетняя война. Пипин Короткий.

Александр Михайлович сидит передо мной на крышке парты. У него узкий нос, худое лицо в склеротических прожилках, глаза светлые; темные волосы зачесаны назад ровной грядой между зальсынами. Его нетрудно представить в сияющем на солнце высоком шлеме и легкой белоснежной тунике. Рим, легионеры, всадники, колесницы. Ганнибал, боевые слоны. «Карфаген должен быть разрушен». Это иной мир — завораживающий,



красочный и интересный. Слушаю с восторгом, смотрю неотрывно и настолько пристально, что голова Александра Михайловича как будто начинает сжиматься, усыхать. Вот она уже размером с высушенную голову врага, которую индеец привязывает к своему седлу...

Помню, в пятом классе меня прикрепили (это слово тогда означало нечто среднее между «попросили» и «обязали») к однокласснику с тем, чтобы я помог ему осилить математику. Фамилия одноклассника была Жигунов, имени его не помню. Думаю, он не обидится, если я назову его Витя. Это был полноватый, белотелый и несколько женственный молодой человек. Трудно было найти ученика, который бы так мало знал и так слабо стремился узнать что-либо из математики. Вершиной карьеры он считал должность киномеханика и уже твердо наметил шаги для осуществления своей цели. После седьмого класса он хотел поступить на курсы киномехаников.

Жил Витя в одноэтажном бревенчатом доме с завалинкой, сразу за школой. Сегодня этого дома, как и нескольких других, что стояли рядом, давно не существует. Школа, ныне престижная гимназия, значительно расширила свою территорию.

Мне часто вспоминаются тихие улочки моего детства. Одно- и двухэтажные дома, деревянные тротуары, крашенные ворота, рядом калитка, палисадник, скамейка... Ни людей, ни машин. Изредка выйдет хозяйка высыпать золу к дороге да проедет, сидя на задке и полуобернувшись вперед, мужик на пустой телеге. Жалко, что почти не сохранилось фотографий той, еще недавней, тихой провинциальной жизни, в которой, казалось, был скрытый, важный в своей обыденности смысл. Картины прошлого оживают в памяти с трогательно-щемящей болью. Все прошло. Незаметно, быстро, безвозвратно...

В бревенчатом домике, стоявшем сразу за школой, я сидел с моим другом за небольшим столиком у окна. Солнечный свет, просеянный сквозь листья сирени, падал на тетрадный лист в клеточку. На листе чудным образом возникали изогнутые линии: парабола, гипербола, эллипс... Интересно, почему график гиперболы совсем не связан со значением этого слова в литературе?

Виктор обещал покатать меня на лодке и спрашивал, умею ли я грести. Я решил, что, наверно, не умею, так как ни разу еще не пробовал. Тогда он сказал, что во время плавания я должен буду развлекать гребцов какими-нибудь историями. Я даже задумался над тем, что можно противопоставить пению сирен сладкоголосых, но, к сожалению, и занятия, и мысли о предполагаемом путешествии постепенно сошли на нет. На лодке я так и не прокатился, да и результаты моего репетиторства, видимо, были далеко не так блестящи, как этого хотелось бы, так что своего подопечного я скоро потерял из виду. Надеюсь, что он смог осуществить свою мечту и стал киномехаником, а память о параболе осталась смутным воспоминанием на бессознательном уровне и не беспокоила его ни во сне, ни наяву.



С раннего детства любой взрослый, с которым тебя знакомили, непременно спрашивал: «А кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» Остроумным считался ответ «дворником» или «поваром». Позже мы с другом постоянно спорили, кем лучше стать, летчиком или моряком, причем если в какой-то день я ратовал за летчика, а мой друг — за моряка, то на следующий все изменялось: я приводил доводы и превозносил моряков, а мой товарищ — пилотов. И не было такого случая, чтобы мы пришли к единому мнению.

Потом мы уже не знали, кем хотим стать, или из суеверия скрывали свои пристрастия. Но некоторые, такие как Витя, не стеснялись и открыто объявляли о своем выборе, а один из одноклассников, по фамилии Ерофеев, прямо говорил о своем намерении стать журналистом или писателем. И нет ничего удивительного в том, что именно ему было предложено прочитать на уроке литературы несколько стихотворений полузапрещенного в то время Сергея Есенина, который попал в разряд «нежелательных» вместе с Бальмонтом, Соллогубом, Надсоном.

Этих поэтов если и издавали, то почти нелегально, в местных издательствах, хотя то одного, то другого периодически извлекали из ящика, как куклу в театре Карабаса-Барабаса, чтобы отряхнуть от нафталина, снабдить ярлыком и публично выпороть. Есенин не считался таким идеологически вредным, как Булгаков или Пастернак, он относился к разряду искренне заблуждавшихся, недопонимавших: «С того и мучаюсь, что не пойму...» Кабацкая лирика, кулацкие настроения, и вообще...

В четвертом классе с нами учился однофамилец великого поэта. Както в хрестоматии я прочитал стихотворение «Озябли птички малые, голодные, усталые, прижались у окна...» с указанием автора. В классе я поделился своим открытием с нашим Есениным, и тот ответил, что это для него не новость. Лет через шесть мой товарищ Шоня Быков, который не терял связи со многими одноклассниками, сказал, что нашего Есенина судили за то, что он со товарищи взламывал телефоны-автоматы. Много ли можно было заработать таким образом?

«Как же вы старушку за один рубль убили?» — «Сто старушек — сто рублей».

Будущий литератор (он был тезкой одного ставшего позже известным автора) Ерофеев даже внешне отличался от остальной серой массы соучеников: носил необычно длинные волосы, белый шарфик а-ля Вознесенский. Пижонство ему дорого обошлось: морозы в Сибири в то время были не в пример суровее нынешних, а так как зимой он ходил в обычной пестрой кепке, то однажды жестоко поплатился за это, обморозив уши. Можно сказать, принес их в жертву. Уши распухли и стали походить на сибирские пельмени.

Но в тот период, о котором идет речь, уши были в нормальном состоянии. И вот будущий литератор вышел к столу и узнаваемым жестом пригладил правой рукой темные волосы на виске.

— Ты жива еще, моя старушка? — произнес он с характерным придыханием.

Никто не откликнулся.

В целом урок, посвященный большому, можно даже сказать, великому русскому поэту Эс Есенину, прошел великолепно. Жалко, что мало уже осталось свидетелей этого незабываемого события. «Кого уж нет, а те далече...»

Странно, но собрания сочинений Толстого у нас дома не было. Позже появились два тома рассказов с надписью: «Ученику такого-то класса за успехи в учебе и примерное поведение». А первое мое знакомство с творчеством Льва Толстого произошло при курьезных обстоятельствах.

После окончания мной первого класса бабушка загорелась идеей преподнести подарок от всех родителей нашей учительнице. За свою жизнь она многим подарила серебряные подстаканники. Они были самые разные: сплошные, ажурные, золоченые, с чернью. Перед вручением адресату подстаканник отдавали граверу для выполнения памятной надписи. Например: «Дорогой Евгении Карповне от благодарных учеников 1-го "Г" класса 18-й школы. 20.V.1947».

Подстаканник торжественно возлежал на шелковой подкладке в большой праздничной коробке, как почивший вождь в дорогом гробу. Подарок бабушка купила на свои кровные, а потом по списку собирала деньги с других родителей.

По одному из адресов она послала меня. Я добросовестно выполнил поручение, а так как карманы в моей одежде не были предусмотрены, денежную купюру от сознательной мамы пришлось держать в руке.

День был жарким, а улица — длинной. Вдоль дороги, на месте теперешних многочисленных автомобильных стоянок, росли тополя. Не жалкие сегодняшние обрубки, подобные тем инвалидам, что раскачивали одно время после войны на досках с подшипниками вместо колес, а высокие, статные красавцы гренадеры. Грязноватый тополиный пух лежал по обочинам. Телеги со стуком катились по булыжной мостовой. Изредка попадалась серая полуторка ГАЗ или зеленая трехтонка ЗИС. За два квартала до дома ко мне привязался было коротконогий Шарик, но довольно быстро к нему пришло понимание никчемности этой затеи; он приостановился, как бы раздумывая, и нехотя потрусил обратно.

Никто на меня не нападал, но в конце пути оказалось, что денежная купюра таинственным образом исчезла, словно растворилась в воздухе. Возвращаться и искать ее было бессмысленно. Придя домой, я почему-то соврал, что мать ученика якобы отказалась заплатить, сказав: «Сейчас денег нет. Отдам с получки». Это была совершенно бессмысленная импровизация, возникшая на ходу помимо моей воли. Еще за секунду до того, как открыть рот, я не собирался никого обманывать. Ведь я не боялся наказания и понимал, что позорное разоблачение неминуемо последует через один-два дня.



Все так и произошло. Бабушка, которая еще в царское время окончила училище с правом преподавания в начальной школе и даже проработала там полтора года до своего замужества, в качестве наказания не придумала ничего лучше, чем заставить меня прочитать один из морализаторских рассказов Льва Толстого. Рассказ содержал исповедь закоренелого преступника, рассказанную им самим. По мнению преступника, которое, очевидно, совпадало с мнением автора, все начинается с малого. Малым в рассказе была кража завалившегося за диван казначейского билета. Этот поступок предопределил дальнейшее моральное падение рассказчика и превращение невинного ребенка в матерого преступника. Назидательная проза меня не впечатлила: мешало искусственное построение и излишняя прямолинейность истории, грубо замаскированной под правду. Единственным достоинством этого текста была его краткость. Тогда я еще не знал, что автор — великий и единственный в своем роде.

«Война и мир», жизнь и судьба. Не помню точно, в седьмом или восьмом классе я прочитал значительную часть этого произведения. И потом не перечитывал много десятилетий. Но что бы я еще ни читал, какие бы фильмы ни смотрел, кажется, оно всегда было рядом. Книга оказалась волшебной шкатулкой: стоило раз ее открыть, как открывался целый мир, более живой и полный, чем окружающая действительность. Этот роман отличался от других, читанных ранее, он удивлял, как может удивить объемное изображение по сравнению с обычной картиной. И это несмотря на некоторую корявость текста (Бунин писал, что ему хотелось переписать роман Толстого заново, отредактировать). Литературные герои были живыми людьми, более живыми, чем реальные окружающие. Казалось, ты знаешь их лучше, чем кого-то из твоего круга, лучше самого себя. Им сочувствуешь, сопереживаешь больше, чем живым людям. «Над вымыслом слезами обольюсь...»

Тогда, находясь под магией прочитанного, я взял общую тетрадь в картонном переплете, с желтыми рыхлыми страницами, разлинованными фиолетовыми линиями, и попробовал описать свои впечатления. Исписал листа два, и тетрадь начала разваливаться, а вскоре вообще куда-то исчезла. Конечно, я не мечтал о славе первооткрывателя, но почему-то захотелось высказаться, выразить свои, пусть и несколько наивные, суждения. Может быть, в какой-то степени приобщиться: мол, и мы не лыком шиты и свое понимание имеем.

Шли годы, но эта книга не покидала меня. Граф Толстой, несомненно, гордился своим титулом и принадлежностью к элите тогдашнего общества. Не случайно все главные герои, включая записных злодеев, графы или князья. У положительного героя должен быть достойный противник.

Что же делает героев романа живыми? Возможно, это внутренние диалоги, споры между теми «я», что находятся внутри каждого человека. Разлад между мыслями и действиями. Внутренние противоречия приводят к странным и нелепым поступкам, гибельный результат которых всем, и в первую очередь самому герою, ясен заранее. Пьер Безухов заранее знает,



к чему приведет его женитьба на Элен. Николай Ростов знает результат своей карточной игры с Долоховым. Сколько раз мы сами попадались на удочку мошенникам и делали опрометчивый шаг, как под гипнозом, вопреки внутреннему голосу разума! Так и хочется вмешаться, предотвратить. И Толстой идет тебе навстречу в эпизоде с Наташей Ростовской.

Человек ведет себя как безумец, вопреки логике, как будто назло самому себе. Внутренний разлад, жестокий суд одного «я» над другим. Судья и прокурор в одном лице. Приговор и наказание. Наказание как справедливая кара за подлость и глупость в прошлом, настоящем и будущем, позволяющая на время заглушить стыд, который жжет изнутри. Но здесь же и хитрость — синдром жертвы. Смотрите: таков этот мир, страдаю безвинно, чужой на этом празднике жизни.

После восьмого класса я попросил родителей устроить меня на лето рабочим в геологическую партию на Горном Алтае. Там на некоторое время меня прикрепили к геологу по фамилии Прокопцев. В мои обязанности входило сопровождать его на маршруте, носить рюкзак, отбивать с помощью геологического молотка образцы, разводить костер и готовить еду. На первый взгляд, обязанности несложные, тем более что в меню широко использовались концентраты: в основном гречневая или рисовая каша в виде прессованных брикетов. Проблема была в том, что палатка стояла на высоте альпийских лугов, где рос только кустарник и карликовые деревца, которые приходилось резать ножом. Хорошо, что у моего начальника, лишившегося глаза из-за ранения на фронте во время Великой Отечественной войны, было несколько трофейных ножей, в том числе длинный тонкий кинжал шириной всего около сантиметра (отличное оружие диверсанта: он так легко протыкал кожу) и второй — настоящий «мессер» в ножнах. На рукоятке орел и свастика, а на лезвии готическим шрифтом выгравировано: «Alles für Deutschland»².

Дров как таковых не было, и поэтому разжечь костер, поддерживать огонь, а тем более вскипятить воду стоило больших усилий, что во многом омрачало мое существование. Каждое утро после завтрака мы поднимались по тропе к перевалу, где мой начальник описывал, зарисовывал и фотографировал обнажения (в данном случае это чисто геологический термин), а я откалывал образцы. Образец должен был иметь свежие сколы, так что эта операция требовала определенного навыка. Пронумерованный и завернутый в бумагу, образец отправлялся в мой рюкзак. Иногда мы спускались в деревню, чтобы закупить продукты, помыться в бане и увидеть людей. На радостях, что я могу использовать хорошие дрова, я разводил в бане такой огонь, что вода в котле закипала.

Для доставки грузов в наш лагерь мы брали в колхозе пару лошадей. Груз был небольшой: килограммов по сорок-пятьдесят на каждую. Поднимались по узкой лесной тропе вдоль крутого склона. Внизу шумел ручей. Лошадки шли совершенно спокойно, с отрешенным видом, их

² Все для Германии (нем.).



мысли были где-то далеко, выше гор, как у тибетских монахов. Домой, под гору, они спускались несколько веселее.

Как-то во время подъема к лагерю лошадь, которая шла сзади, отвязалась, но не воспользовалась кратковременной свободой и не убежала вместе с притороченными к ней тюками, за что я ей был премного благодарен. Лошадь эта была среднего роста, каряя³ с черной гривой. Большие блестящие темные глаза смотрели с невозмутимым спокойствием. Может быть, ее потомки до сих пор ходят по горным тропам.

Разумеется, такое описание лошади довольно примитивно, плоско. Не годится даже для черно-белого кино. А вот как описывал лошадей Бунин: «...и были они все красавицы, могучие, с лоснящимися крупами, коснуться которых было большое удовольствие, с жесткими хвостами до земли и женственными гривами, с крупными лиловыми глазами, которыми они порой грозно и дивно косили, напоминая нам то страшное, что рассказывал нам кучер: что каждая лошадь имеет в году свой заветный день...» Перенасыщено, перегружено, зато объемно, красочно, выпукло. И действительно, когда стоишь возле лошади, так и хочется ее погладить по гладко-ворсистой теплой коже, а в блеске глаз можно уловить что-то фиолетовое, лиловое. У Бунина и грязь может быть фиолетовой, а голова жирафа, как лошадиная грива, — женственной.

Шеститомник Бунина вышел в конце пятидесятых без основного труда — романа «Жизнь Арсеньева». Тем не менее это издание было прорывом, началом признания отвергнутых было корней своих. В официальной прессе поспешили оправдаться. В «Огоньке» Илья Груздев привычно сетовал на непоправимую ошибку Бунина-эмигранта, талант которого якобы померк, лишившись живительных соков родной земли, и на то, каким ущербным стало творчество писателя в последние годы. Несомненно, в случае Бунина желаемое выдавалось за действительное. Но если взять творчество Довлатова, то приходится только удивляться, насколько оно стало более примитивным после его эмиграции.

В поле оставалось достаточно времени для философствования. Я, как это и полагается в юном возрасте, критически относился к официальной морали. Молодым близок нигилизм, отрицание авторитетов и прошлого опыта. Нет людей бескорыстных, благородных, самоотверженных и великодушных, есть эгоисты, играющие на публику. В словах одно притворство, в поступках — материальный интерес. Человек честен, не обижает слабых, соблюдает определенные правила — потому что боится наказания или упивается своим благородством. За свое примерное поведение он надеется в дальнейшем получить достойную компенсацию, заслужив благосклонность начальства или божественных сил. В первом случае это выгодная должность, а во втором — райская жизнь. А часто у людей просто нет возможности проявить свою порочную натуру. Что может украсть человек, который моет туалеты?

³ Каряя (о лошади) — самая темная гнедая, почти черная с темно-бурым отливом.



Свою философию я свел к одной фразе: «Все условно».

Мой друг Слава Ч., которого я посвятил в эту теорию, позже рассказывал, как он поведал ее нашему товарищу Кузе, наивному толстячку, на удивление похожему на Карлсона, появившегося намного позже. Кузя как раз сидел за столом и обедал.

— Я ему говорю: «Все условно». Он даже жевать перестал: «То есть как — условно?!»

Павел Петрович Кирсанов, один из героев знакового тургеневского романа «Отцы и дети», говорит: «Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты».

В шестидесятые годы мы неоднократно слышали критику в адрес таких авторов, как Булгаков, Пастернак, Платонов. Самиздат и зарубежные издания для нас были недоступны, так что их произведений мы не читали, но названия были хорошо известны, поскольку они часто упоминались в обвинительных статьях того времени. Судить о том или ином произведении можно было только по названию, полагаясь на свое воображение.

Например, «Мастер и Маргарита». Слово «мастер» было хорошо знакомо: сразу после института многие начинали работать мастерами на стройке или в цехах машиностроительных заводов. И воображение рисовало следующую картину.

От проходной асфальтированная дорога, мимо литейного и дальше к первому механическому. Подстриженные кусты, чахлые деревья, газоны. Из приоткрывшихся высоких ворот выезжает юркий электрокар.

В воротах тяжелая дверь, ведущая внутрь. После яркого солнечного света легкий сумрак, гудят станки, изредка ухаает молот. Железная лестница поднимается на антресоли, там инструментальный склад, стеллажи. На столе журнал, заляпанный грязными руками, фикус в синей эмалированной кастрюле. Лампочка без абажура. Маргарита в распахнутом рабочем халатике. Верхняя пуговица на кофточке, вероятно по забывчивости, расстегнута; локоны выбились из-под косынки, совсем как у одной известной зарубежной актрисы. Тлетворное влияние буржуазного Запада.

В инструменталку понуро входит Ученик, высокий и немного нескладный.

Марго:

— Опять сверло сломал? Да на тебя не напасешься, пятое уже с утра! В следующий раз Мастеру пожалуюсь.

Ученик еще больше горбится и еще более понуро выходит, сталкиваясь в дверях с Мастером. Мастер с усиками, глаза маленькие, бегающие — тот еще жук, сразу видно. Клейма ставить некуда. Мошенник или шпион — возможно, американский. Волк в овечьей шкуре. А Ученик — изобретатель, новатор, разрабатывает новую конструкцию винтового сверла.



Мастер с помощью Маргариты пытается помешать, навредить, остановить наше неуклонное движение вперед, и та выдает сверла, закрученные не в ту сторону. Но и здесь не все так просто. Маргарита, в общем-то, неплохая. Учится в школе рабочей молодежи, комсомолка, участвует в ленинских субботниках. Немного легкомысленна, вот и оступилась, попала в сети матерого рецидивиста, может быть, даже шпиона. Мастер ее или запугал, или обещал помочь материально, а у нее мать больная и ребенок. А в профсоюзной организации черствая, наглая тетка с фиксой, постоянно по профилакториям и курортам по льготным путевкам вне очереди. Вот Марго и пошла не по тому пути...

Да и какая она Марго, на самом деле — Маша, нашей, рабочей закваски, и дед у нее Смольный штурмовал. А косы она остригла, чтобы лекарство купить для больной матери. Товарищи прошли мимо, проморгали, не проявили человеческого внимания, чуткости. Но такие фокусы у нас не пройдут! Сознательные граждане и соответствующие органы на чеку.

Вот и пионер Петя, сосед по бараку, уже пять дней как что-то заподозрил, сразу просверлил дырку в деревянной перегородке между комнатами и, часто даже не снимая красного галстука, ведет скрупулезное наблюдение, особенно по вечерам, вместо того чтобы спать, как все остальные дети. Петя, конечно, романтик, сам хочет разоблачить преступника и спасти Маргариту. А надо было сразу в органы.

Что касается органов, то и они не дремлют. Мастера давно разрабатывают, от самой границы, когда он только реку переплывал, притворившись бревном. Он, конечно, попытается улизнуть: усы уже сбрил, напялил парик, вырядился а-ля интеллигент старой закалки с моноклем на шнурке. Даже говорить стал с прибалтийским акцентом. Но не тут-то было! Граница на замке, Карацупа не дремлет. Вскрылась вся сеть: завскладом разводит спирт, предназначенный для протирки деталей, а бухгалтер вписал свою тещу в липовую ведомость, оформив уборщицей, и вместо подписи ставит крестик.

Почему роман Булгакова запретили, по-прежнему не ясно, но, наверно, правильно. Это вам не Есенин, тут уж недопониманием не отделаешься.

А «Доктор Живаго»? Во-первых, доктор, интеллигент в пенсне и с бородкой. Холостяк. Часы в жилетном кармане на цепочке. Желтый жилет, подруга Жаннет, модный жакет — креп-жоржет. «По вечерам над ресторанами...» Мелкобуржуазный элемент, да и фамилия какая-то неопределенная. Кто он такой? Вот, например, у Фадеева — Левинсон. А тут ни то ни се, ни рыба ни мясо, и весь какой-то скользкий. В общем, тоже правильно, что запретили.

В шестидесятые годы вышли книги Олеси «Ни дня без строчки» и «Книга прощания», а позже — повести Катаева. Бессюжетная проза. Оказалось, можно писать проще, без «многоплановости мышления и космической синхронизации». Хорошая книга, как и музыка, прежде



всего поражает своей необычностью, новизной. И тогда думаешь в восхищении: вот это да, оказывается, и так можно! Да ты и сам что-то такое подозревал, видел, оно существовало, жило, носилось в воздухе. Кто-то должен был это сказать в конце концов, не важно кто. А если запишешь на память, то потом можешь случайно приписать себе и даже возгордиться своим умом и умением выразить мысли с такой силой, в такой изящной форме, что и сам от себя этого не ожидал. Хотя закрадывается сомнение: что-то уж слишком гладко...

Человек — это то, что он прочитал за свою жизнь. Можно, конечно, прибавить: прослушал, просмотрел. Что раньше: слово или жизнь? Кто ты — художник? Мастер? Творец? Что влечет нормального человека к перу, перо — к бумаге? Что оправдывает затраты сил, времени? «Нет, весь я не умру: душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит...»

Побуждение к писанию, как и ко многим другим видам деятельности, инстинкт выживания в специфическом, чисто человеческом иллюзорном представлении о том, как можно обмануть судьбу. Продлить существование. Заслужить бессмертие. Вечный спор живого организма с природой. Наивная, но такая необходимая надежда на перевоплощение, на продолжение жизни. Я жил, я живу, я буду жить. «Нет, весь я не умру...»

Есть много хитроумных способов обмануть самого себя: религия, философия, искусство. Придумать, создать, написать. Такого еще не было. Хоть не ты, но имя твое. Звук тающий. Самообман, инстинкт.

«Ах, обмануть меня не трудно...»

Музыка

*Слова иногда нуждаются в музыке,
но музыка не нуждается ни в чем.*

Э. Григ

В те далекие годы прошлого столетия жили мы в маленькой однокомнатной квартире деревянного двухэтажного дома. В единственной комнатке стоял письменный стол, две кровати, посудный шкаф с нишей посередине. Против стола — старинный немецкий инструмент с медными подсвечниками, резьбой в виде орнамента и двух колонн по краям.

Пианино занимало около четверти площади комнатки. За все время я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь садился за инструмент или хотя бы открывал его крышку. Тем не менее о его продаже никто и не помышлял. Это был священный алтарь несбывшихся надежд. Признак интеллигентности. Мама когда-то в детстве окончила музыкальную школу, и у нас много лет лежали десятки нотных альбомов, которые, как и книги, теперь никому не нужны.

В простенке между окнами висел черный конусообразный репродуктор. По радио часто передавали музыку. Музыка звучала с экрана в кино.



Она то незаметно вплеталась в действие какой-нибудь нелепой комедии, то выступала на первый план в виде патетической оратории в патриотической драме.

С самых юных лет и до пятого класса меня воспитывала бабушка. В то время обучение ребенка музыке в средне- и высокоинтеллигентных семьях считалось делом если не обязательным, то вполне обыденным. Поэтому уже в мои шесть лет встал вопрос о музыкальном образовании. Но тогда я проявил несвойственную мне в дальнейшем твердость и отстаивал свое право оставаться музыкально безграмотным человеком. Один раз бабушка, вероятно для очистки совести, попросила учительницу немецкого языка Стефанию Фердинандовну проверить мой музыкальный слух. Та сказала, что слух, безусловно, есть, но как-то недостаточно возторженно, и постепенно разговоры о необходимости обучения меня музыке сошли на нет.

Родители в это послевоенное время работали в Германии. Оттуда приходил багаж, в том числе новое пианино с круглой вращающейся на винте табуреткой, детский аккордеончик и даже рояль, который не помещался в нашей тогда уже двухкомнатной квартире. Какое-то время он простоял у соседей, а затем его пришлось продать в срочном порядке.

В общем, попытка сделать из меня культурного, всесторонне образованного человека потерпела крах. Позже моя юношеская самонадеянность простиралась до того, что я вслед за другими сверстниками говорил, будто классическая музыка несовременна и стала чем-то искусственным и архаичным. То, что ее поддерживали власти, в противовес джазу, свидетельствовало не в ее пользу.

Снег в те годы не вывозили, и к весне вдоль улиц тянулись белые горные хребты. Нетронутые сугробы в палисадниках рождали ощущение спокойной основательности. В марте поверхность сугробов слегка оседала, на ней появлялась кружевная свадебная вуаль. В погожие деньки начиналось обильное таяние. Это был веселый, захватывающий праздник, праздник перемен. Солнце слепило глаза, отражалось в лужах. За ночь все подмерзло, лужи покрывались тонкой коркой льда. В некоторых местах его можно было пробить каблуком. С крыш свешивались длинные «стеариновые» сосульки. Вода с них капала в чистые песчаные лунки, и если прислушаться, то можно было услышать звуки оттаивающей музыки Грига. В конце апреля ледоход — это настоящая симфония.

Несколько раз под предлогом пропадающего билета меня отправляли на концерты в консерваторию. Помню один из них. Темперамент гастроллирующего пианиста поражал. Он был сродни темпераменту некоторых драматических артистов, таких как Николай Симонов⁴ (известный по кинофильму «Овод» пятьдесят пятого года). Сидеть и спокойно

⁴ Симонов Николай Константинович (1901—1973) — советский актер театра и кино, известен по фильмам «Чапаев», «Петр Первый», «Овод», «Человек-амфибия», «Живой труп» и др. Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, трижды лауреат Сталинской премии.



слушать музыку было тяжело, хотелось двигаться, куда-то идти, бежать, валяться по полу. Удержать могли только ручки кресла.

Что касается необычных ощущений от музыки, то не всегда они определялись мастерством исполнения. Иногда приятно было послушать небольшой полупрофессиональный оркестрик, развлекающий публику между киносеансами. Как-то в Томске, уже в студенческие годы, я попал в кинотеатр имени Черных. Он располагался далеко от места моего постоянного обитания в старинном здании начала двадцатого века, из красного кирпича, в псевдорусском стиле. В оркестре, игравшем между сеансами, я узнал своего бывшего одноклассника Серю Сачкина (который проучился в нашем классе года три), он там был в качестве первой и единственной скрипки.

Бывших одноклассников, как известно, не бывает. Мы успели даже поговорить: оказалось, он тоже учится в Томске, в музыкальном училище. В школьные годы Серя жил в «доме артистов» недалеко от школы. Во время войны там нашли приют некоторые известные деятели культуры, например Соллертинский, которого позже так живо изображал Андроников.

Через несколько лет в центре нашего родного города я снова встретил Серю Сачкина. Он прикорнул на скамейке, несколько газет под боком обеспечивали необходимый уровень комфорта. Хорошо было бы написать, что его голова покоилась на футляре от скрипки, но сегодня я в этом не уверен, и мне бы не хотелось вводить кого-либо в заблуждение, пусть даже непреднамеренно. В выражении лица одноклассника, с оттопыренными губами и наивно открытыми глазами, было что-то ангельское, так что легко представить, что голова его висела в воздухе без всякой опоры, но так, как будто опиралась на подушку.

Я присел на скамейку. Мое появление Серю Сачкина совсем не обрадовало. Наверно, он чувствовал, что скамейка не совсем обычное место для ночного отдыха и то положение, в котором он оказался, требует какого-то объяснения. А кому понравится что-то объяснять и оправдываться? И он только обиженно пробормотал: вот, мол, до чего довели... Кто и зачем довел, осталось неизвестным.

В «доме артистов» жил еще один наш одноклассник, Жора Беляев, красавец с небрежно-доверительной улыбкой, сын артиста. Он был на голову выше нас и года на два-три старше (нам тогда было по одиннадцать). Вот он, Жора, стоит на давней фотографии, небрежно завалившись влево, со своей неотразимо чудесной улыбкой Дориана Грея. «Чему улыбаешься, Жора?» — спросить бы его теперь, через шестьдесят с лишним лет. (Слово «шестьдесят» хочется вычеркнуть, это так много для одной жизни.) От своих сверстников он отстал в учебе вследствие того, что сбегал из дома и как-то всю зиму прожил в сторожке у бакенщика. О том, что делает бакенщик зимой, можно только догадываться.

Торцом школа выходила на улицу Романова, напротив был «дом артистов». Свое название улица получила в честь большевика, погиб-



шего от рук белогвардейцев. Несмотря на это, она, как и большая часть остальных улиц, была немощеной, и весной на ней как раз около школы образовывалась огромная лужа. В этой луже мы пускали кораблики — обычно куски коры, заостренные с двух сторон. Кораблики выталкивали на середину лужи и потом швыряли в них камни и «половинки» (так называли обломки кирпичей). Там я в первый раз и встретил Жору Беяева. Позже, когда я напомнил ему этот легкомысленный эпизод, Жора только улыбнулся с деланным смущением: мол, ну позволил себе, впал в детство, с кем не бывает.

Это был прирожденный артист: высокий, красивый, ироничный. Для него надо было писать сценарии. Обаятельный, невозмутимый, смелый. Ему удалось приструнить даже главного из наших «блатных».

«Блатными» считались трое-четверо учеников, якобы имевших отношение к какому-то хулиганскому сообществу, с членами которого было лучше не связываться. Обычные школьники опасались задевать кого-нибудь из «блатных», поскольку знали, что те связаны круговой порукой. Такие «блатные» были в каждом классе. Они носили пионерские галстуки, и в семьях, возможно, и не подозревали об их особом статусе. Мафия, юношеская «коза ностра». Впоследствии, по свидетельству нашего одноклассника Шони Быкова, который был в хороших отношениях как с «блатными», так и простыми «смердами», все эти ребята попали в тюрьму и рано покинули этот свет.

Бейев не был «блатным». Он был смелым и кое-что повидал в жизни, несмотря на свой юный возраст. Впрочем, он скоро исчез из нашего класса.

Позже я приходил в «дом артистов». Там жила вдова известного в городе актера Иловайского⁵, она связала для моей мамы шарфик и рукавички. Может быть, еще и шапочку. Мама потом, когда уже не выходила из дома, подарила мне этот шарф. Он был совершенно новым.

В квартире Иловайских царствовал огромный пушистый кот. Не удостоив непрошенных гостей взглядом, он прошествовал к стоящей здесь же, в коридоре, большой чугунной сковороде. Уселся в сковороду, потом, после небольшой театральной паузы, поднялся и, изобразив в воздухе чисто символическое движение задней лапой, так же царственно удалился в комнаты. Чувствовалось, что вопрос о его родословной был бы еще более неуместен, чем красное вино к рыбе или телогрейка на приеме в Букингемском дворце.

Вдова известного артиста озабоченно торопила сына — высокого, бледного и немного угловатого юношу лет под тридцать. Спектакль должен был вот-вот начаться, а до театра довольно далеко. Но сын держался невозмутимо и постарался ее успокоить:

— Да я в первом действии не занят.

⁵ Иловайский Серафим Дмитриевич (1904—1944) — заслуженный артист РСФСР, актер новосибирского драматического театра «Красный факел» в 1932—1944 гг., художественный руководитель и режиссер театра с 1939 г.



Как-то раз мне удалось увидеть его на сцене нашего театра в не очень большой роли. Чувствовалось, что ему все надоело: и театр, и Чехов, и особенно зрители, к которым он, однако, относился с удивительным терпением. Тем не менее года через полтора его взяли в труппу одного из ленинградских театров и он благополучно отбыл в город на Неве. Может быть, более успешной была бы его карьера, если бы он попал в Москву, как другой наш земляк, Д., который не только играл в «Современнике», но и неоднократно появлялся в телесериалах, преимущественно в тех, где действие происходило в конце девятнадцатого столетия (ему очень шли сюртуки с короткими фалдами, а по лицу было видно, что он мог бы оценить любое изысканное блюдо, включая стерляжью уху или поросенка с гречневой кашей).

После школы я уехал учиться в Томск и первое время чувствовал себя не очень уютно. «Как трудно было сердцу молодому сказать “прости” родному дому».

В Томске жила одна чудесная пожилая пара — старинные друзья нашей семьи. Редко встретишь таких благожелательных, милых людей. И это при том, что жизнь у них была очень непростая. Два сына погибли на войне. Старший — в самом начале. Младший не подлежал призыву, но в военкомате окопавшийся в тылу дядя сказал: «Ты же комсомолец, почему не идешь добровольцем? Пиши заявление. Потом доучишься». Потом — не получилось...

Я иногда приходил к ним в гости, чтобы отдохнуть, словно вернуться домой хотя бы на один день. И вот однажды вместе со мной у них в гостях оказалось еще четыре человека: семейная пара, их сын лет десяти и его учитель музыки — скрипач оркестра городской филармонии.

Артиста попросили сыграть. Скрипка в руках мастера — это нечто непередаваемое, божественное. Комната вместе с ее обитателями, с диваном, столом, покрытым скатертью, вазой, стаканами в подстаканниках была вырезана из кирпичного, окрашенного в желтый цвет дома и, оторвавшись от земли, парила в воздухе.

Слава богу, никто не попросил ученика показать свое мастерство. Только отец сказал:

— Вот, учись!

Скрипка — очень коварный инструмент, хорошо играть на ней может только настоящий мастер. Как-то мне в числе нескольких гостей пришлось выслушивать десятилетнего оболтуса, который демонстрировал свое умение извлекать из скрипки резкие и довольно неприятные звуки. Его мать, с торжеством оглядывая присутствующих, буквально светилась от гордости. Скрипачом ее сын так и не стал, зато окончил мединститут, научился вырывать зубы, потом переквалифицировался, стал работать системным программистом и переехал в Прагу, где в конце концов скончался от рака.

В свой первый отпуск я поехал в Москву и Ленинград на экскурсию. В Москве в парках на летних площадках выступали многочислен-



ные джаз-оркестры из Польши, Чехословакии и даже Японии. Концерт состоял из двух отделений, в антракте зрителей выпускали в парк погулять на свежем воздухе. Первые два-три раза я покупал билеты, а потом приезжал ко второму отделению и свободно проходил в зал, пользуясь либеральностью контролеров. Я замечал, что иногда у кого-то из них возникали сомнения, но врожденная интеллигентность и опасение оскорбить посетителя незаслуженным подозрением не позволяли им остановить любителя музыки, пусть и не совсем классической. А может быть, просто в зале оставалось достаточно много свободных мест и они решали, что ничего страшного не произойдет, если одно из них займет скромный и на вид вполне безобидный юноша, явный провинциал.

...По телевизору показывали довольно наивный зарубежный фильм о музыкальном гении. В кульминационный момент гений исполнял Второй концерт Рахманинова.

Мы были еще чужими людьми, когда ты сказала кому-то, что это твое любимое произведение.

Ты хотела слушать музыку, покупала пластинки, приобрела проигрыватель. Шли годы, прошло много лет, но слушать было все как-то некогда. Потом, при переезде, проигрыватель украли. Остались пластинки, которые сегодня никому не нужны. Они покрываются пылью, и не хватает сил отнести их на свалку.

Нет тебя, но есть музыка, застывшая музыка. Самая прекрасная музыка, которую не слышно.

Театр

Вся жизнь — театр.

Петроний

Театр уж полон, ложи блещут...

А. С. Пушкин

Лет с семи меня изредка водили в оперный. Едва ли не самым привлекательным в этих походах были антракты. В антракте можно было бродить по коридорам и лестницам, перелезть через перила, спуститься вниз, в партер, чтобы посидеть в мягком кресле у сцены, рассматривая расписной потолок, ощутить устрашающе огромное пространство пустого зала, почувствовать легкое движение воздуха. Пройти вперед к оркестровой яме, где осталось несколько странных существ — музыкантов. Во время перерыва это остатки боевого соединения после кровопролитного сражения. Казалось, что профессия накладывает отпечаток не только на характер человека, но и на его тело: человек-труба, человек-скрипка. Я бы не удивился, если бы обнаружилось, что смычок является частью его руки.

Музыканты между тем не сидят без дела. Видимо, им надоело работать по чьей-то указке, они счастливы наконец остаться наедине со своими любимыми инструментами и нежно, как бы извиняясь, разговаривают с ними, извлекая какие-то звуки, гаммы. Вот скрипки — одна, вторая, — какой-то духовой инструмент, наверно кларнет. Кажется, и инструменты ожили и рады просто поговорить между собой в доверительной, почти домашней обстановке. Гаммы, отрывки мелодий следуют друг за другом, сливаясь в многоголосый белый шум, музыкальное облако. Свободное и легкое, как щебетание птиц.

Иногда хватало времени на то, чтобы подняться на третий ярус или даже зайти в буфет. Это совсем не обычный буфет: он работает один-два раза всего по пятнадцать-двадцать минут за вечер. К антракту все готово, так на станциях когда-то готовили комплексный обед к приходу поезда: белые скатерти, салфетки, переднички. Посетители в несколько приподнятом настроении. Занято всего два-три столика, все немного спешат, но ведут себя с достоинством, сдержанно, как это принято среди культурных людей. Опера, буфет — нам это не в новинку. Ажиотаж здесь неуместен, да и зашли сюда так, между прочим. Не по необходимости, а больше из любопытства, все равно перерыв. Можно взять бутылку лимонада, пирожное. Дамам — шампанское.

Иногда в театре проводили какие-то важные собрания, съезды. В назначенный момент шеренги пионеров в белых рубашках и красных галстуках должны были заполнить проходы. В чем заключался смысл и драматургия этого действия, я так и не понял, но помню, как нас несколько раз снимали с занятий и приводили в пустой полутемный зал для репетиций.

Обучение в старших классах казалось не очень обременительным. Классным руководителем у нас был физик Иван Устинович Краснов, который любил пошутить. А я к тому времени обнаглел и пытался активно отшучиваться, что ему совсем не нравилось.

Как-то он написал мне замечание в дневнике: «Не учит уроков». Что было совершенно бесполезно: в мой дневник после шестого класса никто из взрослых не заглядывал. Я в то время читал книги моей бабушки, дореволюционные, в старой орфографии, которые выходили в виде приложения к журналу «Нива», и не нашел ничего более остроумного, чем добавить в конце «не учит» твердый знак: «не учить». За что получил новое замечание, но это была игра в одни ворота.

Расплата за мое слишком вольное поведение последовала после того, как нашу мужскую школу преобразовали в смешанную. Мы тогда пошли в восьмой класс. Объединение школ для нас прошло легко и почти незаметно. Мы остались в своем классе, «блатная», полукриминальная и мало приспособленная к обучению часть которого уже отсеклась — ушла в техникумы, ФЗУ или вовсе бросила учебу, — но который зато пополнился юными особами в школьной форме и с косичками. Иван Устинович отыгрался, усадив меня за парту с тяжеловесной и самой малоразвитой, как мне тогда казалось, девочкой класса.



Тягостная для нас обоих жизнь продолжалась несколько месяцев. Я чувствовал себя как раб на галерах, тем более что тяжелая деревянная парта того времени была почти точной копией скамьи, к которой приковывали гребцов. Стоило сесть за парту, как на моих щиколотках как будто смыкались кандалы. Впрочем, так как за перемещениями учеников в классе никто особо не следил, вскоре мне удалось освободиться и, более того, занять самое выигрышное, на мой взгляд, место в дальнем углу у окна. Надежный тыл, прекрасное обозрение всего класса плюс небезынтересные наблюдения за тем, что происходит на улице, — в общем, лучше не придумаешь. Большое облегчение, наверно, испытала и дама, с которой нам пришлось отсидеть бок о бок некоторый промежуток времени. Времени нашей жизни, которая еще длится, длится...

Большей частью за одной партой оказывались ученики одного пола, но были и исключения. Образовалось несколько влюбленных пар. Иногда пары, которые первоначально чувствовали взаимную симпатию, распадались, и коварно отвергнутый кавалер вынужден был покинуть свое, казалось бы, законное (хочется даже сказать «насиженное») место и искать, «где оскорбленному есть чувству уголок». Не все расставания проходили безболезненно.

Сюжет оперы «Кармен» в восьмом «Г». Вольнолюбивая цыганка в школьной форме, стоя на парте — одна нога на сиденье, другая на покато́й крышке, — исполняет свою коронную партию. Массивная парта вполне могла бы служить надежной опорой для Кармен любой весовой категории.

Но тех, кто сломя голову устремился во взрослую жизнь, было меньшинство. Остальные не смогли или не захотели перестроиться после семи лет отдельного обучения и выбрали позицию сторонних, высокомерно-снисходительных наблюдателей. В жизни есть дела и более важные. Какие? Например, найти денег и купить бутылку. Что подразумевалось под этим словом, не требовало пояснений: это тривиальная полулитровая бутылка водки «Сучок натуральный». Горлышко старательно запечатано картонной пробкой под сургучом. Изредка в простецких магазинчиках на окраине заезжий человек рисковал получить водку, щедро разбавленную водой. Еще больше была вероятность купить разбавленное, так называемое «женатое» пиво, которое качали ручным насосом из больших бочек.

Десятый класс, понедельник. У меня та же кирзовая сумка, что и в первом классе, только в ней не «Родная речь», а две бутылки. Мы сидим на кухне у моего друга Славы Ч., третий не лишний — комсорг класса Сан Саныч. Слава последние два года мой сосед по парте. Собираемся же мы у него ввиду благоприятного стечения обстоятельств. Родители Славы по понедельникам оставались на дежурство: отец в банке, а мать на почте. Наверно, они постарались, чтобы время их дежурств совпадало, и в результате повезло всем. До этого нам нередко приходилось довольствоваться подоконниками в подъездах.

Неожиданным подарком судьбы явилось и то обстоятельство, что родители Славы оказались людьми хозяйственными, к заготовкам на зиму отнеслись со всей ответственностью, так что и закуска была обеспечена



на самом высоком уровне. Из подпола на свет божий извлекалась трехлитровая банка с помидорами. Рассол прозрачный вверху и чуть мутноватый снизу, помидоры застенчиво проглядывают сквозь укропные заросли.

После «рабочей части», как это было тогда принято, следовал небольшой концерт. Слава садился за фортепьяно и исполнял «Полонез» Огинского. Сан Саныч и я не обладали тонким музыкальным вкусом, но изображали благодарную публику. Можно со всей ответственностью сказать, что исполнение было на высоте. Слава в свое время окончил несколько классов музыкальной школы и обладал, по заключению сведущих лиц, абсолютным слухом. При этом время своего музыкального обучения вспоминал с содроганием и признавался, будто не раз мечтал о том, чтобы случился пожар и пианино сгорело. Ему не повезло, и пришлось ждать, пока все не подойдет к логическому концу.

Звуки полонеза полны сладостной, напевной грусти. Грусти из другого мира, где по длинной, обсаженной липами аллее медленно идет дама в старинном платье, на веранде гусары в синих, расшитых золотом мундирах. Слуги, стоящие с бутылками наготове, подливают шампанское.

— За свободу!

— За нашу свободу!

Снова звенят бокалы. Изысканно-бледное вино закипает, пенится... Хотелось плакать или стреляться. С двух шагов, через платок.

Оказывается, на музыку «Полонеза» есть слова, недавно слышал в исполнении хора. Очень красиво, хотя текст непонятен.

Помидоры, тугие, напивавшиеся рассолом, озабоченно толпились, приникали к стеклу, выглядывали на волю, как большие заплаканные глаза. Клеенка, тарелка с хлебом, лампа под абажуром. Нет смартфонов, интернета, компьютеров — да что там смартфоны, нет даже телевизора! Приемник ловит только длинные волны.

Десятый класс, юность. Какой-то будет наша жизнь, как лягут карты?..

Прошло каких-то шестьдесят лет, и мир настолько изменился, что в это трудно поверить. Но родительский дом еще стоит, и после скитаний я снова стою у окна в этой квартире, а напротив, на другой стороне улицы, дом и те два окна, левое — кухонное. На кухне мы тогда и сидели. И уже почти двадцать лет нет моего друга, нет и Саши, бессменного нашего комсорга, что лихо расписывался и ставил штамп в наших комсомольских билетах. Квартира давно продана чужим людям.

И вот я смотрю и думаю: странно, что их нет, как нет многих моих родных и близких. Нет, совсем нет... В это трудно поверить. Ведь вот они, где-то здесь, рядом! Я их вижу, слышу, ощущаю. И что толку, что я сам еще здесь, смотрю на это небо, дома, улицы, деревья? Зачем все это, зачем я дышу, двигаюсь, вспоминаю?

Небо голубое, светлое, разбавленное облаками. Листья зеленые, глянцево-зеленые. Кажется, лучше бы я ушел — и через них чувствовал, видел, вспоминал, плакал.

Кино

*Из всех искусств для нас
важнейшим является кино.*

В. И. Ленин

Такой плакат висел в фойе кинотеатра «Пионер» на улице Горького, да, наверно, и во всех других кинотеатрах страны. На этой же улице находился и наш дом.

Кино играло большую роль в нашей жизни. Это был самый интересный и доступный вид развлечений. Кино показывали в кинотеатрах, клубах, сараях, приспособленных под летние кинотеатры, на открытых площадках, в городе и в деревне, в парке и в лагере.

Раз мне, маленькому человечку, которому было года четыре, подарили красную тридцатку с портретом Ленина в овальной рамке. Мы были в парке. Можно было купить мороженое, петушка на палочке, но я без колебаний выбрал сеанс в летнем кинотеатре. Не помню название фильма, кажется, «Тимур и его команда». Посмотреть удалось только самое начало, пока не порвалась пленка. Тут в зале поднялся шум, свист, раздались крики: «Сапожники!» Ненадолго зажгли свет. Минуты через три пленку удалось склеить, свет потушили, и сеанс продолжился, но ненадолго: раз за разом все повторялось, пленка рвалась, начинался гвалт, и далее все по тому же сценарию. Наконец объявили, что сеанс отменяется по техническим причинам. Техническая причина была серьезной: пленка оказалась слишком изношенной. Странно, но теперь крика и свиста не было. Люди утомнились и с ворчанием потянулись к выходу, так смиряются с плохой погодой или извержением вулкана. Против природы и судьбы не попрешь. Так пропала моя новенькая тридцатка, а вместе с ней — множество соблазнительных возможностей.

И вот прошло столько лет... Износилось брненное тело, его уже не залатать, не склеить. Ничего не поделаешь, свисти не свисти. Надо смириться. Ты думал, что ты особенный? Нет, ты такой же, как все. И это единственное, что может тебя утешить.

Музыку к кинофильмам часто передавали по радио. «Цирк», «Кубанские казаки», «Веселые ребята» — Дунаевский. Сколько света, радости, ликованья, надежды, искренней веры! Другая музыка звучала в фильме «Александр Невский»: самоотверженность, порыв, подвиг. Эта музыка вдохновляла, вела, сливалась с действием. Я какое-то время думал, что это Шостакович, оказалось — Прокофьев.

Одним из первых фильмов, которые я посмотрел, был фильм «Молодая гвардия». Хорошо помню лица: Тихонов, Мордюкова, Гурзо, Макарова⁶... Мы еще только пошли в школу, а уже завидовали героям

⁶ Перечислены имена нескольких актеров, сыгравших роли комсомольцев-молодогвардейцев.



Краснодона. Хотелось, чтобы и наш город заняли враги, а мы... Каждый из нас воображал себя героем, и не просто героем, а самым главным, самым героическим, таким, что никто и представить себе не может. Музыка к фильму не запомнилась.

Бабушка выдавала мне деньги на билеты, а несколько раз и сама ходила со мной на утренние сеансы. Но иногда хотелось проявить самостоятельность, смекалку и проникнуть в зал, пользуясь невнимательностью или снисходительностью контролеров. Помню, как стоял в вестибюле старого кинотеатра имени Маяковского в компании еще нескольких киноманов в возрасте от семи до десяти лет, жаждущих, как и я, прикоснуться к прекрасному. Билетерша была непреклонна, оправдывая свою твердость тем, что фильм только для взрослых, «после шестнадцати».

Тогда самый старший из нас заявил:

— Да у меня уже дети такого возраста! — что показалось мне очень остроумным.

Помню, как тщетно пытался пройти контроль, встав на цыпочки в валенках.

Один раз удалось проскочить без билета «на прорыв». Но следующая попытка закончилась полным провалом. Народу в зале было не очень много. Уже потушили свет и начался журнал, как вдруг к нам подошел молодой человек и в грубой форме предложил покинуть заведение.

С кино связана совершенно фантастическая история. Мне было, наверное, лет шесть, когда каким-то волшебным образом я очутился между рядами в темном зале кинотеатра имени Маяковского. Я один, вокруг незнакомые взрослые люди. Как это получилось и что было до этого, не помню, но билета у меня не имелось. Показывали шикарный цветной — возможно, даже первый цветной — двухсерийный фильм «Падение Берлина». Я остановился между двумя креслами, в которых сидели чужие люди. Так и простоял обе серии.

Уже когда фильм кончился, один из них что-то сказал другому. Тут только они выяснили, что между ними пристроился какой-то незнакомый пацан.

— А я думал, что это ваш!

— А я — что ваш...

К счастью, сеанс уже кончился, и я поспешил к выходу.

Главную роль в фильме играл Андреев⁷. Это был крупный артист, в прямом и переносном смысле этого слова. Он занимал особое место в советском кинематографе. Во всех ролях он представлял человека, в котором доброта и застенчивость сочетались с внутренней твердостью. И даже его неуклюжесть происходила от доброты, словно он боялся кого-то случайно задеть, обидеть. Народный герой, Илья Муромец.

⁷ Андреев Борис Федорович (1915—1982) — известный советский киноактер, дважды лауреат Сталинской премии, народный артист РСФСР. Играл в фильмах «Два бойца», «Большая жизнь», «Илья Муромец», «Падение Берлина» и др.



Алейников⁸ — Алеша Попович. Про «трех богатырей» (третьим был Николай Крючков⁹) рассказывали анекдоты. Из частной жизни известно, что Андреев отдал Алейникову свое место на Новодевичьем кладбище.

Во многих фильмах показывали, как сознательная молодежь бросает родительский кров, устремляется на восток, в глушь, в тайгу, на заводы и стройки — стройки коммунизма. Да и люди вполне солидного возраста, творческих профессий: композиторы, скульпторы, поэты, — как оказывалось, не могут более прозябать в столице и рвутся в самые дикие места в поисках вдохновения.

Однообразие отечественных фильмов уже начинало надоедать, когда из архивов извлекли раннесоветскую ленту «Праздник святого Йоргена». Веселый фильм удивлял своей свободой, свежестью. Оказалось, у нас были большие мастера, которые умели снимать легкие и ироничные картины, пока власти еще не осознали подрывную силу иронии.

В течение двух-трех лет в кинотеатрах демонстрировали старые зарубежные фильмы, которые называли «трофейными». Попасть на многосерийный фильм «Тарзан» было не так-то просто. Весь кассовый зал в подвале кинотеатра был забит малышней. Около самих касс перила из мощных труб делили людской поток на отдельные шеренги. Выбраться обратно на волю с желанным билетом было еще сложнее, чем добраться до кассы, так как приходилось идти против течения. Последние серии мне посмотреть не удалось: надо было ехать в пионерский лагерь.

Белое полотно над поляной. Стрекочет кинопроектор, зрители расположились прямо на траве. Комаров нет. На экране Лев Толстой, его невозможно ни с кем спутать, даже если бы он сбрил бороду, хотя без бороды его так же трудно представить, как Ленина без лысины. Толстой не один, рядом жена в длинном платье, почитатели, толстовцы. Лев Николаевич хмурится, видно, что он недоволен. Наверно, из-за жены. Он садится на велосипед и неумело крутит педали. Юный Набоков на таком же велосипеде дерзко проносится мимо, едва не сбивая великого старца. Толстой чуть не падает, но снова усаживается в седло, его брови сурово сдвигаются. Сзади его поддерживают дворовые — Степан и Никита. Они разгоняют барина. Велосипед слегка виляет, но упорно едет вперед, распугивая куриц и дачниц в длинных платьях. Надежда Константиновна и Инесса Арманд прыгают через скакалку, а велосипед въезжает в лес, удаляясь от зрителей.

На открытой террасе Танеев играет на пианино и нагло смотрит на Софью Андреевну. Видно, что музыка только предлог. Фильм немой,

⁸ *Алейников Петр Мартынович* (1914—1965) — советский киноактер, кавалер ордена «Знак Почета». Самые известные роли — в фильмах «Семеро смелых», «Трактористы», «Большая жизнь», «Конец Горбунок» и др.

⁹ *Крючков Николай Афанасьевич* (1911—1994) — популярный советский актер театра и кино, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии, Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина. Наиболее известен по фильмам «Трактористы», «Небесный тихоход», «Парень из нашего города», «Максимка», «Поднятая целина» и др.



поэтому, о чем они говорят, можно только догадываться, как и о роде музыкального произведения: Шопен, Дебюсси или «Крейцера соната». Толстой тут же, он возмущен, но не подает вида. В его голове зреют новые творческие замыслы...

Но что это? Ура! Музыка, звук, звуковое кино! Да это Бетховен, его нельзя не узнать: Лунная соната, Аппассионата — нечеловеческая музыка. Играет Гольденвейзер¹⁰. Оператор показывает публику. Надежда Константиновна? Матерый человечище? А это чья же лысина? Нет, неужели? Точно, не может быть никаких сомнений. Просматривается явное портретное сходство.

Летчик в кожаной куртке и крагах улыбается, надевает шлем, забирается в кабину некоего эфемерного, неустойчивого сооружения под названием «аэроплан». Вокруг люди, человек сорок, все оживлены, особенно один, в пальто и пенсне, которого показывают крупным планом. Толпа отодвигается, к аэроплану подходят два плотных деловитых человека и начинают раскручивать пропеллер. Аэроплан раскачивается, неуверенно бежит по полю и потом, о чудо, отрывается от земли и пролетает над толпой. Люди в восторге, бегут, как будто хотят догнать самолет. Наконец свершилось! Ура! Победа!..

Но это уже за кадром.

Улица, забор, равнодушная лошадь, сани. Вокруг какие-то люди в темных пальто, каракулевых папахах, шапках, дамы в длинных шубах, в шляпках. Бабушка, совсем молодая, держит ящик, сверху плакат: «Сбор пожертвований в пользу фронта».

Комната, скатерть, стол, самовар, вазочка с вареньем, стаканы, чашки. Младший брат деда, лет девятнадцати, в гимнастерке — офицер, приехал на побывку.

Степь, конница, атака, шашки наголо. Ур-ра! «Чапаев».

«Волга-Волга». «Вратарь». «Молодая гвардия». «Небесный тихоход».

«Падение Берлина». Знамя над Рейхстагом. Паровоз с портретом вождя, украшенный еловыми ветками. Домой!

«А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер...»

Последние кадры, пленка бежит все быстрее, на пустом экране мечутся черные зигзаги, как иероглифы. И вот все обрывается. Конец сеанса. Зрители покидают зал.

В шестидесятые кино почти полностью заменил телевизор. В студенческие годы мы четвером снимали комнату (мест в общежитии для нас не хватило) и по предложению хозяйки скинулись и купили это чудо техники — полированный ящик с небольшим экраном. Это был телевизор второго поколения, конца пятидесятых. Помню, как лазили по железной крыше, устанавливали антенну. Ящик водрузили на комод, застеленный кружевной

¹⁰ Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1961) — российский и советский пианист, педагог, композитор, близкий друг Л. Н. Толстого. Доктор искусствоведения, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии.



салфеткой. Не знаю, в чем крылась ошибка, но изображение было более чем неудовлетворительным: по голубому экрану ползали такие же бледно-голубые, почти неразличимые тени. Иногда некоторые из них можно было распознать по расплывшемуся двойному контуру. Так что после двух-трех просмотров пришлось отказаться от этого блага цивилизации.

Как-то посмотреть телевизор пришла соседка, она училась на первом курсе музыкального училища. Ни хозяйка, ни мои друзья — никто уже не мог выдерживать проведения культурного досуга у голубого экрана. Так что мы оказались вдвоем против коварного ящика. Это была ловушка: ни она, ни я не могли встать и оборвать это бессмысленное занятие, разорвать ту невидимую связь, которая нас объединяла и ради которой мы были готовы терпеть эту муку — испытание телевизором.

Вскоре хозяйка продала его более умелому гражданину, который добился-таки высокого качества изображения. Как говорят, дело мастера боится.

Куртуазное воспитание

*Так, значит, завтра
На том же месте
В тот же час!*

Б. Тимофеев

Семь лет мы учились в мужской школе, которая возвращала нас в дореволюционное прошлое: кавалергарды, гусары, мундиры, балы... А вот балов-то как раз и не было. Были танцы.

Деревянный помост за оградой, «раковина», духовой оркестр — танцплощадка в Саду Сталина. Сад огорожен сплошным дощатым забором приличной высоты, но в одном месте, на углу, в силу изменчивости рельефа через него можно легко перелезть. За вход на танцплощадку отдельная плата, да нас и с билетом не пустят — не доросли, но можно послушать духовой оркестр, понаблюдать за танцующими парами, пообщаться к взрослой, непонятной пока жизни. Девушки в легких, почти воздушных платьицах с подобранными рукавчиками, кавалеры в широких брюках клеш, в тельняшках под рубашкой с короткими рукавами.

Иногда вдруг вспыхивает драка. Не такая массовая и красочная, как в кино, а так, небольшая стычка местного значения. Но незримо присутствующие дежурные быстро гасят очередной очаг классовой или межнациональной напряженности. Серьезных драк кастетами и армейскими ремнями с тяжелыми пряжками при нас не случалось.

Когда мы только пошли в школу, в моде были широкие брюки клеш. Такими обычные брюки становились после вшивания клиньев в нижнюю часть штанин. Почему-то считалось, что мода эта пошла от моряков, и вокруг нее реял ореол морской романтики: путешествия, пальмы, пирсы, креолки, заморские порты, «где можно без труда добыть себе и женщин, и вина».

И кто из нас не мечтал: сияющая даль моря, ослепительно белый мундир, отдраенная до блеска палуба чуть покачивается, блестит, отра-



жая южное солнце! «Ходили мы походами в далекие края, у берега французского бросали якоря». Марсель, Ницца. Набережная, сбегающие по склону к морю прекрасные белые дома. Кто же тут обитает, кому так повезло в этой жизни? Ни снега, ни морозов. Ананасы и никакой картошки. Только солнце, только море, только праздник.

В отличие от учебных заведений царской России, у нас не обучали этикету и танцам. Но что такое бал? По Куприну, это чудесная возможность встречи. Юность, красота, полет, нежность. Любовь, размолвка, примирение. После объединения школ некоторые одноклассницы пытались обучить кое-кого из робких увальней хотя бы одному танцу. Классическими в то время были вальс, фокстрот и танго. Особой популярностью пользовалось танго в упрощенном виде: «две шага налево, две шага направо». Но и такой примитивный вариант многим оказалось не по силам освоить. Скоро мы поняли, что движения могут быть произвольными, импровизированными. В танце важен внутренний диалог и кратковременная влюбленность, чувство нежности, благодарности и понимания на один или на несколько танцев за вечер.

Новые материалы, новые технологии производства, совершенствованные транспорта, средств связи, взаимопроникновение культур, драматические события первой половины двадцатого столетия привели к некоторому раскрепощению, частичному отказу от старых предрассудков, догм, мифов, заблуждений. Новые взгляды вызвали изменение моды на одежду, музыку, танцы. Джаз, рок-н-ролл. Конфликт отцов и детей. Молодых людей, которые стремились следовать новым веяниям моды, называли стилистами. Культовыми фильмами для ребят немного старше нас были «Серенада Солнечной долины» и «Девушка моей мечты»; для моих сверстников таким фильмом была «Золотая симфония». В этом фильме австрийский ансамбль фигуристов исполняет на льду рок-н-ролл (именно эти па копировались нашими стилистами и просто любителями вроде меня).

Когда мы оканчивали школу, оказалось, что широкие брюки просто смешотворны и годятся разве что на чучело. Теперь они, в противовес прошлой моде, должны были быть максимально узкими, чтобы только удавалось на себя натянуть (современных эластичных материалов в то время не было). Чешские шузы на толстой подошве, полосатые шелковые носки. Широкий пиджак, длинный галстук. Орел в ожидании добычи. Надо ли говорить, что работы портным хватало.

В это время некоторые из нас начинали бриться.

Мода на одежду, как и на танцы, пришла с Запада. Новая музыка, новые наряды, новые танцы вместе с чуждой идеологией проникали, просачивались сквозь «железный занавес». Движение, импровизация, темперамент, радость жизни в ее непосредственных ощущениях — все то, что было под запретом. Молодежь стала более свободна, раскованна.

Нам нравился джаз, буги-вуги, рок-н-ролл. Джаз слушали и записывали по ночам, его передавали Би-би-си и «Голос Америки» на коротких волнах. На первом этаже в нашем подъезде в одной из комнат коммунальной квартиры обитал наш товарищ Валера со своим дедом. На зависть

сверстникам он был счастливым обладателем магнитофонной приставки, лентопротяжный механизм которой крутился от патефонного диска. Иногда, несмотря на то что вражьи голоса старательно глушили, у Валеры получалась вполне приличная запись. Почему-то казалось, что это наша музыка — новая и в то же время давно знакомая, услышанная в самом раннем детстве или даже еще раньше. У родителей сохранилось довольно много пластинок тридцатых годов: «Инесс», «Брызги шампанского», «В нашем доме поселился замечательный сосед...». Джаз, рок воспринимались как естественное продолжение этой культуры. Свободная музыка для свободных людей. Новая жизнь, новая радость, новое счастье.

Если провести статистическое исследование, какая фраза произносится чаще всего, за исключением случаев, когда тебе на ногу падает что-то тяжелое, окажется, что это фраза «Как же быстро летит время!». Действительно, вот уже март, снова март, а век уже не двадцатый.

Кстати, на днях проходил по Первомайскому скверу после восьми. Было уже темно, и весь сквер был наполнен райским пением. Я напрасно вглядывался в темноту, чтобы увидеть, кто же это так прекрасно поет, и подумал: наверно, свиристели — весна. Хотя температура минус пятнадцать скорее январская. На следующий день попал в тот же сквер на полчаса раньше, было еще светло. Пение уже началось, и оказалось, что это — трудно поверить! — наши старые знакомые — вороны. Они каждый вечер возвращаются откуда-то к месту своей ночевки и делают по дороге одну или несколько остановок, наверно, для переключки.

Вечер, стою у окна. Снег падает: близко, за стеклом, отдельные снежинки, дальше — стеной, пологом. Первый след. Кто прошел? Первопроходец. Деревья, стены домов. Окна, свет. Помню, как когда-то в командировке бродил такими же вечерами по московским дворам в районе метро «Сокол» между домами в четыре-пять этажей, смотрел на окна. Во многих горел свет. Люди за ними сидели, говорили, двигались. Я никого не знал, и город был для меня чужим.

Но вдруг какое-то окно и комната за ним начинали казаться мне знакомыми, как будто я там жил и вот возвращаюсь из командировки. Узкий коридор, вешалка, тумбочка с телефоном, портьеры, комната, стол, четыре стула, шкаф, диван. Подхожу к окну и вижу внизу у палисадника чудака, который пляшет на окна. Подозрительно оглядываюсь на взрослую дочь. Мне хочется открыть форточку и окликнуть этого человека. Окликнуть самого себя. Хотя с какой стати? Может быть, это совсем не я. Мало ли кто и зачем тут бродит...

Я включаю лампу под абажуром, отодвигаю старый стул с жесткой спинкой. Слабый свет освещает потолок, стены, ярким пятном падает на скатерть, тарелки и сахарницу на столе. Два часа прошло. Пора вставать, а то, как говаривала моя бабушка, «проспишь и царствие небесное». Зима у нас в этом году действительно холодная. А еще заявляют: потепление, потепление... Как говорит одна знакомая, вот и верь после этого людям. Каждый так и норовит обмануть.

Дмитрий РУМЯНЦЕВ

ОСЕНЬ В РОЩАХ

* * *

Золотые маковки церквей — это осень в рощах. Перепутье.
Дни стоят самих себя светлей, в птицах улетающих запутав
кроткие осенние дымки, краткие осинные пожары.
Тянутся туманами с реки утки под колючие Стожары.

Упадет, отслеженный стволем, селезень в леса — в рога олени,
словно солнце в тальник, в бурелом, за границы рыжей ойкумены.
Так тепло, что тишина двора кажется ладонью загубелой.
И за этим всем придет пора сцен без склейки фильмы черно-белой.

* * *

стрижи гремучею змеей звенят на небе, но не страшно
так самый воздух одомашнен сквозной пернатою возней
и смотровое колесо возносит нас к седьмому небу
и я стихи читаю Фебу — спасибо, бог, за это все!
за это лето на дворе, погоду эту отпускную
за то, что я Тебя рисую в стихах, за то, что трафарет
судьбы вычерчивает нас с неизреченною любовью
стрижата — вскинутою бровью — дивятся кручам горних трасс
а я Тебе дивлюсь и чуду, как чуду, я дивлюсь Тебе
и притягательной судьбе, в которой был, и есть, и буду
звенят стрижи (так бьют посуду) в веселой ветреной божбе

* * *

Зима. Зима. Студеные деньки.
На горизонте мокрый снег маячит.
А ветра нет. Высокие дымки,
как мачты.
Куда ж нам плыть? Суровая тайга
хоронит след. И бытие, что битва.
Далеким мне снятся берега,
и плаванье — как тихая молитва.

* * *

невесомость, патина золотых стрекоз
паутинка гатчины, что метемпсихоз
облака над озером, и туманов дым
или над березами бледный серафим
улыбнется месяцем одному тебе
ветер вепрем бесится: быть беде
а не то — прояснится, и стоит одна
с четверга на пятницу тишина

греза

Вся Нева: и баржи, и Биржа подо льдом. Под сурдинку зимы
опускается ниже и ниже обводное облако тьмы.
Снег идет и идет, как пехота. Меркнет слава. Разводят мосты.
Поднимаются кони Клодта. Подле, Лавра, твой монастырь.
Весь столичный город в движеньи, словно вновь — девятнадцатый век.
Новостройки, дома, учрежденья ловят ртами (сле)тающий снег.
И мы тоже с тобой, как дети, ловим снег и летим во сне
в рукавичках вязанных этих на катке, на реке, на Неве.

утро над невой

*Пойдемте: снег упал на землю,
забилась радуга в канале.
Вот Эос высекла из кремня
искру: дворы светлее стали.
А над Невой, как над Темзой,
стоят туманными ночами
светила — стылými свечами
с печалью, словно с антитезой.*

отрывок

как бумажный кораблик в весеннем ручье
продолжается жизнь. я никто и ничей
никогда из-под спуда весеннего льда
не проглянет на свет голубая вода
никогда не споют в сиротливой глуши
голубиные крылья глубокой души
и как все напевая лезгинку ручья
я останусь с тобой. но останусь молчать

* * *

красно-рыжие дни, и стоят под дождями леса
как в осеннем заказнике в кронах — и рысь, и лиса
мокрый ветер качает широкие ветви осин
я опять здесь живу, и полуночный мир выносим
даже больше: здесь можно сойти от восторга с ума
или дымное ложе постелет священный туман
в час, что звезды, как свечки, сияют вверху да в пруду
не остынь! не остынь! — я куда-то тебя поведу
мы другие, иные, мы словно фита или ять
нас никто не поймет, нас за лесом уже не поймать
в день, когда за моря запоздалая птица летит
я твой номер опять набираю, как этот петит
будь со мной, — ты со мной, если листья кружит петипа
в вертограде ветров, за забвением не улетай!

мелочь

я б желал, чтобы ветер меня расплескал:
чтоб ни слова, ни звука, ни всплеска.
трется судно в ночи о холодный причал,
шелестит на окне занавеска.
хорошо этим летом и быть, и любить
тех, кто сердце взаимно заполнил.
обещаю всю жизнь ради смерти забыть,
чтобы Бог нас на небе исполнил...
чтобы Бог нас на облаке вспомнил,
надо ливни и ливни пролить...

* * *

между вдохом и выдохом агнцу оставив надежду
между волком и выходом, между зиянием, между
говореньем, молчаньем — штрихом, оголенностью, нервом
п(р)оявляясь сквозь сон и, быть может, являясь шедевром
пролегла между нами разлука, разверзлась стихом
никогда, никому, ни к чему, ни за чем, ни о ком

Алина ПОЖАРСКАЯ

**ЛЮБОВЬ, И БОРЩ,
И ПСИХОБИЛЛИ**

Р а с с к а з

Сейчас

Я пришла к нему в третьем часу пополудни.

— И где там мои борщочки? — спрашивает.

Я достаю из рюкзака три тары: банку, стеклянную бутылку и пластиковое ведро.

— Сложно, — замечает он.

Я возражаю:

— Просто. Вот это банка. Ее вываливаете в кастрюлю и греете. А это — ведерко из-под квашеной капусты. В нем твердая часть борща. Ее надо смешать с жидкой частью — она тут, в бутылке. Ну, бульон в ведре может протечь, а в бутылку хрен нальешь все сразу. А банок у меня больше не было.

— Угу, — говорит он. — Я понял.

— Бутылка из-под апельсинового сока, — прибавляю, — поэтому, если вдруг борщ апельсинами будет отдавать, не пугайтесь.

Он наливает мне кофе, кладет печенек. Я падаю в гостевое кресло и поворачиваю вертикальные синие жалюзи так, чтобы мне открылась улица, а ему — нет. Он всегда ныкает, а мне в последнее время воздух нужен и свет.

Он за компом, работает. Приложение банка слетело, разрабы не в курсе, пользователи матерятся. Опять очко на работе.

— Гулять пошли уже? — спрашиваю.

— Сейчас, дотрахуюсь тут, — отвечает он, — и полчаса можно.

В перерыве он зажигает сигарету, говорит: «Алис, потише» — и подходит к моему креслу. Типа гостеприимство.

— Бесит меня ваша Алиса, — говорю. — Будто баба в доме поселилась.

Он смеется:

— Это потому, что она вас не слушается.

Правда. Сколько раз я просила ее поставить Василия К. — она включала «Касту». Позор, в общем. А он смеялся.

Я смотрю на него снизу вверх из кресла. Он весь зарос. Раньше всегда брил над губой, а бороду мог оставить. Теперь все заросло. Я будто изучаю его заново.

— Вот, — говорю, — свидетельство о браке.

Он просил принести: паспорт восстанавливает. Полгода назад на концерте он попросил автограф прямо туда. На восемнадцатую страницу, где группа крови. За неимением иного девушки обычно на груди просят. А он, за неимением оной, — вот.

«У вас он недействителен, блин, — говорила я. — Нельзя в паспорте маркером чиркать». — «Ну и переделаю, — отвечал. — Все равно как из жопы». Теперь переделывает.

— Переделывать будете — типа потеряли? — спрашиваю.

— Естественно. Само собой. Автограф Уитни Флинн отдавать? Хрен им!

Он зажимает сигарету в зубах.

— Вот. — И кладет на стол пару бумажек. — На корм и магазинные штуки. И вообще.

— Спасибошки, — отвечаю.

Свидетельство о браке лежит рядом со мной на столике. Такие-то ребята, в таком-то году.

Двенадцать лет назад.

* * *

Он докуривает, я иду обуваться.

— Опять свой нудизм оставили! — говорит.

Это про жалюзи: я забываю вернуть как было. Он возвращает, как было. Музыку не выключает. Там сейчас какое-то долбанутое психобилли* с контрабасом — совершенно не его репертуар.

— Это Кондрат мне на память оставил, — поясняет он. — Когда приезжал, что-то лайкнул. А там же лайки учитываются — и здарсьте пожалуйста. Теперь Алиса заботливо включает мне это. В ответ я зашел в кондратский аккаунт и лайкнул Укупника.

Мы проходим мимо помоек, он выкидывает мусор. Он теперь сортирует мусор — меня переплюнул в сознательности. Чего не начнешь делать, если в твоей пятиэтажке нет мусоропровода.

Заходим в продуктовый — там кофе на вынос. Я как-то спросила, почему именно этот продуктовый — есть и поближе. Сказал, что там стаканчики прикольные, с единорогами-торчками.

— Типа свиданка? — уточняю по пути в магазин.

* Психобилли (сайкобилли), англ. Psychobilly — жанр рок-музыки, сочетающий экспрессию и агрессивность панк-рока с мелодикой кантри и рокабилли.

— Не понял, — отвечает.

Проходим чуть ниже по холму. Там у кооперативного гаража в бетонной дыре поселилась кошка с котятами. Он их подкармливает и присылает мне видеоотчеты.

«А мама-кошка-то самая смелая, — писал он, когда только-только открыл их для себя. — Первая рожицу высунула».

«Хорошо, что лето. К зиме они подрастут, — отвечала я. — Выживают».

Мы опрокидываем консервную банку с кормом, хлопаем по ней. Получается куличик. Но никто не выходит: дрыхнут, стало быть.

Двигаем через парк к остановке.

— Чего так мало? — спрашиваю.

— У меня перерыв не резиновый, — пожимает плечами.

Автобусы заряжаются у электростанции. На карте они похожи на каких-то жуков. «Ты мой хороший», — всегда мысленно глажу я автобус, который отделился от общей кормушки и едет ко мне.

Автобус отделяется, подъезжает.

Мы обнимаемся. Он идет дальше работать, я еду домой.

Тогда

Тринадцать лет назад меня позвали в Сочи на конференцию — от моего мехмата. Ну, все как обычно. Культурные женщины-попутчицы в купе двухэтажного поезда (я не умею летать на самолетах и попросила поезд), вокзал, поржать над улицей Роз и сфоткать для всех сочувствующих; смешная река Сочи, пальмы, ядёрки и гостиница почти у моря.

Меня заселили с девочкой из Кривого Рога.

— Да там все идиоты! — с ходу начала она. — Я диссер пишу. Так мне знаешь сколько баб сказало: мол, чего ты паришься, ты же замужем? Залетай и дотяни до восьмого месяца. На восьмом ни одна комиссия не завалит. А особо гуманные и на третьем месяце зачтут. А я, раз парюсь, ночи не сплю, видимо, лохушкой получаюсь в их картине мира. Ну как им объяснить, что смысла тогда нет во всем этом?! Причем ни в диссере, ни в залетании. Нет смысла. Смысла нету!.. Я Катя.

— Я Соня, — ответила я. — Очень тебя понимаю.

Конференции были прямо на месте, в конференц-зале. Белые стены, серые стулья, кругом ни царапины. Какое-то извращение.

Вечером было свободное время.

— Кать, ты? — крикнула я через дверь: выходила из душевой кабинки.

— Я, — ответил нетрезвый голос. — Знаю, как это звучит, но я сейчас в баню пойду с мужиками.

Я вышла из ванной, суша волосы феном:

— Короче. Телефон держи при себе. Если что, в толчок отлучись и мне напиши. Прибегу, ресеп на уши поставлю. Аккуратнее.

Она махнула рукой:

— Видела, как Берегов на тебя смотрит?

Я тоже махнула рукой, спровадила ее и легла в одежде.

Заснуть не получалось. Я написала Кате СМС: «Все нормально?»

Ответ пришел через пять минут: «Денисюк облизал мои пальцы».

«И славненько», — ответила я и уснула со спокойной душой.

Утром я повернулась и увидела Катю на соседнем матрасе. Я потормошила ее: время завтракать. Она поворчала и натянула майку, не открывая глаз.

— Тебе вообще вчера было не о чем беспокоиться, — сказала она, поднимая с пола подушку: она спит без подушки, с гулькой на голове. Это все альпинизм, говорит, такая вот деформация. — С нами был Вовка Берегов. Мы с одного подъезда, вместе поступали, пуд соли слопали, потом в Москву укатили и нас чуть-чуть раскидало. Но пуд соли — не в том смысле: он ко мне прям по-братски. Сидим мы, значит, с Денисюком, потеем — ну то есть баня там, все дела, — и тут Берегов подсаживается ко мне и говорит: «Катя, я за тебя перед Сеней отвечаю. Что, черт побери, твои пальцы делают у Денисюка во рту?»

Муж у Кати работает на заводе. Живут, если не считать всяких пальцев во рту, душа в душу. И более разных людей на всей земле не отыщешь.

— А на тебя Вовка смотрел, — повторила Катя сказанное накануне. — Видала?

Сейчас

— Держите ваш супчик, — говорю.

Он грозно дышит, но так, для прикола.

— Борщ — это не суп! — выдает он любимую мою фразу. В смысле — фраза его, а люблю ее я. Обожаю.

— А клен — не дерево, — отвечаю и сажусь в кресло для гостей.

Сегодня борщ в банках, в единой своей ипостаси. Это я закупила разными штуками в банках, штуки съелись, банки остались, и вот как раз.

— Опять депрессия тут у вас, — говорю про закрытые жалюзи и открываю в полупрофиль.

— Опять нудизм устраиваете, — отзывается он.

Сажусь в кресло.

— Пледиком накрывайтесь, — говорит. — А то пятки замерзнут.

Сейчас золотой сентябрь, еще не топят.

— Вы гулять не?.. — спрашиваю.

— Не-а. У меня очко.

Я думаю про себя, что и ладно. В этой бордовой бунинской красоте я погуляю одна. Мне больше достанется.

Я слегка опустошаю холодильник, грею борщ, который не суп, несу ему в комнату, прямо ему за комп, и обуваюсь. Он идет провожать.

— Стынет, — говорю.

Он пожимает плечами.

— Большое-большое спасибо, — отвечает.

Обычно он говорит это, уже скребя ложкой дно миски, но сейчас я ухожу, и он говорит заранее. Потом еще в телеграм напишет, наверно.

Мы обнимаемся.

Тогда

— Какое у тебя красивое туловище, — сказал мне Вовка.

Это было на пляже. Шел второй день нашего сочинского слета.

— А у тебя гармоничный скелет, — ответила я.

Солнце жгло, медузы на берегу смотрели с упреком.

— А погнали как-нибудь на север города? — предложил он. — Там пейзажи родней. На Подмоскovie похожи.

Я улыбнулась.

Пейзажи на севере Сочи, действительно, оказались прямо-таки северными. Холмы, сосны почти в традициях какого-нибудь Петрозаводска, колючая проволока на заборах вокруг железной дороги и белье на турниках. До меня не сразу дошло, что Вовка просто хотел уединиться. Какой еще дурак в городе Сочи попрется на север, где нет моря?

В общем, мы ото всех свалили.

Я в тот момент еще ни о чем таком не думала. Я никогда ничего такого не думаю, потому что иначе это лучший способ все загубить. Когда долго с кем-то дружишь, то страшно испортить отношения, поэтому так и оставляешь человека в друзьях. Когда вы едва знакомы, то тем более страшно, потому что ты ни черта про человека не знаешь. Получается ни туда ни сюда. И сойтись можно, лишь выполнив два условия: познакомившись достаточно и наплевав на страх все разрушить. Иногда рушится. А надо рисковать.

Наверно, и хорошо, что сначала я увидела — даже услышала — в нем названного брата девчонки со двора, а потом только разглядела, что у него и глаза томные, и уши чуть в стороны — «оттопыренные» тут не подходит, это грубо, скорее трепетные, — и плечи острые, не зря я брякнула тогда про скелет. И то, перед тем как разглядеть, я услышала комплимент про туловище и поняла, что с этим парнем нелепой быть не боюсь.

Сейчас

— Идите точите обед, — говорит он.

Он заказал доставку и пожарил мне растительных котлет и сварил макароны. Это прогресс: раньше верхом его кулинарных способностей были макароны и огурец, аккуратно нарезанный кружочками. Прогресс, даже учитывая, что котлета полуфабрикатная.

За окном поздняя осень, ноябрь.



Пока я ем, он проводит ревизию.

— Вот это я не буду носить, обратно отвезите, — протягивает футболку с надписью «Порнофильмы».

— Почему?

— Она парадная, для особых случаев.

— Ну так следующий раз на связи будьте, когда я спрашиваю, что привезти, — говорю.

У него нет стиралки, поэтому я иногда увожу вещи постирать и привожу снова.

— У меня очко было, — отвечает. — На работе.

Тогда

После конференции в Сочи мы стали жить вместе. У меня.

Он играл на гитаре, не считал борщ супом и любил засыпать в наушниках.

Обнимались каждый раз на прощание и по приходе домой.

Я работала в лаборатории за пятнадцать тыщ в месяц, Вовка устроился инженером в банк. Меня считали везучей.

Меня считали везучей посторонние. А ближнее окружение — лохом.

— Лохушка ты, Соня, — говорила мне Катя, которая нас тогда как бы познакомила. — Ну не лохушка, а просто немножко глупая. Ты что делаешь?

— А что я делаю? — спрашивала я в ответ. — Я просто живу на свои.

Когда мы с Вовкой просто гуляли и оба были нищелюбы, он приглашал меня в кино, или выпить кофе, или выпить пива, или еще куда-нибудь. Это мне подходило. Он за мной ухаживал, а для меня это была игра.

Когда мы съехались, игры я прекратила.

Я умудрялась жить на свои. Когда-то я поклялась себе, что никогда ни от кого не буду зависеть. Кто жил в бедности, тот стервозен, когда касается денег. Отрастил зубы, когти и свой собственный недосып заставил работать на себя: не выспавшись, ты наглее. А у меня все наоборот. Бедной я не была.

Меня воспитывала бабушка.

Я жила в постоянном страхе, что вот опять меня попрекнут за новые джинсы или что, заменив мне старый диван, бабушка снова будет называть меня проституткой. Надо же было ей расходы как-нибудь компенсировать.

— Соня, дурья ты голова! — Это снова Катя. Мы были в театре и после гуляли по прохладной летней Тверской. — Я знаю Вовку. Ну он же не мудака. Может, он просто мечтает о том, чтобы тебе брелок подарить, на Сахалин тебя свозить и гладиолусами закидать по самое темечко?

— Почему гладиолусами? — спросила я.

— Не знаю. Ассоциируются они у меня с тобой. Такие же длинные, нежные и бестолковые.

— Мне все это не надо, — сказала я. — Для меня счастье — это жить на свои.

— О'кей. А еще, может, он обижается.

— На что?!

— На твое недоверие. Что ты боишься, что в старости он начнет тебя куском булки попрекать. Соня, ау, он твой муж!

Я пожала плечами. Прибыл мой автобус, экспресс до окраины. Я уезжала из бессмысленного и тревожного центра и впервые задумалась о том, где кончаются убеждения и начинается — тупо, банально — страх.

Сейчас

— Как там Кондрат? — говорю.

Мы сидим у него.

Кондрат назвал сына не по-китайски и не по-русски. Видимо, в честь глобализации.

— А Джек, — продолжает Вовка, — рядом ползал. И тут Кондрат берет телефон и говорит: «Ну конечно, буду! Джек, скажи “жо-па”...»

— Какой чудесный Кондрат, — говорю. — Гений педагогики.

— А вот мама его не очень, — продолжает Вовка. — Отца они увидеть не могут: чтобы это сделать, нужно оформить доки. Мама не знает китайский. Кондрат оформить не может, потому что муж и жена могут увидаться, а сын с отцом — нет. Карантин пока.

— Блин, — говорю.

— Ну и друзей она не завела. У нее увлечений, кроме вечного поиска скидок, не осталось.

Сегодня я приехала налегке, только с фартуком. Потушила макароны прямо на месте. Со сковородой нужен фартук. В желтый листочек, осень вечная. Плита стоит под углом, и сама я ее никогда не зажигаю. Черт бы подобрал эти газовые плиты, ей-богу.

— Алис, — говорю, — а поставь «25/17»*.

Алис ко мне попривыкла и порой даже ставит то, что прошу.

Я вспоминаю маму Кондрата. Она, как и сын, живет в Китае. Там она не работает, и муж-моряк регулярно перечисляет ей деньги. «Мне стыдно транжирить, — говорила она. — Кондрат надо мной ржет, что я пройду пять километров, потому что в том сельпо укроп на юань дешевле. Но это мои дети. Я должна давать им зелень, фрукты... Я буду беречь каждую копейку».

Детьми она называет Кондрата и его жену.

— А как же внук? — спрашиваю. — Она с ним не возится?

— Возится. Но ты пойми, в Киеве она главбухом была.

Он сказал мне «ты». Значит, у мамы Кондрата все действительно грустно.

Скоро Новый год. Встречать будем вместе. У меня.

* «25/17» — музыкальный дуэт из Омска, работающий на стыке альтернативного хип-хопа и рока.

Тогда

Меня воспитывала бабушка. Я смотрела на своих сверстников, которые раз в неделю прятались от пьяных родаков, и не очень переживала по поводу родаков собственных. Ну, отморожилась. Но это я поняла позднее.

Родаки жили отдельно. А я жила на два дома, но большую часть времени — у бабушки. Это совсем не тот случай, когда бабушка живет с вами. Я жила у нее, а значит, в гостях.

Она ходила по прихожей тяжелой походкой, осыпала проклятиями свою дочь, ее мужа, и заодно и меня. Вследствие этого я получила стойкое отторжение от книг, фильмов и прочих культурных явлений, где бабушка фигурирует как положительный элемент. Впрочем, явления, где она отрицательная, — вроде «Похороните меня за плинтусом» — у меня не пошли тем более: и без того было тошно.

И вместе с этим я, когда встала на ноги, приобрела сверхспособность. Какую? Когда денег не было, я предпочитала лучше сдать фотик в ломбард, нежели взять у кого-то в долг. Когда у меня сильно заболел живот и меня увезли в больницу, я денег у Вовки не взяла.

— Ты совсем уже, что ли? — спросил он. — Я же тебе близкий человек! Ближе, чем друг, даже.

— Вот именно, — ответила я. — У просто друга я бы взяла. А у тебя не возьму. Спрячь. Иначе мы разведемся.

В больнице меня пощупали, посканировали и сказали, что все в порядке. Просто надо поменьше нервничать.

Мы завели себе кошку. У Вовки была легкая аллергия, поэтому мы завели гипоаллергенную кошку — экзота. У таких кошек есть шерсть; это миф, будто аллергия возникает на шерсть. Многие лысые кошки аллергенны. А у нашей мягкая пружинистая шерстка и лицо как у мастера Йоды. «Меня на руки брать не будешь ты!» — будто говорила она каждый раз, когда я порывалась ее потискать.

Позже, увидев, что ничего страшного не происходит, мы взяли еще двух котят, но уже из приюта. Мыть пол, вычесывать пушистых обормотов, регулярно проветривать — и вуаля. Так мы решили.

Корм покупала я. Вовка платил коммуналку.

— Нас хотят реструктурировать, — сказала я однажды, придя из лабы домой.

— Это хорошо? — спросил Вовка.

Он часто так спрашивает, причем когда ответ очевиден. «Мою статью отметил профессор Лозинский!» — «Это хорошо?»

— Если я останусь без работы, — сказала я, — курьерить пойду. Вспомню молодость.

— Если ты останешься без работы, — сказал Вовка, — буду приходить я с ЗП.

Я промолчала.

Через неделю у кошек закончился корм. Я завела в своем банке кредитку и потом долго не могла ее закрыть, потому что мне предлагали то

льготные условия, то еще какую-то хрень, лишь бы не закрывала. Я наорала на операторшу, потом наорала на Вовку.

— Мне проще самому покупать корм, — сказал он, вздохнув, — чем все это слушать.

— А мне, — ответила я, — не проще.

Сейчас

Мы с Катей ржем, что встречаемся только в двух обстоятельствах: либо в другом городе, либо на спектакле «Дядя Ваня».

С городами понятно: конференции, — а на «Дядю Ваню» она меня как-то позвала в ГИТИС, где ребята прогоняли дипломные спектакли. Зрители сидели друг у друга на головах, смеялись над Телегиным, и вообще было весело.

После этого я притащила ее в подпольную студию, где актеры разных театров устраивали коллаборации, — и тоже на «Дядю Ваню». Там мы так же сидели на головах и слегка ворчали.

Сейчас мы решили закрыть все эти событийные «форточки» и пойти в какой-нибудь большой, старый и чопорный театр — впечатление исправлять.

«Дядя Ваня» шел в Театре сатиры.

— Давай ты в этот раз без меня, — сказала Катя. — Вовку бери. Я с мужем на выходные уеду.

— Пф! — ответила я. — Я уже однажды в Нижнем Новгороде повела его в музей Добролюбова. Такого выражения героического стоицизма на лице я не видала ни у кого. Одна схожу, ничего страшного. И, пожалуй, в этот раз на «Чайку». «Дядю Ваню» приберегу для нас с тобой.

Мы с ней действительно сдружились. И на них с мужем мне приятно смотреть.

Тогда

Кондрат — лучший Вовкин друг.

Он тоже вырос в Кривом Роге, тоже знает Катю и после Кривого Рога уехал в Киев учиться.

Однажды Вовка сказал, что я его лучший друг.

— Это ты так сказал, — уточнила я позже, — потому что мы поругались и надо было заглазить? Или правда?

— Это правда, — ответил он. — Один из двух лучших. Со вторым с третьего класса знаком. А подруга ты лучшая — однозначно.

Поэтому немудрено, что скоро мы отправились в Киев.

Кондрат оказался черняв, приземист и с интеллигентно-растерянной улыбкой.

В Киеве мы жили много где: и в кухне на полу, и в трехместной палатке на фестивале, и в парочке общежитий, конечно, отметились. В своей общаге Кондрат велел нам ложиться в его кровать.

— А ты? — спросила я.

Но Кондрат только махнул черным психобильным ирокезом.

— А это, — ответил он, — не ваши трудности.

Утром я процарапала глаза и увидела человека без головы.

Прямо перед кроватью, сидя спиной к нам и впечатав лоб в столешницу, громко храпел Кондрат. Собственно, только по храпу и можно было догадаться, что голова у него все же есть, просто не видна за могучими плечами.

...Через год Кондрат окончил университет иностранных языков и уехал работать в Китай. А еще через три года женился на китаянке. Ее звали Джерри — она очень любила мультик про мышонка и кота. Когда я спросила у Кондрата ее паспортное имя, он секунд пять вспоминал его: кликухой Джерри пользовался даже ее научный руководитель. Для китайцев это в порядке вещей.

Познакомились мы, когда они оба были в Москве проездом: Кондрат хотел показать ей Крым. Джерри много фотографировала, таранилась на снег и смеялась над байками Кондрата о киевских фестивалях.

— Кондрат отличный, — сказала я ей, когда мы достаточно разговорились и выпили, а мужики куда-то ушли. — Не проморгай его.

* * *

Иногда, правда, меня кое-что бесило. Не Кондрат, нет. Для этого он был слишком интеллигентен и слишком мило обнимал меня на прощание, приговаривая: «Вот мы с тобой по-братски, по-сестрински...» Будто не допускал каких-то там мыслей даже на каплю, на четвертиночку. Ну и вообще — раз они с Вовкой почти братья, значит, все верно: я типа сестра. Сейчас никто не говорит «невестка», сейчас все говорят «типа сестра».

Так вот, бесило меня, что Вовка прислушивался к другим там, где не слушал меня. Например, пиво он исправно называл «Левенбрау». И только вычитав в какой-то книжке, что вообще-то оно «Левенброй», он переобулся.

— А ничего, что я тебе твердила об этом двадцать раз? — спросила я.

— Вообще-то, эту книжку пивовар написал.

— Вообще-то, я немецкий в универе учила.

Однажды он укатил в Киев — встретиться там с Кондратом у его, Кондрата, дяди. Меня в лабе не отпустили, да я и понимала, что это встреча двух лучших друзей впервые за триста лет. В общем, неделю я жила одна.

Вовка всегда просил варить ему борщ с томатной пастой, а свеклу просил не класть. Уборка была на нем, а на мне — борщ, который я сама не ела, потому что терпеть его не могу, тем более такой. С Вовкой я, кажется, утратила свои неплохие кулинарные навыки, потому что он не признавал никаких изысков. Как в анекдоте, когда жена наготовила всего, а муж попросил: «Пожарь колбаски, а?..»

— Ну так и радуйся, — говорила Катя. — Мой без конца канючит: хочу хренопэ из корня дикой фигвины. То хочу, это... А тут вообще никаких проблем! Еще и посуду моет.

— Так нечему радоваться, — отвечала я. — Минус один смысл.

Катя всегда ломала стереотипы, причем пошагово. Сначала она ломала общий стереотип про ученых дев: что, мол, таких не бывает. А как только вы, вздохнув, решали, что ладно, такие бывают, но тогда они, видимо, раздолбайки в быту, — она с треском разбивала о колено и это. Некоторые бордуньи за женские права возмущались тем, что Катя делала то, что делать, по их мнению, была не обязана: например, возилась у плиты. Катя плевала на их мнение и продолжала готовить хренопэ, фигасэ — и заниматься наукой.

Так вот, Вовка считал, что свекла в борще — извращение. Он так и говорил.

Ему мама в детстве клала кубик в бульон, потому что денег на другое не было. С тех пор он ничего другого и не признавал. Хотя деньги были.

«Ну что, — написала я, — небось возвращаться ко мне не хочется?»

«Хочется тебя сюда, — дипломатично ответил он. — А так — конечно, не хочется».

«Мы вчера ходили в баню, — продолжал он, — а сегодня забили».

«Почему?»

«Девочки не смогли», — ответил он и прислал троллфейс.

«Да они, поди, смогли, просто пошли с другими ребятами», — ответила я. Два троллфейса.

«Ладно. Я пошутил. Смогли девочки, как раз сегодня ходили». — И он прислал три троллфейса.

«Твое счастье, — написала я, — что у меня есть чувство юмора».

«Мое счастье, что у меня есть ты».

Я встречала его на вокзале. Он был помятый и слегка не отсюда, как обычно после встреч с Кондратом.

— Что, небось борщи варили? — спросила я.

— Варили, — гордо ответил он. — Под Кондратовым руководством.

— Небось со свеклой?

— Со свеклой! — сообщил он с открытой душой. — И еще помидоры мяли!

Мятые помидоры меня добили.

Я развернулась и побежала куда-то в сторону, противоположную метро.

Почему меня это добило, а главное, как ему удалось меня вернуть в нужную сторону — я не помню. Хотя помирились мы быстро.

Сейчас

Вторник. Сейчас глубокая, черная зимняя ночь. Я дома.

Пишу ему.



«Можете в пятницу приехать? Чтобы быть дома, когда я из театра вернусь. Темно, стремно».

«В пятницу у меня дежурство. Возьмите такси, в магаз сходите».

«При чем тут магаз?» — думаю. И пишу: «Дело не в дороге домой. Там как раз сел в автобус — и в путь. Дело в бухарях на этаже».

«А вопрос с бухарями решается через полицию. Иначе это костыль».

«Ясно, — говорю. — Понятно все с вами».

«Тогда вообще можно развестись, ведь так?»

«Чего ты передергиваешь? Я не хочу разводиться. Но ты себя сейчас ведешь не очень хорошо».

Я перешла на «ты», потому что стало невыносимо.

«Ну конечно, я мудака. И вообще все это не очень нормально, да? Что живем отдельно».

В общем, ругались мы полчаса. А потом я посмотрела в телефон.

Написав про такси, он прислал мне денег. На такси, на магаз и еще на что-то.

И как в каком-нибудь детективном сериале, где в конце выясняется нечто и вся история обретает иное звучание, так и тут я перемотала весь разговор и все увидела.

И почему он разозлился на мое «все с вами ясно». И прочее, и пятое, и десятое.

«Блин, — пишу я. — Я не увидела в телефоне про деньги. Я думала, вы мне просто пишете, мол, зови ментов и решай свои проблемы».

«Потом, — отвечает он. — Поздняя. Я завтра приеду и буду вплоть до возвращения из театра. Потом решим, что делать».

Он не написал «до твоего» или «до вашего», просто «до возвращения». Видимо, сам не решил как.

Я иду в душ.

«Смотрите, Леннон на стекле», — пишу ему. Отправляю фотку.

«Какой Леннон?»

«Обыкновенный. Джон. Вот пробор, вот очки, вот нос. Ну вылитый же».

Мне иногда видятся такие штуки на запотевшем стекле кабинки. В прошлый раз меня посетил Сагадеев с косым пробором, теперь — вот...

«Охо-хо», — пишет Вовка.

Я ложусь спать и обнимаю подушку-кошку — кто-то из моих коллег подогнал. Такая плюшевая сарделька с лапками, ушами и хвостом. Когда коты ее увидели, то первым делом понюхали у нее под хвостом, чем очень нас удивили. Ладно бы реалистичная фигура была, но сарделька... Все-таки умнее они, чем прикидываются, гораздо умнее.

Меня трясло полночи и на следующее утро. Я открывала дверцы кухонного шкафа и смотрела на кружку с Кими Райкконеном* — дарила

* Кими-Маттиас Райкконен — финский автогонщик, чемпион мира «Формулы-1» в 2007 году, двукратный вице-чемпион и трехкратный бронзовый призер, лидер по количеству проведенных Гран-при «Формулы-1».

ему когда-то. Думала ему отвезти, но потом решила — пусть останется. Хотя и редко он из нее теперь пьет, зато хоть я ее вижу.

Вечером он приехал. Мы спали рядом.

Дежурить он может со своего компа из той квартиры, особенно сейчас, во время изоляции. Но это все равно время. Еще доехать.

Из театра я возвращаюсь даже не на автобусе, а на метро: холодно. А такси и вообще легковушки я недолюбиваю.

Он ждет меня у выхода из метро. Провожает домой, забирает из дома рюкзак и уезжает к себе.

Мы ничего не решили. Все осталось как есть.

* * *

— Шапку надевайте, — говорит он мне.

Я иду домой.

На стыке проспекта Жукова и Живописной я выхожу из автобуса: хочется погулять. Сейчас та погода — серая, промозглая и морозящая, — когда для гармонии подошли бы промзоны и железные дороги. Но мне охота пошлепать по лужам и поулыбаться прохожим, как в детстве.

На площадке ребята лет семи играют в Великую Отечественную войну.

— Я уже четыре танка подбил!

— Нет, во времена Великой Отечественной такого не было! Я читал!

— Десять дней надо выживать!

— Я мину там взорву!

— Про Севастополь посмотри, там тоже про это!

Я снимаю как бы дерево и отправляю фото ребят одной подруге. Она серьезно занимается этой темой — настолько серьезно, что сказать бы «упарывается», да язык не поворачивается.

«Вот это прям хорошо! — отвечает Аня. — Вот это ты прям порадовала».

Иду и думаю: жалко ловить такой кайф от прогулки в одиночку. А со взрослым становится тяжело. Взрослый нальет фигни в уши, и вымывай потом как хошь: пивом, вином, работой. Остаются дети. По сути, для этого детей и заводят, и даже те, кто никогда их не хотел, рано или поздно чувствуют себя как сбежавшие с уроков школьники: свобода, кайф, но все друзья на занятиях и почему-то так скучно... И появляются дети. А с ними — иллюзия, что они разделят с тобой твои радости. Или радости передадутся по наследству: вот мама, в один из счастливых дней, покупает мне «чудо-йогурт» с полочки; вот ведет в библиотеку на другом конце района вдоль длинного, чуть изогнутого дома, где в изгибе полно зелени и можно спрятаться; вот мы идем из кружка по танцам зимней ночью, а у мамы пальто в черно-белые гусиные лапки... Тебе надоедает самой гулять по старым местам и пить «чудо-йогурт», и ты хочешь передать эстафету. И тут выясняется, что твой сын не любит «чудо-йогурт»,



еще меньше любит гулять по зеленому дворику, а пальто в гусиную лапку давно вышли из моды. На променад он отправится тебе в угоду и в лучшем случае будет потом ностальгировать, как гулял с мамой, — точно так же ностальгируют и по любимым в детстве игрушкам, и по ненавистным урокам физры, и по надписям в старом подъезде. И все это — если у тебя хватит мозгов сохранить с ним добрые отношения и просто если повезет. Такая дележка радостей мне ни к чему. Я лучше честно пройду свою прогулку в одно лицо, а с людьми поделюсь статьями по инженерии.

Здесь, конечно, какой-нибудь светлый человек возразит, что детей рожают, чтобы любить. Но любить можно вообще кого угодно. Дети тут ни при чем.

Вдруг пишет Вовка:

«Зато никто у вас над ухом не храпит и на звонки не вскакивает, когда очко».

«Да хоть бы и вскакивали», — пишу в ответ.

«Ой, да конечно!»

...Наверно, чтобы все это работало, нужно просто, в своем постоянном желании дать что-то другим, захотеть дать кому-то самое ценное, что здесь есть, — жизнь. Захотеть искренне и бескорыстно. И даже не в виде донкихотства, потому что донкихотство все-таки состояние поверхностное. Захотеть нужно так, чтоб было не докопаться до глубин.

Сегодня я приносила Вовке гороховый суп вместо борща.

Котята в гараже пережили зиму.

Тогда

После Киева мне пришла в голову странная мысль.

Жена Кондрата должна забеременеть.

Если забеременеет она, значит, в скором времени это случится и со мной. Ведь он во всем опирается на Кондрата.

Смешная мысль, конечно. Как анекдот. Когда-то Вовка мне говорил, что детей хочет как можно позже. Потому что хочет дозреть, а созревает он до всего медленно. В детстве, рассказывал он, ему требовалось хоть полчаса в день, чтобы просто лежать на кровати и тыкать в стену мячиком от пинг-понга. И думать.

— Так и радуйся, — в очередной раз сказала мне Катя. У нее к тому времени уже подрастал второй сын. — Если бы не мой выкидыш, я бы думала, что без детей очень круто и свободно. Не знала бы цену потерь.

— Ты не понимаешь, — ответила я. — Ты говоришь, мне не понять, каково это — дети. Но и тебе уже не понять, каково это — быть в двадцать семь без детей. Мне, может, и самой их не хочется. Я вообще человек-одиночка. Но организм не обманешь. Если, например, парень хочет семью — ну мало ли, так воспитан, — то он хочет ее прежде всего у себя в голове. Они не запрограммированы, чтобы в них что-то росло, жило — кроме бактерий. А когда в тебе это заложено, но почему-то не

происходит — тут и любой одиночка взвоят. Потому что нашей жизнью управляют железо, магний и прочая лабуда.

В феврале к нам приехал Кондрат. В этот раз один.

— А как же Джерри? — спросил Вовка.

— Лана... не может, — ответил Кондрат и зарделся, как он умеет, интеллигентно.

Пока Вовка был на работе, я встретила Кондрата. Приготовила ему овощной суп, потому что он был на диете. Предложила комп с интернетом — почту проверить.

— Не, — ответил Кондрат. — Давай общаться.

Мы говорили о многом: о Лермонтове и «Герое нашего времени», о Китае, о педагогическом труде, о психобилли. И о бабушках. У его жены случай, противоположный моему.

— За то, кем сейчас является моя женщина, — сказал Кондрат, — спасибо ее бабуле.

Еще мы поговорили о наших супругах. Мне вообще иногда нужно с кем-то поговорить, потому что с Вовкой вместо разговора получается какой-то шифр или язык, понятный только нам. Казалось бы — хорошо, что так породнились. Но человеку, видимо, все-таки мало вместе молчать, иногда нужно сотрясти воздух. А начнешь говорить нарочно — опять не то: фальшиво получится. То же с прогулками: нет смысла гулять вместе, когда и так друг у друга под носом. Я вытаскивала Вовку наружу — со всем не то. И я вытаскивать перестала.

Я нарушала этику как могла: свою женину и Кондратову дружескую.

— Вот так и моя жена, — сказал Кондрат. — Вот ты устала, говоришь, подстраиваться. Со мной то же самое. Как Лана захочет, так и будет. Что я могу?

— Она больше не Джерри? — спросила я.

— Да ну, что за детсад! И потом, она моя жена. Хочется ее как-то по имени звать все же.

Имя «Лан» он произносит по-русски: «Лана».

— Да, Кондр, — сказала я. — Подкаблучники мы с тобой.

Он отправился в туалет, я открыла почту. Статья сама себя не напишет.

Сквозь шум воды и скрежет шпингалета я услышала:

— Да, из новостей... на седьмом месяце...

— Кто на седьмом месяце? — спросила я. — Ни фига не слышу.

— Моя жена! — ответил он.

— На седьмом месяце?!

— Моя жена на седьмом месяце, — четко повторил он всю фразу, чтобы уж точно не было разночтений.

— И это ты сообщаем мне спустя три часа болтовни? — спросила я. — Выходя из толчка?

Он смущенно улыбнулся, как он умеет.

— Да что тут говорить? Даже Вовка узнал только сегодня утром.

— Знаешь, — сказала я, — щас хохму тебе расскажу. Я понимаю, что вы друзья, но это, пожалуйста, между нами.

И рассказала о том, как я загадала, что, если жена Кондрата окажется беременна... и дальше по тексту.

* * *

В апреле я спросила Вовку:

— Что, родил там Кондрат уже или еще нет?

— Раз он не пишет, — ответил Вовка, — значит, еще не родил.

— Пора бы уже. В феврале был седьмой месяц.

Через неделю я задала тот же вопрос.

— Да он засранец, — ответил Вовка. — Я сегодня ему пишу: «Ну как?» А он — вместо тысячи слов... Смотрите.

На фотке смущенный Кондрат держал голубой сверток.

* * *

Между тем Вовка вдруг стал чихать.

Он иногда чихал по три раза. Иногда по десять.

— Будьте здоровы, — говорила я ему. — Будьте здоровы. Будьте здоровы. Здоровы будьте.

Наша манера разговора только что пополнилась новой фишкой: общаться на «вы».

— Да необязательно мне это каждый раз говорить, — ответил он. — Достаточно один раз сказать. Или вообще поквакать.

— А Тоха так мило спал у вашей физиономии, — сказала я однажды.

— Ага, — ответил он. — А я так мило проснулся в шесть утра. И так мило не смог заснуть до восьми.

У его товарища по работе в квартире был ремонт. Пару дней в неделю, по выходным, Вовка зависал там: ломал, штукатурил, потом среди всего этого великолепия они играли в стратегии и ели пиццу.

— Прикиньте, — сказал он, вернувшись однажды после выходных. — Я на выхах ни разу не чихнул. Ни разу! Фантастика.

— Действительно, — ответила я и выперла его на три дня на квартиру к товарищу, потому что у меня на время симпозиума поселилась девочка из Волгограда. Ей на гостиницу денег не выдали.

— На мороз выгнали! — проворчал он, вернувшись. Стоял май месяц.

Однажды в рамках какой-то рабочей диспансеризации Вовка сходил к аллергологу. Вернулся и рассказал:

— Я говорю: хрипеть начинаю. Чихаю. Где нет котов, там все нормуль. Он говорит: ну и о'кей, у вас же нет никого. Я говорю: как это никого? У меня три кота! Ну, два кота и кошка. Говорю же: нормуль,

когда не дома. А тут с Тосей полюбываюсь — чихаю, как из автоматной очереди. У него челюсть на стол упала. «Ка-а-ак?! Да вы же себя медленно убиваете!» Решайте вопрос с котами, говорит.

— Как это — решать вопрос с котами? — переспросила я. — Что он имеет в виду? Отдать их, что ли?

— Котенок никуда не отдадим, — заверил он и чихнул.

Мастер Йода подошла к нему. «Пусть не печалит это тебя», — сказала.

В квартире коллеги он стал жить половину недели. Как раз на середине недели, живя со мной, он начинал хрипеть. Потом начал хрипеть на третий день. Потом — на второй.

Кажется, решение было найдено.

* * *

Я и раньше считала, что жизнь моя похожа на анекдот. А тут все слово в слово.

Объявление: «Завела кота, но у мужа аллергия. Отдаю в добрые руки. Он хорошо воспитан, ходит в туалет, ласковый. Сорок четыре года, зовут Коля».

Но Вовку, тридцати лет, я отдавать не хотела. Мы не разошлись. Просто стали жить отдельно.

Нет, объясняла я каждый раз, мы не развелись, он меня не бросал, у него нет никого другого, и он меня не шантажирует. Мы просто живем в разных местах.

— Есть же мужики без аллергии. Не хочешь поискать? — спрашивали меня.

— Не хочу. Они не будут любить котов так, как он, — отвечала я.

— У вас разные жизни, — говорили мне в другой раз.

— А у кого-то разные жизни, хотя вроде живут бок о бок, — отвечала я.

— А ты не думаешь, что у него там баба? — говорили мне в третий раз.

— Ничего я не думаю. Я бы знала.

— А вот Зоя тоже говорила, что знала бы. Почувствовала бы. Однако у ее мужика баба завелась.

— А Зоя когда-нибудь видела, чтобы ее муж раньше кем-нибудь увлекался? — спрашивала я в ответ. — Нет? А я видела. И сама увлекалась. У человека в это время глаза другие. И кожа другая у него.

— Значит, он с этой бабой уже породнился, — возражали мне. — Привык, вот и глаза на месте.

— Да пошли вы, — отвечала я и сворачивала дискуссию.

Даже с Катей мне тяжело было об этом говорить.

— А и правда, — сказала она, — отдали бы вы котов, а? Они ж пофигисты. Чай, не помрут.

— Не надо так говорить про котов, — ответила я. — Что ты сына своего в интернат не отдашь? Не умер бы. Вот у меня то же самое.

Она не обиделась. Но, кажется, что-то обдумывала.

— И раз уж о детях, — продолжала я. — Вероятность тридцать процентов, что аллергик родится. Вовка еще может свалить в другую квартиру. А с этим как? Будут они вместе на съемной хате. А я буду с котами. «Мать года».

Катя сидела и улыбалась. Я давно знала, что улыбка эта ее не обидная. Не злорадство, не равнодушие, а вроде «все проходит, пройдет и это». Такая обычно бывает у старых спокойных женщин с тяжелыми пучками седых волос. Катя молодая, борзая, и волосы у нее тоненькие, но эта улыбка ей шла почему-то не меньше.

— У меня за малыши Сеня смотрит, — наконец сказала она. — И родня его. Я тоже «мать года» в нашем культурном коде. Биомусор. Ты думаешь, меня это волнует? Чтобы перестать чувствовать себя биомусором, нужно перестать запрашивать оценку себя у биомусора.

— И то верно, — ответила я.

Она стала чуть серьезнее.

— А вообще, Соф, если вам это норм, то и не слушала бы ты никого. Меня в том числе. Это ваша жизнь и ничья больше. А детей можно и потом...

Я вскинула руку:

— Когда котов не станет, ты хочешь сказать? Я не то что ждать этого, я мыслить в таком ключе не собираюсь! И вообще — знаешь что? Когда их не станет, я возьму новых трех.

* * *

Мы шли с тетей Асей по склону. На плече у меня была котоноска. В котоноске кто-то выл и молотил лапами в сетку.

— Главное, чтобы она с вашей Мусей ужилась, — сказала я.

— Муся на даче, — ответила тетя Ася. — А вот папа и Гриша тут. Они-то и будут привыкать.

Тетя Ася — подруга моей мамы. Только что мы выбрали у соседского дома кошку, которую жильцы оставили на улице при переезде. Я сразу поняла, что она бывшая домашняя: дворовые чураются людей, а эта плакала и звала на помощь. Но подходить все же боялась.

Час мы приманивали ее, потом пришла бабулька Раиса Петровна и простым движением схватила ее за шкирку и засунула в котоноску. И советов надавала, грозно глядя широко расставленными глазами:

— Сначала от блох обработаете, потом через неделю — от глистов. А вы, оболтусы, марш домой!

— Чего сразу оболтусы?! — возмутились школьники, которые остановились нас поддержать.

— Это хорошие ребята, — заступились мы за них.

Я перекинула ремень котоноски через плечо, и мы отправились в путь.

Гриша — второй тети-Асин сын, меня чуть младше. Я не знаю больше ни одного человека, который, подобрав кошку, переживал бы, а что младший сын скажет.

Я рассказывала тете Асе всю повестку.

— Такие дела, — сказала я. — Про детей теперь можно забыть.

— Почему?!

— Потому что тридцать процентов вероятности, что будет аллергик.

Тетя Ася покачала головой. У нее странный голос, будто она не говорит, а поет. И такие же нотки у сыновей, хоть они и ребята.

— Ты, главное, проблему раньше времени не выдумывай, — сказала она. — Я вообще Гришу в девяностые рожала. Кесарево. Тогда очередь в консультации была на аборт. Я пришла, и мне тоже говорят: «На аборт?» Свекровь, узнав, что второго рожать собираюсь, охренела. Дура, говорит, дура ты беспросветная! Даже муж сказал: «Ась, ну ты же знаешь, что выход есть...» Ты, Сонь, только Грише этого не рассказывай.

Я знаю тети-Асиного мужа, их первого сына и вообще всю семью. Папа у них замечательный. И то, что он, такой замечательный, сказал ей про «выход», страшно уже само по себе.

Я помню тетю Асю с тех пор, как ей было столько лет, сколько мне сейчас. Мы с ее сыновьями играли в песочницах и на ковре. Потом все выросли, я стала общаться с Гришей, и тетя Ася стала для меня уже не мамина подруга, а мама друга. А однажды осенним днем и она добавилась ко мне во «ВКонтакте» под псевдонимом Ася Кирина. Я спросила у мамы: почему Кирина, девичья фамилия это, что ли?

— Нет, — ответила мама. — Кира — это ее бывшая свекровь, мать первого мужа. Муж был негодный, а свекровь хорошая.

Сейчас у нее, по-видимому, наоборот. Сыновья — от второго мужа, это даже не приходится уточнять, достаточно посмотреть на их глаза и брови.

Тетя Ася писала мне в личку разные сообщения, достойные печати в каком-нибудь хозяйственном журнале. Например: «С наступлением лета хочется держать окна открытыми. Но возникает проблема — шум на улице. Мы закупились берушами. А как ты, Соня, преодолеваешь эту трудность?»

С годами тетя Ася поседела и стала будто слабее. И очки надела с толстыми стеклами. И все-таки хорошо! Так хорошо, когда тебе под тридцатник: мамина подруга уже не мамина подруга и даже не мама друга, а подруга почти твоя. И какая у вас разница в возрасте, неважно.

Я помогла затащить кошку к ним на этаж и отправилась восвояси. В ларьке, где обычно беру кофе, взяла двойную порцию. День выдался суматошный.

«Как ваша киса?» — написала я тете Асе неделю спустя. Мне было любопытно, как называли кошку, прижилась ли она у них.

«Дуня мурчит, хулиганит с лотком и старается быть ближе к Грише и к людям вообще», — ответила тетя Ася. И прислала пару видосов.

И я успокоилась.

Спустя пару месяцев у Макса, младшего моего кота, помутнел зрачок в левом глазу. Я вызвала ветеринара. Приехал специальный фургон, чтобы и не таскать кота за километр, и в квартире не корячиться. Водитель весело помахал мне, ветеринар открыла двери.

— Глаукома, — сказала она, осмотрев кота. — На фоне лишнего веса. Надо диету. Зрение уже не вернется, можно только приостановить развитие болезни.

У Макса взяли кровь, побрив лапу и надев что-то вроде смиренной рубашки. Он орал и извивался. Я держала его сзади и глядела на пухлую щеку — ее со спины видно. И почему-то на эту щеку смотреть было особенно невыносимо.

— Мне что-то нехорошо, — сказала я, вытирая холодный пот. — Но, вообще-то, я вчера прививалась, это из-за прививки. Хотя, конечно, переживаю... Но это из-за прививки.

Ветеринар открыла дверь фургона — проветрить.

— Капли, — сказала она, — капайте. Лучше вдвоем: кто-то держит, а кто-то капает. А то он у вас бульдозер.

— Не получится, — ответила я. — У мужа аллергия.

— Как же вы живете?

— Никак. Он съехал. В гости друг к другу ходим.

— Ну, — сказала она, — вообще-то, это проблема куда серьезнее, чем болезни котов.

— Отнюдь, — возразила я. — Люди договориться могут, если не дураки. А вот здоровье уже не вернется.

Она заложила ручку за ухо. У нее были волосы, крашенные пергидролем, и общий гламурный вид. Почему-то таким ветеринарам я в последнее время доверяю больше, чем остальным.

— Вот потому коты и болеют, — сказала она. — Они боль хозяев на себя берут.

Раньше я удивилась бы подобной сентиментальности от ветеринара. А сейчас понимаю, что такое может сказать либо человек от темы совсем далекий, либо тот, кто знает слишком много. И, стало быть, знает, что столько еще неизведанного, а значит, есть место и таким теориям.

«Макс лапу лижет, — написала я Вовке, — там, где кровь брали. Обиженный еще такой. Сердце у меня разрывается».

«Котенка моет лапку, — ответил он. — Прекрасно же».

Сейчас. Вотпрямщас

— Вы чего банки повыкидывали? — спрашиваю.

— Вас не дождался.

— И хорошо. У меня теперь — вот.

Я достаю банки. Не из-под огурцов или еще там чего. Не бутылки с ведерками. Я достаю стеклянные контейнеры из хозмагаза. С колхозными

ягодками, солнышками и цветными крышками — все как мы любим. Четыре штуки.

— Теперь два будут у меня, а два — у вас. Одну пару забираю, другую оставляю. Как в школе с тетрадками для классной работы и домашки.

— Хитро, — говорит.

Быт тоже наладить по-разному можно.

Беру который с ягодками, выливаю борщ в кастрюлю. Вовка идет с пустым контейнером в ванную: на кухне раковину еще не поставили. Моет особенно тщательно.

Фартук мой теперь живет тут. Все равно у себя готовлю в домашней одежде, ее заляпать не жаль.

В колонках играет знакомый плейлист. С Алисой мы давно поладили, но своих песен я уже не ставлю. Это как футболку его надеть — обволакивает.

Я отсылаю ему фотки с котами. С нашими котами. Фотки — гипоаллергенный вариант.

Он садится рядом на подлокотник.

— Как они там, интересно? — говорю. — Я башку сломала, как их кормить, когда дома нет никого. Две миски не оставишь, а без мисок они не привыкли. Гречку положила, но, видимо, они решили, что я издеваюсь.

— Да они, поди, дрыхнут сладко, и им все нипочем, — говорит. — Давайте собираться.

Он дает мне деньги на магазин, на два разных корма и всякое там еще. Я просила косарь, он дает три.

— У вас в школе двойка была по математике? — спрашиваю. — Товарищ старший инженер.

— У себя во дворе умничать будете, — отвечает.

— Свои шмотки сегодня тоже стирать закину, — говорю. — Вместе с вашими.

— Чтобы они непотребство устроили в стиралке?

— Вроде того.

Мы идем собираться. И я что-то начинаю плакать. Не от безнадёги. А просто.

— Ты чего? — спрашивает.

Мотаю головой.

— Так, — отвечаю.

Гуляем, как обычно. Обнимаемся.

Иду домой.

* * *

Сейчас самое лето, жара и небо пыльное — вроде бы облака, но солнце эти облака пробивает, будто насмехается. Последние лет семь я всем говорила, что лето не люблю, а сейчас решила в нем раствориться. Гулять по озеру, делать окрошку, носить много ярких нарядов. Покупать

дурацкую газировку, как это делала в детстве мама в те редкие дни, когда была она у меня. Не можешь предотвратить пьянку — возглавь ее, говорят. С летом вот то же самое.

Из тех, с кем я общаюсь, уже мало кто знает о настоящем моем положении вещей. Знает Катя, знает еще пара человек. Остальных я «ликвидировала».

На остаточное вялое «а вдруг у него баба?» я делаю страшные глаза и отвечаю «да». У него баба. Зовут Алиса. Музыка крутит с утра до вечера.

Катя с ее пофигизмом — как раз то, что мне нужно. Даже если пофигизм у нее наносной. Я не знаю, наносной или нет: я не была в ее коже и, возможно, это я приписываю какие-то свойства человеку, у которого этих свойств нет. Тогда я мало чем отличаюсь от тех, кто бомбит меня своими соображениями, какая же мы семья.

Мне надоело отбиваться от тупых замечаний, изумления, доброжелательных советов и бог знает от чего еще. Мне хорошо. Это моя жизнь, и жить в ней только мне. А остальные, у кого нет любимой науки, кто считает, что «если ни хрена не добились, говорите всем, что выбрали семью», у кого в голове так мало мыслей, что им все время нужен поблизости кто-то, чтобы заглушить пустоту, — могут жить свои жизни. Я разрешаю.

Когда в голове тишина, понимаешь кое-что о себе.

Давным-давно в моем окружении разделяли два понятия: одиночество и уединение. Мол, одно со знаком минус, другое со знаком плюс. Потом это все как-то позабылось, и я стала говорить, что люблю одиночество. Но это не так. Мне нужно, чтобы кто-то был рядом и чтобы он тоже любил уединяться. Пусть он со мной не под одной крышей. Наверное, лучше даже, чтобы не под одной. Но — рядом. Мне иначе не жить.

Я приезжаю к нему, как на свиданку, успев соскучиться, накраситься и оставить весь шум позади. Мы снова стали ходить на прогулки, и прогулки обрели смысл. Я наконец-то научилась стрелять у него деньги. До этого я делала вид, что деньги не имеют для меня значения, хотя это как в шутке про мужика, не хотевшего жениться: мол, штамп совершенно не важен. Был бы не важен — ты бы его поставил. А так он для тебя важен и страшен, и ты себя выдаешь.

Из-за придуманной гордости я боялась брать деньги, зато не боялась обидеть близких людей. Сейчас наоборот. Мы муж и жена. Вовка платит коммуналку в моей квартире, дает мне деньги и приезжает пропылесосить и дать котам потыкаться в бороду. Он мне больше муж, чем когда мы жили вдвоем. Есть выражение «обнять и плакать» — в том смысле, что все очень плохо. А мне действительно все время хочется его обнять и расплакаться — и мне хорошо. Наверное, было бы хуже, если бы всего этого не случилось. По крайней мере, было бы непонятно. Сейчас все понятно.

Я иду домой.

Светлана МИХЕЕВА

ПУСТОЕ МЕСТО САДА

* * *

Вышла из озера каменная гора
в островерхой шапочке серебра,
в колыхании вод, закрывающих
пустоты.
Вслед гудит над озером небосвод,
то ли спрашивает, то ли на понт берет:
кто ты?

Тучи работают как решето,
равномерно просеивают частицы.
Кто ты — древний дух в снеговом пальто,
ледяная птица?

Как случилось, что мир превратился в миф?
Белое белое просит у всех ночлега.
Ни задержать его, ни рассмотреть
я не могу в этом
объятии снега.

Спешка важна, когда
минуешь заезженные места,
закмуриваешься от скуки, досчитываешь до ста.
В прочее время дрейфуешь между
тьмой и светом, останавливаешься
у пропасти (у моста),
потому что эта вода до сих пор чиста,
можно начать с неведомого листа,
приманить надежду.

Но в прощальном выдохе пустоты,
созидающей гору и берег
глухой и тучный,
есть такие обманчивые черты,
есть отнюдь не мирное сладкозвучье:
вроде голос знакомый, но лучше
беги, скачи,
не останавливайся,
не оборачивайся,
молчи.

За тобой она
через прозрачное наблюдает —
смотрят крошечные озера,
устраиваясь на ночлег.
Белый баран пурги валуны бодает.

Снег, как пепел, на смертное оседает.
Даже пуговицы ее дыхания,
когда расстегнуты,
впускают снег.

Роща «Звездочка»

Пустое место сада говорит:
пока огонь невидимо горит,
сжигая тело плотное до дна,
смотри со мной в иные времена,
выныривая в зеркальце лицом,
укатываясь в прошлое с концом,
родись-умри в провинции любезной,
заверченной троллейбусным кольцом,

лежи внутри, кооперируй влагу,
расписывай подземную бумагу.

Пустое место сада говорит:
при том огонь еще животворит,
гоняет волны листьев и травы
внутри богоподобной головы,
звездой цветет впотьмах ее извилин,
и свет от этой славы многосилен,
он золотит и нищие кусты,
и купола, и тощие мосты,

входящий всюду щедро, без разбору,
лучи в окно спускает как опору.

И ловит яблоки в сияющую сеть.
И остается на небе висеть.

Плоды в садах Господних обтрясай,
но, звездочка, гори, не угасай.
Одна-одна в пучине пустоты
прядешь воспоминанья, как мечты, —
мы здесь стоим одновременно с тем,
кто был, дышал, потом исчез совсем.
Протягиваю руку по родству —
хоронит ветер палую листву.
Осыпалась — и нету ничего,
за исключением Бога одного.

И смотришь вдаль, где он кочует вдоль,
благословляя каменную соль.
Навечно прочь уходит вдалеке,
неудержимый в глиняной руке.

* * *

Раскрываясь с краю золотого,
День стыдится солнышка пустого:
Ничего не греет за душой,
Нет тепла, один лишь свет большой.
По его стеклянной пуповине
Кровь, забывшись, что-то шепчет глине,
Вызывая бдение частиц
В помещеньях сумрачных больниц.

Тени заплетаются и вьются,
Но тела навеки расстаются,
С них смывает горькая вода
Медленную патоку стыда,
Окрещая в храмах на кровях.
Забываясь в утренних ветвях,
Боль свистит и плещет, наполняя
Ход вещей предощущеньем рая:

Тянут липы черные тельца
К образу зеленого отца,



Сердце тянет красные следы
К безучастной прелести воды,
Что дрожит, рождаясь, за окном,
Притворяясь игристым вином.
Ангел теплокровный влагу пьет.
Лето все никак не настает.

Утро в деревне

На подходе — сияющий ангел,
ведущий свой облачный флот.
Следом ветер востока
во влажном тумане трубит
о великом начале работ.
Бабушка старая слышит отчетливо,
специфическим слухом — о, это ангел
ребят своих собирает, провинился ты, внучек,
устроят они вам лихо,
конец света,
вот посмотришь, как ты черти поташшут
во ад...

А во аде тихо.

Лес стоит тихо.
Река бежит тихо.
Голубь воркует тихо.
Во аде, как в доме пустом,
нету жилья — и ты не жилец,
фотокарточка, рыло, беглец.
Через поле к лесу, через сивый ручей,
через горлышко камыша
все бежит и бежит, потерявшись, душа,
темной пеной по гальке шурша.

Спи же, неслух, закрой золотые глаза,
воспаленные тысячей звезд,
там на улице мстительный ангел стоит
в полный свой восхитительный рост.

Серебристые ивы собирают войска,
чтоб походом идти на избу,
где мальчишку старушка, и вся недолга,
заточила в пуховом гробу...

Наготове предательский визг половиц.
Но под свет на волшебных лугах
засыпает огонь негасимых глазниц
и домишко на курьих ногах.
Можно выйти, бежать к бледнолицым полям,
завалиться в кукующий лес
и на велике въехать — привет кораблям! —
в оголтелое море чудес.

У воды, приоткрыв удивленные рты,
земляное сообщество зрит:
как трагедия всякой большой красоты,
тлеют трупики эфемерид;
тонет трактор в тумане; иззябнувший лес
расцветает грибами внутри.
Выдувай же, мой ангел, а может, и бес,
золотые свои пузыри.
И со всей серафической дури дуди,
от восторга, а не по злобе.
Эта славная музыка выше летит,
чем возможно представить себе.
Это как бы очищенный «се человек»,
отделенный от яви, сквозной,
загорелый, как черт, уязвимый, как снег,
утомленный, наивный, дневной.



Алексей ШУПИКОВ

БРАСЛЕТЫ ДРУЖБЫ

Р а с с к а з ы

Обещание

Когда мне было одиннадцать лет, родители продали квартиру и купили дом. Скажу сразу, что к частным домам у меня тогда сердце совсем не лежало. В отличие от нашего многоквартирного они казались маленькими и совсем ненадежными.

Что касается самого дома, то был он деревянный, выкрашенный ярко-зеленой краской и находился на самой окраине города. «Под горкой», как говорили знакомые родителей. И это правда, он действительно был под горкой, причем стоял на очень крутом повороте.

Так вот, когда его купили, прежние хозяева — старуха с дочерью — не успели загрузить и вывезти все свое добро.

— Нехань полежит пока, — стучала старуха палкой по транспортеру. — А осенью, край зимой, заберем...

Транспортер, или транспортерная лента, был ходовым материалом в наших краях: как правило, им огораживали приусадебные участки.

— Осенью, край зимой, — как заклинание, повторяла старуха, жалобно поглядывая то на отца, то на транспортер.

Отец согласно кивал головой:

— Есть не просит, пусть лежит.

На том и договорились.

Старуха уехала, крикнув в последний раз:

— Осенью, край зимой!

И мы уже через пару дней переехали в собственный дом.

Летние каникулы, как это обычно бывает, пролетели незаметно, и начались школьные будни.

Как-то раз мы с моим другом Саней подпалили траву за домом. Сухое былье полыхнуло не хуже пороха, и уже через пару минут пламя

перекинулось на деревянный забор. Закончилось все тем, что соседка Петровна вызвала пожарных. К счастью, расчет приехал быстро и пожару не позволили разгуляться.

— Вот поймать бы этих поджигателей! — ругался усатый пожарный. — Шли бы к своим домам и подпаливали на доброе здоровье!

Мы же молчали и лишь переглядывались друг с другом.

В тот вечер меня пороли ремнем, да так, что я до сих пор помню все в мельчайших подробностях. А отец после этого все чаще стал заглядываться на скрученную у сарая транспортерную ленту.

Однажды я проснулся оттого, что на кухне спорили родители.

— Муж, ну ты же ей обещал!

— Обещал, обещал... Мало ли что я обещал! Она тоже обещала — осенью!

— Она говорила, осенью или зимой.

— Так вот она — осень твоя!

— Ну значит, зимой!

— До зимы, знаешь...

— Что?!

— Да ничего! Мы все сбережения вбухали в этот дом. А я, между прочим, не Рокфеллер, у меня на новый забор денег нет!

— Петь, ты слово дал!

Отец выругался и, громко хлопнув дверью, вышел, а я в буквальном смысле выдохнул. Мне совсем не хотелось расстраивать старуху. Тем более что она и так не жаждала продавать дом, а тут еще и транспортер этот...

Так он пролежал осень, зимой его завалило снегом, а когда с крыши забарабанила капель, он снова попался на глаза отцу.

В одно воскресное утро мы сидели на кухне и пили чай.

— Оль, скоро одуванчики зацветут. Где твоя бабуся? — прихлебывая, начал отец.

— Зацветут... — краешком губ улыбнулась мама. — Вчера видела Петровну, говорит, вроде бы Тамара умерла...

Тамара — это старуха, у которой мы купили дом.

— Вот и отл... — отец осекся. — Ну, ты поняла.

Мама покачала головой и уставилась в окно:

— А может, пусть полежит еще?..

— Оль!

— Ну что, Петь?

— Нет уже твоей бабки, вот что!

— Ой, все! — махнула она рукой. — Делай что хочешь! Надоело!

Отец, как человек военный, команду понял буквально и этим же вечером взялся за дело, заодно прихватив с собой и меня.

— Учись руками работать, сынок, — приговаривал он, наяривая молотком. — В жизни все уметь надо!

На постройку нового забора у нас ушло около недели. Мама больше не переживала и вечерами выходила помогать.

И вот одним таким вечером, когда забор был практически готов, возле нашего дома остановилась машина.

— Петь, к тебе, что ли?

— Да вроде нет...

Отец оказался прав. Вернее, не то чтобы прав... Приехали не к нему, а к нам. Старуха и ее дочь. Мама так и ахнула.

Старуха, перекачываясь с одной ноги на другую, подошла к забору и ухватилась руками за транспортер.

— Ну я же вас просила!.. — запричитала она.

— Год прошел, они проснулись! — не оборачиваясь, пробурчал отец.

— Олечка, ну хоть ты ему скажи! — взмолилась старуха. — У меня инсульт...

— Петя, давай отдадим!

— Раньше надо было вошкаться!

— Петя!

— Нет, я сказал!

— Ну!.. — зашипела старуха. — Ну!..

А затем потрясла палкой и разразилась проклятиями:

— Да чтобы этот транспортер у вас на кладбище оградой был! Чтоб вам всем...

— И вам того же! — отрезал отец.

Старуха закатила глаза и, если бы не вовремя подоспевшая дочь, точно бы упала в обморок.

— Только не волнуйся, только не волнуйся! — лепетала дочка, злобно поглядывая на нас. — Так, давай-ка садись, ага... вот та-а-ак...

Она усадила старуху в машину и резко рванула с места.

— Некрасиво, ох некрасиво! — побледнела мама и быстренько ушла в дом.

Отец сначала долго сопел, а потом выругался на меня и угостил увесистым подзатыльником.

Вечером я пошел за водой, а мама решила выйти со мной — подышать свежим воздухом. Завидев маму, к нам присоединилась Петровна.

— Ох, зря вы так, — топталась на месте соседка. — Тамара, она такая, она *сделать* может. Давча видела Михалну, так та сказала: «Тамара этого просто так не оставит. Она *женщину* знает».

— Петровна, — через силу улыбнулась мама, — мы в это не верим.

— Ой, *сделает!* — не унималась Петровна. — У меня картошка *завсегда* хуже *ейной* была, а все через *женщину* ту. Огороды у нас, ты глянь, — она сложила ладошки корабликом, — рядышком стоят. Только у нее урожай, а у меня — медведка да хомяк.

Мама задумчиво глядела на Петровну и кивала головой.

— Надьсь Михална рассказывала, был у нее платок. Хороший платок, теплый. Тамара увидала и говорит: «Гдей-то ты себе такой платок купила?»

Тут Петровна замолчала.

— И?

— А то, что Михална утром взяла платок, а он изрезан весь! Не веришь? Могу принести!

— Кого?!

— Ну платок-то этот!

— Так он что, у вас?

— Ну да! Мне Михална его отдала. Сначала хотела сжечь, да я не дала.

— И что же вы с ним сделали? — спросил я.

Петровна развела руками и спокойно ответила:

— Ничего не сделала, ною в вот.

Я не сдержался и начал смеяться. Глядя на меня, мама немного ободрилась, и мы, еще немного поговорив с Петровной, пошли домой.

На другой день часть, в которой служил отец, подняли по тревоге, и он, наспех собравшись, уехал. Причем, как только я узнал о тревоге, мною сразу овладело такое неприятное предчувствие, что все уроки я просидел словно в прострации и к концу учебного дня получил аж три двойки подряд.

Наконец, отмаявшись в школе, я пришел домой. Мама молча сидела у выключенного телевизора с пультом в одной руке и телефоном в другой.

— Отец сегодня так и не позвонил, — взволнованно сказала она.

— А что за тревога вообще?

— Да вроде бы как всегда... Почему тогда не звонит? Никогда такого не было. — Мама вдруг так посмотрела на меня, что у меня аж мурашки пробежали по спине.

Почему-то сразу вспомнился случай, когда во время стрельб в нашей части взорвался миномет. Тогда погиб отец моей одноклассницы.

— Может, телефон сел... Или еще что.

Мама кивнула.

— Как школа?

— Нормально.

— Иди поешь. Суп на плите.

— Хорошо.

— И мяса положи! — крикнула мама вдогонку.

— Положу.

Но есть мне совсем не хотелось, и, поболтав ложкой в тарелке, я вылил все в унитаз.

Когда в нашу дверь постучали, я делал домашнее задание. Сердце у меня тогда точно оборвалось, и я, затаив дыхание, притих. Я слышал, как

мама, потеряв на ходу тапки, побежала к двери. Слышал, как долго не поддавался замок. Слышал, как звонко упали на пол ключи. Слышал ее взволнованный голос. А затем наступила тишина и мама вошла ко мне в комнату.

— Это к тебе, — с облегчением сказала она.

Я вышел на крыльцо — «кошкин домик», как мы его называли. Саня, мой одноклассник, к тому времени уже сидел на стоявшем там диване.

— Уроки сделал, двоечник?

— Ага... — усмехнулся я.

— Гоу на стадик!

— Ца. Ма! А можно я пойду погуляю?! — крикнул я.

— Уроки сделал?

— Вечером доделаю, там чуть-чуть осталось!

— О, заливает! — расплылся в улыбке Саня.

Я стукнул его в плечо. Саня стукнул меня в ответ.

— Чтoб недолго, понял?! — послышался голос мамы.

— Понял!

— Понял, — передразнил Саня и сделал мне саечку за испуг*.

На стадионе мы встретили знакомых ребят и начали играть в догонялки. В какой-то момент мне вдруг стало так весело, что от тревоги, мучившей весь день, не осталось и следа.

— Андрюха идет, — насупился Саня.

Андрюха — это его старший брат.

— Сто пудов скажет, что домой пора...

Их отец затеял стройку и, когда приходил с работы, активно прививал сыновьям любовь к труду.

— Вить, — крикнул мне Андрей. — Иди домой!

— С чего вдруг?

— Тебя мамка искала!

— А что случилось?!

— Говорю же, мамка искала!

Попрощавшись с Саней, я пошел домой.

Когда я начал спускаться с горки, то сначала увидел толпу возле нашего дома, а потом — огромный пролом в стене и торчавшую из него машину. Красный микроавтобус замер, зацепившись задними колесами за фундамент, а его передняя часть оказалась прямо у нас в зале. Взрослые, завидев меня, расступались и с подчеркнутым сочувствием качали головами.

«Вон! Пошли все вон из моего дома!» — хотелось мне крикнуть изо всех сил, но это уже был не мой дом. В этом, разбитом, хозяйничали другие люди с молотками и монтировками.

* Саечка за испуг — дворовая игра между мальчиками-подростками, когда один пугает другого, имитируя удар в лицо или туловище, а потом, если тот испугался и отшатнулся, обидно щиплет его за подбородок.

Я перепрыгнул разбитый в щепки штaketник — от сильного удара его забросило внутрь и раскидало по комнате — и пробрался в зал. Комната была завалена выбитыми бревнами, drankой, а в шкафу на хрустальных бокалах лежал толстый слой пыли.

— Витя, ты не волнуйся, мама жива! — подбежала крестная.

Только сейчас я вспомнил о маме. Ее действительно не было. Я глянул на кресло, в котором она обычно сидела, и увидел труп незнакомого человека. Раскинув руки, он уткнулся окровавленной головой в мягкий пуфик.

Крестная схватила меня и попыталась прижать к себе, но я оттолкнул ее.

— Где мама? — спросил я.

— Она в больнице, Витя, с ней все в порядке! Витя...

Я выскочил на улицу. «Она врет мне, они все врут мне!»

— Где мама?! — закричал я.

И тут я ее увидел. Мама выбежала из скорой помощи, растрепанная, в домашнем халате и тапочках. Я кинулся ей навстречу.

— Я жива, сынок! — крепко обняла меня она. — Я жива...

Теперь мы жили в семье нашей крестной. Мне нравилось у них. Особенно нравились вечерние разговоры на кухне. Бывало, подождешь, как курица, озявшие ноги и слушаешь, что говорят взрослые.

— Ведь стоял же дом сколько лет, — удивлялась крестная, — и ничего!

— И ничего... — повторила мама и начала рассказывать про Тамару, транспортер и проклятие.

— *Сделано!* — заключила крестная. — А ведь я так и думала! Сколько дом у Тамары стоял? А стоило только вам купить — и все! — Тут она немного подумала и добавила: — А может, это еще только цветочки...

Из-за этих слов у меня мурашки побежали по спине, а мама резко сменила тему.

Пару раз, когда я вспоминал слова крестной, мне становилось до того страшно, что я начинал просить Деда Мороза защитить нашу семью. Конечно же, я знал, что подарки под елку кладут родители, а не Дед Мороз, но если есть зло, то должно же быть и добро. А никакого другого «добра», кроме Деда Мороза, я не знал. Как-то раз мама сказала, что нужно сходить в церковь, но на этом все и закончилось. В церковь мы не пошли — слишком много было дел на выходных, — и я так и продолжал дальше просить Деда Мороза о защите.

Прошло примерно два месяца, и дом был восстановлен. Теперь перед ним, как в фильме «Блокпост», выросли бетонные блоки. А сам домик мы выкрасили веселой бирюзовой краской.

— Ешшо лучше, чем было! — говорила Петровна.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло, — отвечал отец.



Конечно, все это получилось благодаря людям. В те два месяца, казалось, весь городок пришел в движение и каждый стремился нам помочь.

Мы красили штакетник, когда у дома остановилась машина. Это была старуха, только теперь она приехала с дочерью и зятем.

— Оля, дочь! — заплакала старуха.

Мама так и задрожала.

— Оля, мы вот тут собрали... — Старуха протянула конверт.

— Не надо, оставьте.

Все замолчали.

— Муж, чтобы сегодня оторвал транспортер и отдал его! — еле сдерживая слезы, сказала мама.

— Што ты, Оля, што ты?! Мне уж помирать скоро. Прости ты дуру старую...

Старуха хотела приобнять маму, но та в страхе отшатнулась.

— Не подходите ко мне! И как вам только не стыдно! Да мы чуть не погибли! — задыхалась она.

Я никогда не видел маму такой.

— Уходите! И деньги свои заберите! А забора этого — чтобы сегодня же не было!

Старуха потопталась на месте и, положив конверт на бетонный блок, села в машину.

— Я здесь ни при чем, — сказала она напоследок и уехала.

Только потом мы узнали, что после этого разговора старуху разбил новый удар и она умерла в больнице. Я и сейчас не знаю, колдовала она тогда или нет.

С тех пор прошло уже много времени. Мы продали дом и переехали в другой город. Мама начала ходить в церковь, и вот однажды в ее молитвослове я нашел листок бумаги. После имен бабушки и дедушки стояло имя «Тамара».

— Та самая? — спросил я.

— Та самая, — ответила мама.

Браслеты дружбы

Я стоял на плацу и смотрел, как вороны потихоньку собираются на крыше учебного корпуса. Они всегда прилетали, когда мы строились.

Сонные солдаты ежились и переминались с ноги на ногу, отдаленно напоминая пингвинов на льдине. Но вот окна учкорпуса распахнулись — и над частью эхом раскатился гимн. Все на миг затихли. Даже вороны и те перестали каркать и драться за свои места. Играл гимн, и мы, тысяча с небольшим молодых солдат, пели его. Так было всегда: менялась погода, форма, лица, но гимн пели, невзирая ни на что.

Сегодня я оказался среди «залетчиков». Рука уже порядком отекала и начала стыть. Увы, сделать с этим я ничего не мог: ржавые наручники

с меня должны были снять только после отбоя. Рядом, прикованный ко мне, стоял Рома, рядовой Скок. Вчера мы не поделили конфеты и подрались.

В нашей части существовала традиция: тем, кто не курит, выдавали вместо сигарет конфеты. Обычные леденцы — «установкашки», как мы их называли. Любитель перекуров Рома с сигаретой не расставался, а я, наоборот, не курил и всегда был с конфетами.

Мы жили в одном кубрике*, но друзьями никогда не были. Рома призывался из Москвы, а москвичей у нас, мягко сказать, недолюбливали. Равными себе, да и то с натяжкой, они считали лишь питерцев, и их привычка смотреть на всех прочих свысока отталкивала.

Так вот, выхожу я накануне вечером из душа и вижу, как Рома со своими земляками пьет чаек с конфетами. Причем даже дверку в моем шкафу не посчитал нужным закрыть. Конфет, конечно, мне не жалко — на здоровье, как говорится, — дело в другом: он взял их без спроса, а в армии слабину давать нельзя. Опуская все подробности, скажу лишь, что на шум прибежал старшина и, не разбираясь, кто прав, кто виноват, приговорил нас к одному дню в наручниках.

Слева от меня стоял рядовой Ефименко. Этот пухляш хранил в сумке от противогАЗа, помимо самого противогАЗа, ложку, пачку вафель и банку сгущенки. Вчера вечером, после ужина, рота Ефименко попала под горячую руку командиру отряда и завернула на плац, где прозвучала команда «газы!». Естественно, вместе с противогАЗом у Ефименко вылетели из сумки ложка, сгущенка и вафли...

Это был реальный провал, за который наказали всю роту.

Когда прибыли в расположение части, старшина усадил Ефименко на табурет возле тумбочки дневального, а рядом, чтобы виновник не скучал, построились все остальные, только не как обычно, а в упоре лежа. Ефименко получил команду съесть свои сладости, а сослуживцы, стоя на дрожащих от натуги руках, просили: «Товарищ рядовой, кушайте, пожалуйста, быстрее!» Этим бы дело и закончилось, если бы у Ефименко во время скоростного истребления вафель не зазвонил телефон...

В общем, сегодня утром несчастный стоял вместе с нами, готовясь вскоре прибить свой мобильный к «сотовому» дереву.

Дальше держал на плече бревно с надписью «Marlboro» рядовой техроты. Его поймали курящим. Нет, курить в армии не запрещено, только делать это разрешается в курилке, а не в туалете. Но соблазн подымить ночью был сильнее страха наказания, и под покровом темноты некоторые бойцы, встав на унитаз, предавались пагубной привычке, пуская кольца терпкого дыма в вытяжку. С завидной регулярностью кто-нибудь из них оступался и падал, ломая при этом ноги, а иногда и унитазы. Собственно, для того, чтобы сохранить казенное имущество, и был введен запрет на курение в расположении части.

* Кубрик — здесь: жилая комната в спальняй части казармы.

Справа от нас стоял воин с двадцатилитровым тэвээном (ТВН, он же термос войсковой носимый, представляет собой огромную зеленую бандуру на лямках, типа рюкзака). А рядышком топтался на месте его товарищ по несчастью с двумя эмалированными ведрами с водой. И тот и другой были пойманы с пустыми фляжками. В армии фляжка всегда должна быть полной, и точка. А если тебя поймали с неполной или, не дай бог, пустой фляжкой, то ты никогда не сможешь объяснить командиру, что просто недавно отпил из нее. Тебе не поверят. Скажут, мол, она пустая, потому что ты не долил, а не долил — потому что забил на службу, и после этого ты будешь целый день носить в руках два ведра или таскать за плечами ТВН. Причем термос, как правило, выдавали старый и протекающий, чтобы ты с мокрыми и натертыми плечами активнее перевоспитывался и одновременно являл собой пример того, что будет с осмелившимися отпить из фляжки без команды.

— Так, старшина! — начал ответственный по бригаде майор Колотовкин, обводя взглядом плац. — Это что у вас тут на левом фланге за бандформирование?

— «Залетчики», тащ майор! — пояснил прапорщик.

— Ага, летчики-залетчики. — Колотовкин внимательно оглядел нас с ног до головы.

Нигде больше так тщательно не разглядывают человека, как в армии. Наверное, потому, что нигде больше не придают такого значения его внешнему виду. Для военного не важно, мир сейчас, война или вторжение инопланетных захватчиков. Военный всегда должен быть выбрит, начищен и выглажен, а все остальное отходит на второй план.

— Фамилия?! — обратился ответственный к Ефименко.

— Трактогист-бульдозегист гядовой Ефименко! — не выговаривая букву «р», доложил пухляш.

— Почему небриты, тащ рядовой?

— Товагищ майор, я...

— Служить до буй! Небрит почему?

— Виноват! — с ужасом в глазах рявкнул Ефименко.

— Виноват... — довольный собой, протянул ответственный и продолжил: — Ты еще военкоматом пахнешь, сынок, а уже начинаешь мозги долбить! Я двадцать лет сапоги топчу...

Тут он обратил внимание на нас:

— А это что за братья Карамазовы?

— Эти подрались вчера, — безразлично пояснил прапор.

— Вот как? И в чем причина?

— Конфеты не поделили, тащ майор.

— Орлы! — рявкнул майор. — Если они за конфеты друг другу глотки готовы разорвать, то что же они сделают с НАТО?

Шеренги взорвались дружным смехом.

Майору это понравилось, но, чтобы сохранить важность, он рыкнул:

— Убили смех! Ладно, прапорщик, ведите их с глаз долой — на перевоспитание.

— Есть, тащ майор! Становись! Равняйся! Смирно! Левое плечо вперед, шагом... арш!

«Арш» так «арш», мы люди подневольные, нам сказали — мы пошли.

В «секретный лес» мы брели, точно пленные румыны. Этот, с бревном, без конца вскидывал его, а потом и вовсе начал терять.

— Что, боец, тяжела сигаретка? — с каменным лицом подначивал прапор.

Сам прапорщик был высокого роста, широкоплечий, но с лицом утомленным и ничего, кроме усталости, не выражавшим. Казалось, его вообще ничем нельзя удивить. Случись сейчас конец света и устремись прямо на него метеорит, он так и смотрел бы на эту раскаленную глыбу из космоса глазами, полными скуки и апатии.

«Секретный лес» назывался так потому, что там учились делать секреты. Секрет — это тайный сторожевой пост, ямка с бойницей, замаскированная, в зависимости от местности, лапником или дерном. В окрестностях нашей части хватало и того и другого.

Наконец, уныло шаркая ногами, мы пришли. К слову сказать, нам с Ромой еще было очень даже комфортно: в свободных руках мы тащили лопаты, а не ведра или бревна.

— Стоять, раз-два! — скомандовал прапор. — Так, жирный, — обратился он к Ефименко, — доставай свой мобильник!

Ефименко полез в карман и достал Nokia N73.

— Хорошо живешь, боец! Так, остальные, упор лежа принять! Отставить! Принять! Отставить! Ты, здоровый, — обратился прапорщик к рядовому с ведрами, — чем занимался?

— Мастак по боксу, — резко ответил тот.

— Круто! Толкни землю тыщу раз.

Рядовой упал на землю и принялся отжиматься. Конечно, он понимал, что не отожмется и двухсот, но это было не важно. Зато проклятые ведра больше не отрывали ему руки.

— Жирный, что смотришь? Слыхал, человек боксом занимался, не то что ты... Кстати, чем ты занимался?

— Ничем, товагищ пгапогщик!

— В смысле — ничем? А как ты вообще в разведку попал?

— Не могу знать, товагищ пгапогщик!

— Понятно, — глубоко вздохнул прапор и неожиданно спросил: — Ну хоть плавать ты умеешь?

— Умею, — ответил Ефименко и, опустив голову, тут же добавил: — Только тону...

Впервые я увидел, как этот прапор улыбнулся.

— Так, Рэмбо, кончай отжиматься, начинай ловить бабочек. А все остальные упали в полтора!

«Ловить бабочек» означало глубоко присесть, а потом выпрыгнуть, словно лягушка, и хлопнуть в ладоши над головой. Что боксер и начал делать. А мы приняли упор лежа и, согнув руки в локтях, начали трястись от натуги, словно к нам присоединили высоковольтный провод.

— А ты, пловец, что застыл? Давай, «сотовое» дерево ждет тебя!

Ефименко стоял у «сотового» дерева, сверху донизу покрытого прибитыми мобильными телефонами.

— Долго молиться будешь? — рявкнул прапор. — Бери молоток — и в атаку!

Ефименко вздрогнул, зачем-то оглянулся на нас и, вытащив из-под кителя молоток, ударил. Сначала он бил слабо, но с каждым разом прикладывался все сильней, удары делались точнее, и уже через минуту мобильник был насмерть приколочен к «сотовому» дереву, обогатив его еще одним экземпляром.

— «Самсунгов» все равно больше, — задумчиво заключил прапорщик, оценив работу.

А Ефименко так и стоял с молотком: он явно не мог поверить, что только что собственными руками вколотил «сотку» в свой дорогуший телефон.

— Общая команда «перекур»! — скомандовал прапор и закурил.

Мы, тяжело дыша, встали. Боксер взял в руки ведра, а курильщик — бревно.

Покурив и поговорив по телефону, прапор снова подошел к нам.

— Теперь ты, паровоз. Бросай свою базуку!

Услышав про базуку, я начал давиться смехом. Я понимал, что это разозлит прапора, но ничего не мог поделать. Рома судорожно дергал меня прикованной рукой, но у меня не получалось сдержаться.

— Отставить! Ты! — Прапор ткнул в меня пальцем. — Давай, рой!

— Ну что, поржал?! — сквозь зубы процедил Рома.

Мы начали рыть. Во-первых, рыть одной рукой практически невозможно. Во-вторых, я-то деревенский, а вот Роме было совсем тяжело. Он то и дело озлобленно дергал прикованной рукой, отчего мне становилось больно, но я молчал. Когда мы кое-как пробились сквозь слой корней — а их в сосновом лесу была просто уйма, — нас сменили Ефименко и парень-курильщик. Так мы менялись два раза, и в итоге яма получилась таких размеров, что в ней можно было спрятать танк.

— Все! — скомандовал прапор и, затянувшись как следует, бросил в яму окурок. — Сегодня мы собрались здесь, чтобы предать земле верного спутника импотенции и рака легких — хабарик. Покойся с миром, дорогой товарищ!

И, махнув рукой, он дал знак зарывать.

Когда мы закапывали окурок, прапору на мобильный кто-то позвонил. Он отошел подальше и заговорил отрывисто:

— Да, здоров! В «секретном лесу», да! А когда? С флота? А почему с флота?! Ладно! Давай! — И повернулся к нам: — Так, заканчиваем шустрее!

Через пару минут яма была зарыта и замаскирована заранее срезанным слоем дерна.

— Давайте сюда браслет. — Прапорщик подошел к нам и, достав ключ, расстегнул наручники. — Амнистия у вас сегодня.

Когда мы прибыли в расположение части, там творилась суцкая неразбериха. Все кричали друг на друга и бегали. Непонятно было, что при этом менялось, но металось с шальными глазами все. Как оказалось, к нам приехала окружная проверка во главе с капитаном ВМФ какого-то ранга. Наша часть была сухопутная, но проверки часто проводили представители других родов войск.

Мы тут же получили боевую задачу — убрать все лишнее из тумбочек, и... к своему удивлению, я нашел там свои конфеты.

— Забыл тебе сказать. — Рома стоял позади меня. — Я неделю назад курить бросил.

Меня словно облили кипятком, а потом засунули в сугроб.

— Так это были... — задохнулся я. — А чего ты не...

— Да разве ты слушал!

— Извини... — потупился я.

— Проехали. Просто не руби с плеча. — Тут он улыбнулся и, подмигнув, добавил: — И получше припрячь мобильник, а то будет как с трактористом-бульдозеристом рядовым Ефименко!



Владимир ТИТОВ

СЕМАФОРЫ

* * *

на нитках сквозняка грохочут двери
белесой бабочкой рассвет
на плечи времени садится:
ладони-лодочки отправлены к лица
соленой верфи: все та же ночь
лишь сны
отравлены и вещи зримы и тревога
не стать ни стариком ни вновь ребенком
и не вернуть слепую соль
невыносимости в осмысленные
зыби портоланов

* * *

закат застынет вестью одинокой
на можжевельнике на долгом вздохе
и ты далекая не менее далекой
предстанешь в горьком воздухе эпохи

ложится ветер в вымокшие травы
и в стеклах замирают отраженья
земли и неба будто мы не правы
им приписав толикое круженье

вот явь вот сон вот накипь повторенья
на побережье видимого горя
и ночь стоит как всякое явленье
в пустом просторе



* * *

за мертвой птицей на пластинке августа
вспорхнет и слух а дальше одиночество
круженье вечера почти уже и сумерки
и пелена дождя над кручей города

а мы опять не соберем с тобой
пристрастные безропотные лилии
покуда Малларме как ангел хмурится
в осеннем молчаливом изобилии

и велосипедист с коробкой желтою
на острие иглы певучей замертво
раскинув руки оставляет заново
нас умирать над пением и тлением

* * *

пришедший ночью с востока
стучится в окна ничьи
снег; замирает сознание
с деревцем на краю
в неведеньи очевидном;
все расписано по минутам:
встреча и расставание
жизнь и смерть
и появление на свет;

в волшебном шаре тоски
вырастает метель и все любимое
немыслимо или же
невозможно

* * *

вот здесь остановиться где Транссиб
топорщится топонимами станций
загадочно сквозь тусклое стекло
в котором наши лица в отраженьи
как грязный перламутр гребешков
на дне Господнем

и вечное прибытие на путь
четвертый возвещает репродуктор
стекая солью путешествий

обрывком сна соседским откровеньем
в цветное озерцо как у Дали

и будто прежде нас все происходит
вещь движется свершается событие
и солнечною лочежкой звякнет
тревога да пойми попробуй:
мы умерли и прежде нас сознание
усыновляет брошенные вещи
в прекрасной и знакомой пустоте

со стуком желтый небосвод
жилеток движется вдоль неподвижной хорды
состава отменяя суету
сознания суетою повторенья
и летописным племенем
заполнен вагон треклятый
и дальше нам во тьму

рифмованным колечком забвения
в небывшем детстве старые вагоны
все дальше дальше и зачем
нелепое бессудство откровения...
вот здесь остановиться здесь
попрощаться здесь попрощаться

и как у Нисского
вдруг в снегопаде вспыхнут семафоры

* * *

к невинности и мы
не возвратимся: к формам тополей
к стрижу по завершении зимы
остроугольным крылышком смелей

секущим небо за которым вновь
лишь синевы преодолимый страх
и что нам покоряющая кровь
и крепких птиц и узкотелых трав

сказать себе как жизнь разветвлена
на все живое — выкормить в уме
почти стрижа что в небе дотемна
почти невинность — тополю и мне

Наталья ЛЕВЧЕНКО

«АЗИЮ» Я ПИСАЛ... КРОВЬЮ СЕРДЦА»

Николай Анов и его роман «Азия»

В августе 1980 года, после десятилетней разлуки, я вернулась из утопающей в садах, тихой и уютной Полтавы в Семипалатинск. Город детства и юности встретил знойным солнцем, степным ветром и песком, а еще меня ждала работа в музее Ф. М. Достоевского. Постепенно начала открывать для себя невероятный, бездонный мир Достоевского и богатейшие коллекции семипалатинского музея: прижизненные издания писателя и его литературного окружения, переводы на иностранные языки, книжную графику известных художников, книги с автографами писателей и ученых. Наряду с Д. Граниным, Л. Леоновым, П. Проскуриным, К. Чуковским были авторы, знакомые лишь по справочникам. Именно в эти осенние дни 1980 года я встретила с творчеством писателя Николая Ивановича Анова, прочитав повесть «Ак-Мечеть», роман «Пропавший брат», книгу воспоминаний «На литературных перекрестках». Книги, подаренные автором первому директору Семипалатинского музея Ф. М. Достоевского Зинаиде Георгиевне Фурцевой с трогательным обращением «моей синей птице», до сих пор в моей памяти. Как хочется сейчас вернуть то время, чтобы расспросить Зинаиду Георгиевну о встречах с Николаем Ивановичем, но тогда все вокруг было «достоевским».

Только в 2004 году, занимаясь организацией и формированием коллекций Городского Центра истории Новосибирской книги и получив материалы архива писателя Кондратия Никифоровича Урманова, первые книги домашней библиотеки критика и историка сибирской литературы Николая Николаевича Яновского, я увидела на титульных листах некоторых изданий знакомый мелкий, но хорошо читаемый почерк писателя Анова. Приятной неожиданностью стали пятнадцать писем, адресованные «старому другу Кондратию», с рассказом о жизни и литературных планах. Эта вторая встреча, спустя тридцать лет, положила начало поискам неизвестных страниц его биографии и творчества, которые продолжаются до сих пор.



Николай Иванович Анов

«Кормилец» Николая Иванова (настоящая фамилия писателя), привлечший внимание А. М. Горького, а в петроградской «Красной газете» — стихотворные фельетоны. В мае 1918 года Анов уехал в Башкирию редактором «Известий Белебеевского уездного исполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов». Дороги Гражданской войны, большевистское подполье привели Николая Ивановича в Омск на корректорскую работу в газету «Вперед». Он участвовал в литературной жизни города, посещал собрания в доме писателя Антона Сорокина. Появление в Омске сразу четырех пишущих Ивановых решило судьбу его псевдонима. Он убрал из фамилии первые две буквы и стал Николаем Ивановичем Ановым. После освобождения в 1919 году Красной армией Омска Николай Иванович работал выпускающим газет «Известия Омского ревкома» и «Советская Сибирь». В беседах со своим другом казахстанской журналисткой, педагогом и общественным деятелем Рахилей Гиреевной Аблаковой писатель вспоминал, что прошел большую школу газетчика в редакции «Советской Сибири» у секретаря Лазаря Юрьевича Шмидта, впоследствии редактора издательства «Федерация».

В 1920-е годы журналистика привела Анова в Усть-Каменогорск. Здесь при участии П. П. Бажова, Е. Н. Пермитина, Б. Н. Лапина, М. Ф. Иванусяева организуется литературное объединение «Звено Алтая». В книге воспоминаний Николай Иванович пишет:

Литературное объединение «Звено Алтая» оказалось живучим. В моем архиве сохранилась афиша, отпечатанная на желтой оберточной бумаге тиражом 50 экземпляров. Вот ее содержание: «Горклуб. 20 апреля 1922 г. В среду в 9 ч. вечера выйдет № 3 устного литературно-художественного журнала “Звено Алтая” при участии поэтов-звеноалтайцев. Весь сбор идет на содержание голодающих детей Поволжья, которые придут с первым пароходом в Усть-Каменогорск. Входная плата 3 фунта муки. Для неимущих — 25 тысяч рублей. Предварительная продажа билетов за муку в торговой лавке ЕПО» (Анов Н. И. На литературных перекрестках, с. 63).

Давний знакомый Н. И. Анова писатель Вс. В. Иванов говорил ему:

Странно разошлись наши судьбы. Я — коренной житель Казахстана — стал москвичом. Вы — столбовой питерский пролетарий — превратились в казахстанца (Анов Н. И. На литературных перекрестках. Алма-Ата, 1974. — С. 55).

Сын петроградского рабочего-металлиста прошел через Первую мировую войну, в 1917 году участвовал в штурме Зимнего, а его первые литературные опыты связаны с газетой «Правда». В январе 1914 года там был напечатан рассказ



Куда только не забрасывала Николая Ивановича Анова профессия газетчика и долг большевика. Осенью 1923 года Анов получает приглашение на работу от редактора семипалатинской газеты «Степная правда» Николая Васильевича Феоктистова. В Семипалатинске он знакомится с писателем Мухтаром Ауэзовым и поэтом-акыном Исой Байзаковым, дружба с которыми сохранилась на долгие годы. В 1924 году ему довелось трудиться редактором одной из старейших казахстанских газет «Джетысуйская искра» (газета сменила много названий, ее современное название «Огни Алатау»). В 1925 году Анова направили в Кзыл-Орду, столицу молодой Казахской республики, секретарем газеты «Советская степь», где он вместе с первым казахским режиссером Серке Кожамкуловым участвовал в создании первого профессионального театра Казахстана.

В 1927 году Николай Иванович Анов, получив приглашение Владимира Яковлевича Зазубрина, приехал в Новосибирск и стал работать в журнале «Сибирские огни». Здесь он наконец обращается к художественной прозе. Повесть «Глухомань», рассказы «Награда», «Ядовитое жало» и «Сарайм-Су» были напечатаны в «Сибирских огнях». В них автор поднял сложнейшую проблему столкновения вековых социальных устоев казахской степи с новой идеологией, которая не может изменить психологию человека в одночасье, и это ведет к разрушению и потере нравственных ориентиров у людей, к жестокости и насилию, приспособленчеству и подлости. Опыт казахстанской газетной работы помог ему создать острые и правдивые произведения. Писатель утверждал, что именно в газете родились замыслы будущих рассказов. Процессы, происходившие в Семиречье после Гражданской войны, легли в основу его первого романа «Азия», также написанного в Новосибирске. В пражском журнале «Воля России» в 1929 году вышла рецензия на публикации писателя:

Николай Анов радуется своей неприкрашенной искренностью. Его описания действительно правдивы, не лишены живости, отчасти своеобразны, легко читаются. Такова его бесхитростная повесть «Глухомань» о хулиганствующем бандитизме в пореволюционной деревне и расправе с последним по «мирскому» приговору... Таков его небольшой рассказ «Ядовитое жало» — почти очерк из жизни беспризорника-рабкора, и таков его последний рассказ «Сарайм-Су» о немецких коммунарах, закоренелых нравах «средневекового кишлака», с калымом и сифилисом (цит. по: Лоцилов И. Е. Николай Анов об Андрее Платонове и Всеволодах Ивановых // Литературно-краеведческие Ивановские чтения 2015—2016. Новосибирск, 2017. — С. 35).

В 1928 году Николай Анов выступил инициатором создания литературной группы «Памир», задачей которой была борьба с журналом «Настоящее». В нее вошли Л. Мартынов, С. Марков, П. Васильев и Н. Феоктистов. В конце 1929 года из-за преследований и обострившейся околожурнальной борьбы группа остановила свою деятельность, а все участники «Памира» переехали в Москву. По приглашению А. М. Горького Николай Анов перешел на работу в редакции журналов «Красная новь» и «Наши достижения». Об этом периоде писателя вспоминала литературовед Е. А. Таратута:



Когда мы познакомились в 1931 году, мне только исполнилось девятнадцать, а Николаю Ивановичу было почти сорок. Вдвое старше меня. Я была студенткой литфака, а он — ответственный секретарь редакции журнала «Красная новь», куда меня прислали на практику. Николай Иванович работал быстро, четко, и поэтому казалось — всегда был свободен. Часто приходили его друзья-сибиряки: Леонид Мартынов, Сергей Марков, Николай Васильевич Феокистов, Павел Васильев... Это были люди энергичные, талантливые, с богатым жизненным опытом. Все были прекрасные рассказчики с чудесным чувством юмора. Многие их рассказы я вкратце записывала себе в дневник. К сожалению, он не сохранился... (Таратута Е. А. Драгоценные автографы. М., 1986. — С. 78—79).

В начале 1931 года вышел «Филателист» — рассказ Н. И. Анова о варшавском мещанине, эмигрировавшем в Америку и служащем у антиквара-филателиста. «Хозяин-компаньон» командует героя в охваченную Гражданской войной Россию, о чем герой сообщает брату:

Предложение, которое я получил, заключается в том, чтобы я поехал в Россию собирать погашенные марки. Это, конечно, очень нетрудная командировка, но доктор Хиглет требует, чтобы марки были из тех мест, где идут бои. По его мнению, там, где убивают людей, и совершается история... (Анов Н. И. Филателист. М., Журнально-газетное объединение, 1931. — С. 11).

Едкий сарказм автора подчеркивает безнравственность, омерзительность всего «предприятия» Осипа Дукаревича. Он приспособляется к условиям военного времени, становясь сотрудником уголовного розыска, красноармейцем в армии, идущей за Урал, библиотекарем, артистом. Драматичен финал рассказа: Дукаревича расстреливают, чему способствует американский репортер, представитель Христанского союза молодых людей и тоже филателист, приехавший в Сибирь как миссионер и военный корреспондент. К нему, мистеру Хейгу, и переходит собранная коллекция марок. Как причудливо устроен мир, сколько в нем повторений...

Осенью 1930 года бывшие члены «Памира» организовали в Москве литературную группу «Сибирская бригада». В группу вошли восемь человек: Н. Анов, С. Марков, Е. Забелин, П. Васильев, Н. Феокистов, М. Скуратов, Ю. Бессонов и Л. Черноморцев, а поэта Л. Мартынова включили заочно. Участники собраний обсуждали свои произведения и поднимали современные политические и социальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием Сибири. В марте 1932 года членов группы арестовали. Н. И. Анову ОГПУ предъявило обвинение в членстве в нелегальной контрреволюционной и антисоветской организации, антисоветской агитации через художественные литературные произведения. Основу обвинения составили, главным образом, собственноручные подробные показания членов «Сибирской бригады», в том числе и ее организатора Николая Анова:

Одним из моих конкретных антисоветских мероприятий было создание нелегальной литературной группы «Памир». Эта группа

была мной создана в Новосибирске в начале 1928 года. Мы в основном занялись борьбой с партийностью в литературе (Куняев С. Ю., Куняев С. С. Растерзанные тени. М., 1995. — С. 93).

Из протоколов допросов 1932 года видно, что писатель подтвердил свою роль организатора этих групп:

Приехал я в Москву марта 1929 года. В Москве меня ждали Феоктистов, Марков и Ерошин. На первом же нелегальном собрании решено было легализовать «Памир» и принять двух новых членов: Забелина и Бессонова (Куняев С. Ю., Куняев С. С. Растерзанные тени, с. 94).

От расстрела членов группы спасло возвращение Горького из Италии и проведение Первого всесоюзного съезда советских писателей. Николая Анова привлекли к уголовной ответственности за антисоветскую агитацию и сослали в Архангельскую область на три года.



Группа сибирских писателей: Н. Феоктистов, С. Марков, И. Ерошин, Н. Анов. Новосибирск, 1926—1928 гг.

Омский государственный литературный музей имени Ф. М. Достоевского





В эту пору Николай Иванович уехал работать в Великий Устюг. Мы постоянно переписывались. Он изучал там местные ремесла. Особенно заинтересовала резьба из бересты. Из резной бересты изготовляли шкатулки, домашнюю утварь, письменные приборы. Резьба была дивной красоты, рисунок наносился не по шаблону, не по заранее прорисованному контуру, а свободно, «от себя». В газете «Известия» Николай Анов напечатал очерк об этой резьбе «Березовые кружева», потом еще в каком-то журнале. Получила я в подарок от Николая Ивановича прелестную шкатулку с изящной резьбой. Он писал, что она изготовлена в деревне Курово-Наволоки, а вот фамилию мастера я позабыла. Шкатулка пропала у меня в годы войны... (Таратута Е. А. Драгоценные автографы, с. 82).

Действительно, писатель в северной ссылке увлекся изучением традиционного народного промысла, познакомился с талантливым мастером, создателем артели «Солидарность» Николаем Вепревым. Изучение знаменитого берестяного промысла писатель обобщил в своих статьях и очерках, напечатанных в журналах «Советское краеведение» (1936), «Стахановец» (1937), «Народное творчество» (1938). Эти публикации до сих пор вызывают большой интерес у мастеров и исследователей северного берестяного промысла.

В 1937 году, после окончания ссылки, Н. И. Анову разрешили поселиться в Подмоскovie. Писатель выбрал Каширу. Здесь он завершил работу над романом «Пропавший брат», который вышел отдельной книгой перед самой войной, в 1941 году. Это талантливое и увлекательное произведение адресовано прежде всего молодому поколению. Написанный в приключенческом жанре, роман охватывает события Гражданской войны на огромном пространстве. Украинское село, Алтай, Петроград, Самара, Омск, Усть-Каменогорск и Семипалатинск — такова география приключений мальчиков Володи и Петрика, разыскивающих пропавшего Володиного брата. В послесловии ко второму изданию романа автор писал: «Большинство событий, описанных в романе, имеет в основе своей подлинные факты» (Анов Н. И. Пропавший брат. Алма-Ата, 1960). Е. А. Таратута вспоминала:

С каким волнением рассказывал мне писатель, что после выхода в свет «Пропавшего брата» вторым изданием в 1960 году одна из этих книг случайно попала в руки того самого брата, которого потерял Николай Иванович. Тот прочитал книгу, узнал себя и написал в Союз писателей с просьбой сообщить, кто такой «писатель Анов», «не Иванов ли он на самом деле» и где живет. Вскоре получил ответ: да, действительно, настоящая фамилия Анова Иванов, и живет он в Алма-Ате. Началась переписка братьев, а потом они и встретились!.. Так книга помогла им найти друг друга... (Таратута Е. А. Драгоценные автографы, с. 83).

В конце 1940-х годов Николай Иванович Анов приезжает в Казахстан для работы над сценарием документального фильма к 25-летию Казахской ССР и остается жить в Алма-Ате. Уже в 1948 году выходит его историческая повесть «Ак-Мечеть», посвященная драматичному вре-

мени присоединения казахских земель к России. Через главного героя, ссыльного поэта Алексея Плещеева, автор раскрывает мир казахской степи, ее природу, самобытность жизни и быта казахов. Вообще этот период в творческой судьбе Анова чрезвычайно плодотворен. Он пишет очерки, пьесы «По велению сердца» и «Наследники» — об освоении целинных земель Казахстана. По мотивам пьесы «Наследники» казахстанский композитор Е. Брусиловский создает одноименную оперу. Писатель занимается переводами на русский язык произведений казахских авторов. В 1952 году Анов принимает участие в переводе романа «Путь Абая» выдающегося казахского писателя и своего давнего друга Мухтара Ауэзова.

Творческий путь Н. И. Анова, особенно 1920—1940-х годов, воссоставлять достаточно сложно, все известные источники содержат в основном скудные биографические сведения, и тем бесценнее становятся документальные свидетельства его современников. Это — воспоминания Е. А. Таратуты «Драгоценные автографы» (1986), брата П. И. Иванова (журнал «Простор», 1981), Н. Н. Яновского (Яновский Н. Н. Верность: портреты, статьи, воспоминания. Новосибирск, 1984), а также книга воспоминаний самого писателя «На литературных перекрестках» и, конечно, дошедшие до нашего времени письма.

В 60—70-е годы Н. И. Анов обращается к близкой ему исторической теме революций и Гражданской войны, пишет романы «Юность моя» (1964), «Выборгская сторона» (1970), «Интервенция в Омске» (1978). О своих планах автор сообщал в письме другу-сибиряку писателю К. Н. Урманову:

Роман «Юность моя» я тебе послал. Напиши свое суждение. Это — первая книга трилогии. Вторая будет «Семнадцатый год» (период с апреля по ноябрь), а третья «Интервенция» (колчаковщина в Омске) (письмо от 17.09.1968 г. Городской Центр истории Новосибирской книги (ГЦИНК), фонд К. Н. Урманова).

По крупицам, обращаясь к своей памяти, к историческим документам, он стремится достоверно рассказать об эпохе, изменившей мир.

Одновременно с работой над второй книгой трилогии «Выборгская сторона» (первоначальное название «Семнадцатый год») Н. И. Анов пишет документальную повесть «Каширская легенда» о строительстве второй советской электростанции:

Я работаю над романом «Да будет свет». Конец его ты читал в «Просторе» — повесть «Октябрьская ночь». Скоро будет три года, как сижу над ним. А что получится — не знаю... (письмо от 09.04.1968 г. ГЦИНК, фонд К. Н. Урманова).

Книги «Выборгская сторона» и «Каширская легенда» были удостоены Государственной премии Казахской ССР имени Абая в 1970 году.

Закономерно, что, работая над романами о событиях, свидетелем которых он был, писатель не мог не вспомнить о своих современниках, о чем сообщает Урманову 12 декабря 1972 года:



Николай Иванович Анов

и Всеволода Никаноровича Иванова. Отмечая правдивость воспоминаний К. Н. Урманова о работе Вс. В. Иванова во фронтовой колчаковской газете «Вперед», он пишет:

Кондратий Урманов не знал одного факта из жизни Всеволода, который объясняет более чем странное поведение его друга. Всеволод в это время состоял в конспиративной группе полиграфистов большевика Афанасия Назарова, изготавливавшего фальшивые документы для партизан, пленных красноармейцев и др. (ГЦИНК, фонд К. Н. Урманова).

Достоинство уважения желание писателя поддержать своего омского друга, отвести от него подозрение в связях с колчаковской прессой. Н. И. Анов на протяжении всей своей жизни старался не терять товарищеских связей. В одном из писем Урманову он сообщает:

В сборнике «Советского писателя» помещены мои воспоминания и Г. И. Петрова. Кстати, вместе с Петровым ты был у Всеволода в Москве в 1921 году. Петров, бывший редактор «Красной Кабарды», в 1937 году был приговорен к расстрелу, 70 суток просидел в камере смертников, потом заменили 25 годами, был в Воркуте, через 8 лет его активировали, вынесли на носилках. Для лагерной работы он уже не годился. Сейчас живет в Нальчике, персональный пенсионер, орденосец. Афанасия Назарова расстреляли в 1937 году, когда он занимал высокий пост заместителя председателя Якутского ЦИК. Сейчас на родине его именем называют училища, улицы, переименовывают поселки (ГЦИНК, фонд К. Н. Урманова).

Память писателя Н. И. Анова, подобно энциклопедии, сохранила очень многое. Вероятно, есть в казахстанском архиве и его неизданные дневники. Для него все эти воспоминания были дороги и важны как фак-

Планирую книгу воспоминаний «На литературных перекрестках» на 1974 год, но не уверен, что ее не передвинут. Потихоньку работаю над «Интервенцией в Омске», это, по существу, продолжение «Выборгской стороны», последняя книга трилогии... (ГЦИНК, фонд К. Н. Урманова).

Кстати, в этом письме автор сообщает о конференции в Семипалатинске, посвященной творчеству писателя Вс. В. Иванова, и своем докладе «Сколько было Всеволодов Ивановых?». В нем Н. И. Анов представил справку об омском периоде в судьбе двух писателей, почти полных тезок — Всеволода Вячеславовича Иванова

ты жизни и судьбы его и современников. Возможно, поэтому он так болезненно воспринимал безжалостное редактирование своей книги «На литературных перекрестках». Работа над воспоминаниями шла трудно, прежде всего из-за сверхосторожного редактора книги:

Наконец-то сдал в набор сборник воспоминаний «На литературных перекрестках». Мороки с ним было много. Редактор на мою беду попался неудачный. Жуткая перестраховщица. В каждой строчке искала крамолу. Был у меня очерк о Зазубрине «Пестун сибирской литературы». На мой взгляд, это был лучший очерк. Началось с того, что она потребовала удалить сомнительную фигуру Ивана Абабкова. В 1928 году в «Сибирских огнях» была опубликована его повесть «Жизнь отрока Еликсимова», после она вышла в Москве, в издательстве «Федерация». Абабков принадлежит к категории лиц тяжелой судьбы. Был на Севере, в Ухте. Начал рудокопом и поднялся до начальника геологической партии. Открыл месторождение нефти. Прислал мне письмо: «Не уеду отсюда, пока не напишу роман». У меня сохранилось его последнее письмо, присланное из Средней Азии и написанное левой рукой. Разбил паралич. Я с ним дружил. Человек он был замечательный. Пока я работал со своей редакторшей, дошел до полного обалдения и свалился. Очерк о Зазубрине пришлось снять... Грустно это, мой старый милый друг! (Письмо от 01.02.1974 г. ГЦИНК, фонд К. Н. Урманова.)

Очерк о В. Я. Зазубрине напечатали спустя восемь лет, в третьем, юбилейном номере журнала «Сибирские огни» за 1982 год. Объяснить такую горячую защиту своей книги можно прежде всего желанием писателя поделиться воспоминаниями о близких ему людях. Не случайно жанр книги он определяет не как литературные портреты, а просто — воспоминания. В этом присутствует особая теплота, доверительность, желание поделиться с читателем рассказом о писателях, поэтах, режиссерах и актерах, встреченных на жизненном и творческом пути.

В последние годы жизни Николай Иванович Анов не мог передвигаться без костылей, сказалось тяжелейшее заболевание ног, полученное на фронте Первой мировой войны, и его мир ограничился небольшой двухкомнатной квартирой. Связь с окружающей жизнью поддерживалась друзьями, а их писатель за свои долгие 88 лет приобрел много. Он умер 18 июля 1980 года в Алма-Ате, которая тепло встретила его и дала возможность создать пять романов, три повести, три пьесы, книгу воспоминаний, очерки. Личный фонд писателя хранится в Центральном государственном архиве Республики Казахстан. Возможно, именно там находится рукопись неизданной пьесы «Диктатор». О ней Анов писал Урманову в письме 1971 года:

Я написал комедию «Диктатор», из гражданской войны... Говорят получилась неплохая вещь... Действие происходит в Петрограде и на Украине... В Новосибирске есть хороший театр «Факел». Не знаешь, случайно, кто там режиссер? Не попытаться ли мне счастья, предложить комедию. Посоветуй... (ГЦИНК, фонд К. Н. Урманова).



Что хранят неизвестные страницы литературного наследия Николая Анова? Собирая материал для «Словаря писателей Сибири», Н. Н. Яновский неоднократно обращался с вопросами по истории литературы Сибири к Н. И. Анову и благодарил судьбу, подарившую ему «многолетнее общение с замечательным человеком, который много и многих людей знал и умел обо всем интересно рассказать». Неизвестные и неизданные страницы рукописей Николая Ивановича Анова, вероятно, сохранили немало сведений о Г. Гребенщикове, О. Руновой, Е. Забелине, А. Платонове и других.

Много лет не оставляла меня мысль о судьбе написанного в Новосибирске романа «Азия». Николай Иванович писал его для «Сибирских огней», но обстоятельства сложились так, что автор вынужден был отправить рукопись А. М. Горькому, предложившему напечатать «Азию» в журнале «Красная новь». Но и там роман не удалось опубликовать. Объяснение драматичной судьбы произведения пришло с обнаружением протоколов допросов по делу «Сибирской бригады» в 1992 году:

Этот роман я написал в Сибири в июле 1928 года. Я хотел показать «азиатчину» советского и партийного быта... «Азию» я писал, если так можно выразиться, кровью сердца (Куняев Ст. Огонь под пеплом. Дело «Сибирской бригады» // «Наш современник», 1997, № 2).

Но сохранилась ли рукопись романа? Неужели была уничтожена?

Все рукописи имеют судьбу, но иногда кажется, что они сами стремятся скорее спрятать подальше свои тайны.

Семнадцать лет заняли у меня поиски следов романа «Азия». Обращение к казахстанскому архиву не дало результата. Не было рукописи в центральных российских архивах. Была мысль о возможности найти роман в архивах друзей писателя, но у кого именно? И вот в декабре 2021 года (мистическое стечение — 18 декабря писателю Н. И. Анову исполнилось 130 лет) в описании архива номеров казахстанского журнала «Простор» увидела, что в № 7—8 за 1999 год был напечатан роман Николая Анова «Азия». Обратилась к сотрудникам литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского (Семей), в казахстанские библиотеки. Нигде и никаких следов этой публикации. Чудо произошло 27 января 2022 года. Позвонила (с последней надеждой) в Центральную городскую библиотеку имени А. С. Пушкина города Усть-Каменогорска и через час получила отсканированные страницы текста этой публикации. Низкий поклон и благодарность сотрудникам библиотеки за их профессионализм и внимание к запросам читателей.

Чтение текста и сопоставление его с ановскими публикациями в «Сибирских огнях» 1928 года не оставило никаких сомнений — это тот самый многострадальный «утраченный» роман, а рассказ «Сарайм-Су» (1928) — фрагмент будущей «Азии».

Вот что сообщается в редакционном предисловии:

В «Простор» этот роман попал в 1992 году. По поручению Галины Александровны Исаченко, вдовы А. И. Брагина*, его принесла нам Вера Алексеевна Калашникова, автор публиковавшихся в нашем журнале рассказов и рецензий. На папке было написано: «Видимо, это роман Н. И. Анова» («Простор», 1999, № 7—8, с. 44).

Рукопись представляла собой корректурные листы, дополненные фрагментами машинописи. На одной из гранок было оттиснуто: «Корректурка. 1-я Образц. Тип., Пятн., 71. 5 апреля 1929 г.» Рядом приписка фиолетовым карандашом: «Красная новь». Роман был подготовлен к печати в первом советском литературно-художественном журнале, но публикация не состоялась.

Журнал «Сибирские огни» на протяжении всей своей истории открывает не только новых авторов, но и возвращает забытые литературные имена и произведения. Не буду обращаться к далекому прошлому. Достаточно вспомнить, что в 2016 году именно здесь был напечатан роман Вс. В. Иванова «Проспект Ильича», пролежавший в писательском архиве 74 года.

Сейчас настало время для романа «Азия» Н. И. Анова. Написанный в далеком 1928 году в Новосибирске, он собрал все увиденное и пережитое самим автором: жизнь в Семиречье, на юге Казахстана, после Гражданской войны, социалистическое строительство, сложные межсловные и межнациональные отношения, зачастую полные трагических ошибок, создание интернациональных коммун, начало освоения озера Балхаш, бездумное уничтожение знаменитых яблоневых садов, строительство «потемкинских деревень» — показательных социалистических городков...

Н. И. Анов никогда не был сторонним наблюдателем происходящих в стране перемен. Он участвовал в них, давал свою оценку событиям, из которых формировался новый мир, образовавшийся в результате мощнейшего социального слома. В предисловии к трехтомнику писателя, изданному через год после его смерти, казахский литературовед академик Мухамеджан Каратаев писал:

Нельзя сказать, что его путь был легким и триумфальным. Нет, он был трудным, иногда замедленным, но всегда целенаправленным и верным. Его творчеству были чужды спешка, суетливость, пустое рвение, шумные холостые выстрелы, спесивость и претенциозность... Получалось так, что судьба ввергала его в разные сферы жизни, сталкивала с разными людьми и ставила в разные отношения с ними, а он, Анов, вбирал в себя все новые и новые впечатления, осваивая залежи материалов, не спеша их осмысливал, тщательно собирая то, что было необходимо с точки зрения художника (Анов Н. Избранное. Алма-Ата, 1981. — Т. 1, с. 12—13).

Р. С. Особая благодарность сотрудникам журнала «Простор» (Казахстан) за поддержку и помощь в подготовке публикации.

* Казахстанский журналист и писатель.

Николай АНОВ

АЗИЯ

Р о м а н

I.

Паровоз, украшенный кумачовой лентой с лозунгом: «В СССР — помогать строить рабочим социализм!» — подошел к вокзалу.

Комсомольцы запели «Интернационал». Из открытых теплушек выглядывали веселые, довольные лица приехавших из Германии коммунаров. Пожилая немка в очках махала пестрым зонтиком. Белокурая девочка держалась за юбку женщины и старалась просунуть голову под локоть старика, похожего на профессора.

— Товарищи, внимание, — закричал председатель горсовета, ответственный распорядитель по устройству торжественной встречи коммуны.

Теплушки отцепили. Коммунары стали высаживаться и выгружать вещи.

Первую приветственную речь произнес председатель уисполкома¹.

По-русски ему отвечал организатор коммуны Гец. Многие удивились, что Гец прекрасно знает русский язык, но он, улыбаясь, объяснил:

— Я прожил четыре года в плену в России... У нас в коммуне очень много бывших пленных... Есть коммунары, которые дрались под красными знаменами в Сибири с Колчаком...

— Ура! — закричал чей-то неистовый голос в задних рядах, и кто-то высоко подбросил вверх фуражку.

И теперь никто уже не удивлялся, что люди, приехавшие за тысячи верст в Среднюю Азию, хорошо знают «Интернационал».

Эсфирь выступила от имени комсомола. Она говорила по-немецки. Коммунары, особенно коммунарки, долго кричали по-русски — ура, а Гец крепко жал худенькую руку молодой девушки.

Прямо с поезда, пешком, коммунары отправились за двенадцать верст на место, отведенное для построек коммуны. И тут только многие

¹ Уездный исполнительный комитет.

сообразили, что надо было бы подумать о подводах, а не только о знаменах. Для двухсот человек хватило бы шестидесяти подвод.

Эсфирь сказала вслух:

— Это безобразие... Пришли с музыкой, а им пешком идти надо двенадцать верст. Никто не догадался! Свинство!

Ломовые извозчики на станции содрали втридорога. Коммунары наняли двенадцать подвод, погрузили сундуки, посадили детей, а сами пошли пешком.

Немка в очках, та самая, что из вагона приветственно махала пестрым зонтиком, несла в руках цветочный горшок с едва заметным зеленым ростком. Эсфирь поинтересовалась, что это такое.

— Зеленый горошек... У вас в России такого нет. Я посажу его в огороде.

Эсфирь невольно улыбнулась. Энергичная немка ей очень понравилась. Такие люди сумеют создать коммуны!

Гец шел впереди, широко размахивая руками. За плечами у него висело ружье. В высоких сапогах, в мягкой зеленой шляпе и короткой куртке он походил на охотника.

— Вы, конечно, коммунист? — сказала Эсфирь. — Интересно знать, сколько у вас комсомольцев в коммуне. Большая ячейка?

— Нет, я социал-демократ, — ответил Гец. — Но я рабочий-интернационалист. Я за советы...

После Гец рассказал:

— В коммуне большинство беспартийных, потом идут коммунисты; социал-демократов всего двадцать человек. Комсомольцев около десяти... В Германии страшнейшая безработица. Просвета никакого... И вот у безработных возникла мысль создать коммуны и поехать в СССР. Основное ядро коммунаров — бывшие красногвардейцы. Очень много рабочих, занесенных в черные списки за последнюю стачку. У всех коммунаров одно стремление: помочь рабочим СССР строить социализм, а также воспитать своих детей в свободной стране. Сейчас приехал первый эшелон в двести человек. Второй эшелон прибудет через месяц, третий — осенью. Важно своевременно произвести запашку. Надо торопиться, чтобы запасти хлеб на зиму. Иначе коммуне придется туго.

Все это Гец говорил уже не один раз, когда он сталкивался с людьми, интересовавшимися коммуной. Может быть, поэтому у него выработался такой уверенный тон.

Апрельский вечер был сухой и синий. Дорога пылилась после жаркого дня. Коммунары, никогда не бывавшие в СССР, с удивлением смотрели на верблюдов, прокопченные юрты и седых аксакалов в белых чалмах.

Навстречу попалась скрипучая арба. Чернобородый узбек в полосатом синем халате правил лошадей. Рядом с узбеком сидели две женщины, закрытые черной густой паранджой, и смуглолицые детишки. Немки смотрели удивленно на узбечек и сокрушенно кивали головами. Мужчины дружно смеялись и что-то говорили по-немецки.

До места коммунары добрались только к вечеру.

— Вот наша коммуна! — сказал Гец и широким жестом провел в воздухе полукруг. — Здесь мы будем строиться.

Перед глазами коммунаров расстилалась широкая бесконечная степь, перехваченная цепью холмов. В лиловой дали исчезал горизонт. Прошлогодние сорные травы были неприветливы.

— Ночевать здесь, действительно, будет не тесно. Места хватит, — сказал коммунист Фашинг, закуривая трубочку. — Можно было не торопиться.

— Мы приехали сюда работать, Фашинг, — заметила вскользь Эмалия, жена Геца.

Эсфирь стояла рядом с Фашингом. Ей было стыдно. Почему никто не позаботился о коммуне? Как это получилось неорганизованно и несогласованно!

И тут только Эсфирь заметила, что из города, кроме нее и десятника Власьева, никого не было.

А десятник Власьев снял картуз, вытер вспотевший лоб и сказал:

— Ну, я свое дело сделал: привел вас на место. Бывайте здоровы. Покойной ночи.

И он зашагал обратно в город.

Коммунары разгружали подводы. Сундуки складывали пирамидой друг на друга. Женщины распаковывали тюки — разматывали парусину и веревки. Гец показывал, где нужно разбить палатки. И уже через несколько минут задымили приветливые костры. Звонкоголосая молодежь собирала сучья на топливо.

Эсфири было весело. Надо просить укомол², чтобы прикрепили ее в немецкую ячейку для работы. Здесь будет много живого дела.

Спать в палатках было холодно.

Ночью Эсфирь проснулась от пронзительного крика своей соседки. Старая немка кричала:

— Паук, паук...

Когда зажгли огонь, Эсфирь щелчком сшибла мохнатого тарантула с одеяла:

— Это тарантул, — сказала она. — Он может укусить. Вы остерегайтесь. Весной тарантулы опасны.

II.

Ташкентский поезд пришел с опозданием, ночью. Дмитрий натянул на большой плоский чемодан, купленный в Лондоне, зеленый чехол, аккуратно застегнул на нем темные пуговицы и поверх летнего пальто накинул непромокаемый резиновый плащ.

Он был единственный пассажир в мягком вагоне, и проводник, скосив глаза на дорожной чемодан, почтительно предложил:

² Уездный комитет комсомола.

— Я вам могу носильщика послать?..

— Будьте добры...

Белый передник, освещенный зеленоватым вокзальным фонарем, мелькнул перед окнами. Проводник с площадки закричал:

— Носильщик!.. Давай сюды...

— Чичас!..

Дмитрий слышал, как разбитной проводник насмешливо подзадоривал:

— Нэпман едет... Меньше целкового не бери... Дурак будешь...

Усатый носильщик ловко вскинул тяжелый чемодан на плечо:

— Вам на извозчика?

— Да. Но только вначале на телеграф надо зайти...

На открытой платформе горели три фонаря. Широкие венецианские окна вокзала были тускло освещены. Где-то вдали свистели паровозы. Два человека с грохотом катили тележку к багажному вагону. Невыспавшиеся пассажиры с помятыми, зелеными лицами торопились к выходу. Железнодорожники ходили около вагонов с фонарями. Вокзал показался Дмитрию очень маленьким.

— На телеграф отсюда надо. С правой стороны! — почтительно сказал носильщик.

Дмитрий постучал в закрытое окошечко телеграфисту.

— До востребования... Семилетову.

— Как звать?

— Дмитрий Петрович.

— Удостоверение личности!

Семилетов предъявил служебное удостоверение. Телеграфист с заспаным лицом сразу сделался любезнее и протянул две телеграммы:

— Пожалуйста!

Одна телеграмма была от брата:

«Задержусь Берлине выезд экспедиции десятого июня Евгений».

Другая была без подписи:

«Беспокоюсь здоровья Телеграфируй».

Дмитрий знал, что здоровьем его интересуется Елена, и решил не отвечать. Телеграмма же брата поставила в тупик. Он рассчитывал присоединиться к экспедиции брата на Балхаш, которая должна была выехать из Илийской 15 мая. Чтобы пожить в родном городе у отца, Дмитрий решил приехать за месяц до отправки экспедиции. Теперь ему предстояло прогостить вместо одного месяца почти два.

«Ну что же, не ехать обратно в Москву...»

Он кивнул носильщику и сказал:

— Давайте на извозчика... Мне на автобусную станцию надо...

Носильщик нашел арбакаша и примостил чемодан на козлы.

— Бывайте здоровы!

Дмитрий вспомнил проводника, усмехнулся и сунул носильщику рублевую бумажку.

— Премного благодарны!

Киргиз-арбакеш щелкнул кнутом и, обернувшись, весело сказал:

— На автобус надо?.. Иы... Один счет едим...

Начинало светать. Арбакеш вез быстро и обгонял попадавшиеся повозки. Дорога была пыльная и неровная. Дмитрий держался за края тележки, чтобы не вылететь.

В городе, прямые, как свечки, тянулись к небу пирамидальные тополя. Маленькие домики тонули в зелени карагача. Кое-где краснела над крыльцом вывеска учреждения. Город походил на казачью станицу.

Дмитрий стал вспоминать знакомые улицы. Здесь он в молодости бывал часто. Последний раз приезжал перед войной, в двенадцатом году... Тогда тополя были значительно ниже.

— Приехали! — сказал арбакеш-киргиз, натягивая вожжи.

Дмитрий расплатился и прошел в калитку.

— Здесь автолиния?

— Здесь. Вот контора... Заходите!

В тесной комнате на полу и на табуретках сидели пассажиры, ожидавшие отхода автобуса. Кое-кто дремал. Толстый казах, положив под голову пухлый желтый портфель, громко храпел под столом.

«Надо было бы в гостиницу проехать», — досадливо подумал Дмитрий, узнав, что автобус отойдет только в двенадцать часов дня. Он поставил свой чемодан в свободный угол и сел на него.

— Далеко изволите ехать, гражданин? — любопытствовал старик в кожаной фуражке.

Дмитрий сказал.

— Значит, попутчики. В одну сторону путь держим.

Старик оказался словоохотливым. Он сообщил Дмитрию, что на автолинии есть хорошая комната специально для приезжающих («Помилуйте, столичный город, как же иначе!»). Но эту комнату сейчас занял начальник автолинии, приехавший на два дня в командировку с супругой («Ну, конечно, семейное дело аккуратное, требуется отдельная комната, а за номер платить не хочется. Режим экономии-с!»). Благодаря этому пассажирам приходится мучиться в конторе, а в общежитии имеются кровати...

— Конечно, пассажир не свинья, все стерпит! — измывался ехидно старичок. — Зато «они» живут хорошо... Им что!

— Это кто же «они»? — усмехнулся Дмитрий.

— Известно кто!.. Подумаешь, сами не знаете...

Молодая женщина со строгим, бледным лицом и круглыми бровями ввязалась в разговор:

— А может быть, у начальника жена больная... Вы почему знаете?..

— Во-во... Сейчас он ее налечивает... Держись только... Хи-хи...

Женщина отвернулась. Дмитрию стало скучно.

— А вы запишите в жалобную книгу, — посоветовал он старичку. — Лучше, чем гадости говорить.

— Премного благодарны... Знаем их жалобы... У меня торговое заведение. Я человек спокойный и в трубу лететь не желаю раньше времени.

Старичок быстро исчез. Дмитрий пошел проверить правильность его слов. Действительно, ехидный старичок не врал. Общежитие было занято начальником автолинии. «Совсем гоголевские времена!» — уныло подумал Дмитрий.

Молодая женщина, заступившаяся за начальника автолинии, предложила ему:

— Вы обопритесь о мой узел — удобнее сидеть будет...

— Не беспокойтесь, пожалуйста...

Пассажиры дремали. Время тянулось томительно скучно.

В десятом часу пришел кассир и начал продавать билеты. Вместо легкового автомобиля отправлялся грузовик. Накануне вечером легковую машину занял председатель губисполкома. Кому не нравилось ехать в грузовике — мог ждать до завтра. Кассир заявил об этом подчеркнуто грубым тоном.

Дмитрий решил ехать на грузовике. Он заплатил за билет и пошел бродить по городу. Вернулся он как раз к посадке. Грузовик вмещал «по закону» двадцать четыре человека, а продано было тридцать два билета.

— У вас машина перегружена, — заметил Дмитрий шоферу, когда стали увязывать багаж.

— Ничего, доедем... Трехтонка...

Дмитрию досталось место рядом с молодой женщиной, у которой было строгое лицо. Она приветливо улыбнулась ему и потеснилась.

— Оказывается, мы с вами попутчики! — сказал Дмитрий.

— Как видите...

Ехидный старичок пристроился сидеть рядом с шофером. Он предусмотрительно надел очки от ветра и пыли и жевал копченую колбасу.

III.

Грузовик пыхтел и трясся по пыльным улицам, усаженным пирамидальными тополями. За городом тополя исчезли, их заменили кусты. Автомобиль выехал в степь. Сзади остались волнистые горы, покрытые снегом. Город терялся в густой зелени деревьев.

Дмитрий закрыл глаза. Ему было одновременно и приятно, и грустно думать, что завтра он приедет в родной город, в котором не был почти четырнадцать лет. Завтра он увидит старика отца... Любопытная будет встреча. Жаль, что Евгений предупредил заранее о приезде...

Шофер неистово гудел рожком. Напуганные бараны бежали подалее от автомобиля, смешно задирая задние ноги. Нередко казах-пастух брался обгонять машину. Тогда пассажиры, высовывая головы из автомобиля, внимательно следили за лошадьёю и подзадоривали всадника:

— Джаксы... Джаксы... Давай, давай, давай... Еще джаксы...

Лошадь неслась сумасшедшим галопом, а бронзовый пастух весело скалил блестящие, как фарфор, зубы.

Дорога была плохая. А когда на пути попался ветхий мостик или старый, заброшенный арык, шофер заставлял публику вылезать из машины. Пассажиры вылезали неохотно. Особенно норовил остаться в автомобиле пожилой казах необычайной полноты с коричневым портфелем под мышкой. В нем сразу заприметили ответработника, и помощник шофера, молодой вихрастый парнишка, бесцеремонно командовал:

— Эй, Азия семипудовая, не задерживайся!..

У полного казаха было бесстрастное лицо. Он передавал свой портфель, после с трудом перекидывал за перегородку короткие ноги и, тяжело отдуваясь, осторожно спускался на землю. С лица его струился обильный пот, жирные, обвислые щеки смешно тряслись.

Молодая женщина со строгим лицом посочувствовала:

— Он, должно быть, больной... Зачем вы его тревожите? Пусть бы уж оставался.

Ехидный старичок загорелся злостью:

— А я здоровый? У меня ревматизм в ногах... Нет уж, выходить — так всем...

В грузовике ехали два молодых разбитных спекулянта. Когда приходилось высаживаться из машины, они выскакивали первыми и наскоро пили «семиречку», закусывая охотничьими сосисками.

— Если с такими остановками поедем, так завтра никак домой не попадем, — сказал ехидный старичок.

Благоразумный голос отозвался со стороны:

— По такой дороге и на такой машине мудрено скорее ехать!

Высокий блондин в роговых очках предложил:

— Хотите, я вас научу, как можно ехать на любой машине по самой скверной дороге с максимальной скоростью?

— Вы что — шофер?

— Нет. Просто человек практики.

— Ну?

— Надо шоферу платить хорошо. А еще лучше — поить водкой.

Ехидный старичок недовольно фыркнул. Человек практики отошел в сторону, а два спекулянта, переглянувшись между собой, полезли за новой бутылкой в грузовик. После один из них отозвал помощника шофера в сторону и стал о чем-то совещаться. Дмитрий заметил, что спекулянт передал помощнику полбутылки с «семиречкой». Работа после этого пошла значительно успешнее. Мотор быстро наладили, и грузовик снова запыхал по дороге.

Теперь ехали значительно быстрее. Завидев мостик или арык, помощник оборачивался к пассажирам и отчаянным голосом кричал:

— Держи-ись!

Грузовик перескакивал арык, пассажиры стучались о перегородки, но все оставались довольны, что не надо было вылезать из машины. Человек практики торжествующе улыбался и говорил спекулянтам:

— Ну что, разве я не прав?.. Испытанный способ! Проверен на всех дорогах.

Женщина со строгим лицом сказала Дмитрию:

— А вы не думаете, что они нас так перекувырнуть могут?

— Вполне возможно.

— Надо предупредить, чтобы шофер ехал осторожнее, — произнес с легким немецким акцентом пассажир, сидевший против Дмитрия. — Русский человек не умеет любить машину. Это плохо. С машиной надо обращаться внимательно, как с любимой женщиной.

Дмитрий невольно улыбнулся. У соседки дрогнули уголки губ. Но шоферу никто не сказал ни слова.

Разговорились. Пассажир с акцентом оказался немцем. Он приехал с коммуной из Германии. Сейчас коммуна живет в палатках. Надо строить бараки, а лесного материалу не хватает. Коммунары поручили ему хлопотать в губисполкоме, чтобы оттуда нажали на уезд. Лес есть, но он забронирован, а единственная в городе лесопилка ремонтируется... Коммунары берутся отремонтировать ее сами в два раза скорее, но с кем-то надо предварительно договориться... Вот его и послали толкать это дело. Он коммунист, его фамилия Фашинг, он был в плену в России...

— Почему вы решили ехать обязательно в Семиречье?

— Здесь прекрасная земля. Нигде нет такой земли и такого климата... Потом — мы нарочно выбрали Азию... В Азии должен быть коммунизм.

Немец широко улыбался, показывая белые, ровные зубы.

«Романтика», — подумал Дмитрий и неожиданно почувствовал симпатию к немецкому коммунару.

Грузовик мчался с предельной скоростью — сорок верст в час. Первым струсил ехидный старичок. Он сидел с помощником рядом и видел, как тот передавал бутылку шоферу — «глотнуть из горлышка». Старичок мигал спекулянтам и делал знаки рукой не нагонять скорость. Спекулянты обратились за советом к человеку практики. Тот деловито нахмурил брови и успокоил:

— Ничего, дорога ровная...

Спекулянты отправили шоферу еще полбутылки.

Дмитрий прижался к стенке перегородки и только теперь подумал, что можно было бы из Арыси по телеграфу заказать легковую машину. Зачем он этого не сделал? Впрочем, теперь все равно. Надо быть проще.

Он закрыл глаза и постарался задремать. Сильный удар в спину заставил его встрепенуться, и он почувствовал невыносимую, острую боль в ноге. Мотор не работал. Автомобиль лежал на боку, а пассажиры с перекошенными зелеными лицами старались выбраться из-под вещей. Помощник шофера ругался крепкими, матерными словами и кричал:

— Все вылезай... До единого...

Дмитрий понял, что его ногу придавило сундуком. Он не мог подняться сам. А вещи падали на сундук, и сундук своей тяжестью грозил переломить ногу.



— Тише вы, ногу ломаете!..

Пассажиры не обращали внимания.

— Помогите, товарищи, ногу придавило...

Дмитрий просил помощи, но никто не хотел слушать. Каждый думал о себе. Выбравшиеся из грузовика ощупывали синяки и ушибы. Дмитрий застонал от боли. Фашинг быстро вскочил в машину и принялся стаскивать вещи с злополучного сундука. Дмитрий с трудом высвободил придавленную ногу. Запыхавшись, прибежала испуганная соседка по автомобилю.

— Что с вами, голубчик?.. Неужели ногу сломали?..

— Да нет как будто бы, нога целая... Ушиб сильно...

Дмитрий выбрался из грузовика. Ступать на ногу было больно. Он захромал.

— Надо йодом смазать, — решительно сказала женщина. — У меня, кстати, есть с собой. Давайте я вам смажу.

Автомобиль лежал на боку. Шофер с бледным лицом и трясущейся челюстью молча стоял в недоумении. От него пахло водкой, и, словно желая скрыть этот запах, он прикрывал рот рукой. Два спекулянта предусмотрительно держались в стороне, а «человек практики», разбивший во время аварии очки, беспомощно сидел в отдалении. Он был сильно близорук и без стекол ничего не видел.

У Дмитрия страшно ныла придавленная нога. Он чувствовал, как она распухает, и от смазывания йодом не отказался. Женщина достала коричневый пузырек.

— Ну, протяните ногу...

Она ловко стала растирать ушибленное место, и тут только Дмитрий заметил, что у женщины под круглыми бровями были большие добрые глаза цвета южного неба.

— Пострадал кто из пассажиров? Не знаете? Я как будто вздремнул и катастрофы не заметил.

— Нет, кажется, все благополучно отделались.

— А вы не ушиблись?

— Нисколько!

Дмитрию показалось, что после йода боль утихла. Он надел сапог и, прихрамывая, пошел к автомобилю.

Вечер наступил быстро. На небе вспыхивали редкие, бледные звезды. О дальнейшей поездке думать было нечего. Вдобавок у автомобиля разбились фонари.

— Тут аул недалеко, — заявил человек практики, — а там караван-сарай есть. Я думаю, лучше туда направиться.

Никто не отозвался. Два спекулянта молча забрали свои вещи и потихоньку двинулись по дороге. Помощник шофера вертелся около машины и ощупывал части мотора.

— Ну что же, давайте на ночлег располагаться, — предложил Дмитрий женщине.

— Давайте!

— Вы мне все-таки скажите, как вас звать можно?

— Анна Васильевна. А фамилия моя Нерамова.

Дмитрий расстелил одеяло и достал резиновую подушку. Чемодан он поставил под голову. Накрыться решил пальто. Анна Васильевна распахнула свой портплед. Легли они рядом.

— Вы из каких краев едете?

— Из Ташкента. Домой возвращаюсь, — Анна Васильевна зевнула. — В вагоне почти не спала. Спать хочется.

Дмитрий подумал о Елене и украдкой взглянул на соседку.

* * *

Дмитрий проснулся от пронизывающего холода. Анна Васильевна спала рядом, закутавшись с головой в ватное одеяло. Он набросил на нее свой плащ, а сам пошел к автомобилю. Пассажиры спали на траве. Бодрствовал один помощник шофера.

— У вас, гражданин, закурить не найдется?

— Я не курю, — ответил Дмитрий и, оглядываясь по сторонам, спросил: — А куда шофер делся?

— Пошел на караван-сарай. Оттуда отправит верхового за машиной. Утром уедем.

Дмитрий вернулся на старое место. Анна Васильевна вздохнула:

— Холодно!

Он лег и совершенно бессознательно придвинулся к женщине. Анна Васильевна не отодвинулась, а просто шепнула:

— Вы знаете, так теплее.

У нее были мягкие, ласковые руки. Дмитрий почувствовал нежность к этой незнакомой чужой женщине. Он погладил ее пушистые волосы и уверенно сказал:

— Вы очень хорошая, Анна Васильевна...

— Вот чудак...

Через час уже Дмитрий знал, что Анна Васильевна — дочь бывшего губернатора от первой разведенной жены. Губернатор во время революции сбежал со второй женой, а первая осталась с детьми в городе. Сейчас бывшая губернаторша держит мастерскую дамских нарядов. Анна Васильевна старшая дочь. Она уже замужем шесть лет, но детей нет. Муж ее — техник, служит в горкомхозе. Она учительствует в школе второй ступени.

— Не люблю я мужа, — сурово сказала Анна Васильевна. — Он очень хороший, порядочный человек, но... не люблю.

За откровенность пришлось платить откровенностью. Дмитрий рассказал, что он сын садовода Семилетова («Ах, Семилетова. Я его знаю», — воскликнула Анна Васильевна). Четырнадцать лет он не был дома. Сейчас едет к отцу, потом отправится с братом на Балхаш. Родной город

ему хочется посмотреть. Он — старый большевик, работает постоянно в Москве.

— У вас есть семья?

— Почти.

— Что значит почти?

С ним живет актриса. Она ему изменяет. Собирается уйти.

— У вас тоже неудачная личная жизнь?

— Хвастать нечем.

Дмитрий редко кому так подробно рассказывал свою жизнь. Почти никому. Он даже сам удивился, почему на него напала такая неожиданная откровенность.

— Вы долго пробудете у отца?

— Месяц!

— Заходите к нам. Будем знакомы, — предложила Анна Васильевна.

— Хорошо!

— Впрочем, какая я глупая, — спохватилась она сразу же. — Ведь я для вас чуждый элемент.

Дмитрий подумал и ответил:

— Вы — советская учительница. Какой же вы чуждый элемент?..

— Я — дочь губернатора.

— От разведенной губернаторши, которая перешивает юбки женам наших ответработников...

Она ласково погладила его волосы и крепко пожала руку.

Вдали загудел автомобильный рожок. Оба стали прислушиваться.

— Никак за нами? — удивился Дмитрий. Действительно, по степи шел автомобиль. Яркие фонари приближались с необычайной быстротой. Помощник загудел рожком. Пассажиры начали просыпаться. Анна Васильевна сказала:

— Давайте и мы складываться, Дмитрий Петрович!

Дмитрий помог ей увязать портплед. Через несколько минут подкатил грузовик и забрал всех пассажиров. Анна Васильевна сидела рядом с Дмитрием и держала его под руку. Ей было холодно, и она незаметно прижималась к своему соседу.

Рассветало быстро. На востоке цвели малиновые облака. В небе гасли последние звезды. Степь дышала утренней прохладой и росой.

IV.

Когда Эсфирь вернулась домой от коммунаров, около ворот она встретила поджидавшего Ису.

— Ты что так рано? — удивилась Эсфирь.

— Большое дело есть, — сказал Иса. — Разговаривать надо.

Они сели на низкую скамеечку около арыка, и Иса принялся рассказывать.

Ахмет Байдильдин покупает в жены Зейнаб. Он платит восемь коров калыму. Отец и мать Зейнаб от радости готовы плясать. Но Зейнаб только тринадцать лет, а Ахмет Байдильдин старик и вдобавок болен мирезом³.

— Я сейчас же пойду в женотдел и к прокурору! — возмущенно закричала Эсфирь.

— Смотри, меня не выдавай!

Девушка кивнула головой, а Иса, пугливо оглядываясь по сторонам, пошел по улице.

Эсфирь отправилась в укомол. Ответсекретарь слушал рассказ Эсфири нехотя. Он уже привык к таким делам. Ну, кто не знает, что калым сохранился в восточных республиках? Подумаешь, открыла Америку! Надо передать в прокуратуру. Это дело по существу женотдельское.

«Товарищ Глушков, ты бюрократ!» — хотела закричать Эсфирь.

Но Глушков был занят и не стал разговаривать.

Эсфирь недовольно хлопнула дверь и выскочила на улицу. В женотделе приняли Эсфирь участливее. Молодая татарка записывала имена, которые называла девушка.

На ломаном русском языке она сказала на прощанье:

— Одним декретом калым трудно отменить. Много бороться надо. Очень много.

— Значит, все будет сделано?

— Что можем — сделаем, — кивнула головой татарка.

...А вечером, в тот же день, гонец из города прискакал в Карасунский кишлак. Он остановил взмыленного коня у дома Нурмухамеда Нурбаева.

— Заходи! — сказал хозяин и провел гостя в чистую половину, устланную кошмами.

Гонец рассказывал:

— Комсомолец Иса сегодня утром был в городе. Он жаловался, что Ахмет Байдильдин купил Зейнаб за восемь коров. Еврейка Эсфирь ходила в женотдел. Уже заведено дело в прокуратуре. Завтра может приехать милиция.

— Пускай приезжает, — спокойно сказал Нурбаев, но шея его густо покраснела.

Гонец сидел недолго. Когда он уехал, Нурбаев передел халат и пошел на квартиру к председателю совета. Скоро туда пришел Ахмет Байдильдин и отец Зейнаб — Малдажан Досов.

Поджав под себя ноги, гости и хозяин пили чай и с уважением слушали, что говорил Нурбаев. Мудрая голова у Нурбаева! В полной неприкосновенности сохранил он свои богатства от советской власти. И сейчас ведет крупную торговлю с Ферганой, сбывая туда тысячи голов скота — своего и чужого. Ни одно выгодное дело в кишлаке не обходится без Нурбаева. Даже на покупке Зейнаб он ухитрился заработать с Ахмета Байдильдина десять червонцев. В городе у него сидят свои люди.

³ Мирез — сифилис (прим. автора).

— Завтра приедет милиция. Надо сегодня ночью увезти Зейнаб в аул, — посоветовал Нурбаев.

Ахмет Байдильдин закивал головой.

— Ису бить надо, — еще увереннее продолжал Нурбаев. — Отец бить не станет, я сам бить буду.

Председатель совета почтительно затряс жидкой седой бородкой.

После разговор перешел на коммуны. Приехало двести немцев, и им отвели всю Чаласскую долину — тысячу десятин лучшей земли. Головной арык теперь, конечно, отойдет к немцам. И так воды не хватает, а тут еще появилась коммуна. Кто ее выдумал? Проклятые коммунисты, от них не станет скоро житья даже в степи. Дали казахам республику, ну и надо гнать русских, зачем еще привезли немцев?..

Нурбаев горячился и кричал на председателя. Председатель виновато теребил жидкую седую бородку и мигал трахомными глазами.

Аксакалы разошлись поздно вечером.

V.

Имя Петра Трофимовича Семилетова известно всем семиреченским садоводам. Это он первый прославил знаменитый верненский апорт по всему миру. Это он засадил пол-Семиречья фруктовыми садами. Первые березки выросли в его питомниках и отсюда привились по всему краю. Сейчас в городе по улицам стоят березовые деревья в два обхвата шириной, а за городом белеют березовые рощи. Но не все знают, что это плоды золотых рук Петра Трофимовича Семилетова, пришедшего босиком в Семиречье с первой партией переселенцев.

Звали в те давние времена Петра Трофимыча просто Петькой. Было ему семь лет, глаза у него были синие, волосы льняные, курчавые. Не сладко жилось тогда Петьке: был он сирота, а сиротский хлеб, известно, не сладок. Ладил из него приемный отец сделать столяра, а вышел плохой плотник. Совсем не лежало Петькино сердце к плотничьему ремеслу, и ушел он с горя к ветеринарному врачу в сторожа, караулить яблоки.

Здесь, у ветеринара, вышел Петька на правильную дорогу. Ветеринар любил выводить яблоки да груши, а еще того больше — любил баловаться с девками. И вышло так: пришлось Петьке жениться на казачке из Малой станицы, в приданое отрезал ветеринар две десятины сада, чтобы покрыть невестин изьян. Невзлюбил Петька молодую жену — бил ее нещадно, а утеху находил для сердца в приобретенном саде. Долго не выдержала жена золотых Петькиных рук — через год хоронить пришлось. Ветеринар обмолвился крепким словом и по пути заметил:

— Зверь ты, Петька, а не человек!

Когда Петька женился вторично на молоканке⁴ (шел ему двадцать первый год), стали люди звать его Петром, а когда принялся он разде-

⁴ Молокане — последователи христианского религиозного движения, отрицающего иконы, церковную иерархию, большинство обрядов; из-за гонений селились на окраинах Российской империи.

львать соседний участок под сад, начали величать Петром Трофимычем. Была тут еще одна причина. Страшно зол был он на ветеринара, и не хотелось ему идти на поклон за советом. А сад вести — дело хитрое и тонкое. Ветеринар — человек ученый, чего не знает — в книжке прочесть может. И сел Петр Семилетов за букварь, чтобы научиться читать советы по садоводству. Грамоту одолел в одну зиму — соседи удивились и прониклись уважением.

С тех пор из Петербурга по почте стали приходиться на имя Петра Семилетова книжки, журналы, каталоги. По-новому стал Семилетов рассаживать молодые яблони, по-новому ухаживать за деревьями. Результаты сказались быстро. Плоды пошли крупнее, и обильнее стали урожаи. Научился Семилетов и разные фокусы с фруктом проделывать. Яблоки у него росли на груше, груши — на яблоне.

С завистью смотрел ветеринар на успехи Семилетова. С тех пор как умерла у Петра первая жена, считал он себя обманутым и жалел отрезанные две десятины сада. А когда вырастил Семилетов новый, неизвестный доселе сорт яблок, ветеринар заболел от досады и вскоре же умер. Двенадцать десятин сада приобрел тогда Семилетов за бесценок у вдовы. Откуда деньги взял — никто сказать не мог. И прошел темный слух, что убил и ограбил Петр Семилетов киргиза в приилийской степи, куда ездил смотреть новые земли. Этому слуху верили — дешевой тогда считалась киргизская жизнь.

Крепкой жизнью зажил Петр Трофимыч. Сады у него — не сады, а радость великая. Новые сорта яблок стал выращивать, а апорт такой получил, что только ахнули соседи: яблоко весило без мала полтора фунта. В те годы губернатор для поощрения садоводов решил устроить выставку плодоводства. Петр Трофимыч получил на ней первую медаль. Сам губернатор по плечу похлопал первого семиреченского садовода:

— Старайся, братец, старайся на пользу отечества.

Петр Трофимыч постарался: засадил губернаторский сад дюшесом. Дюшес вырос на славу. А Петра Трофимыча тоже не обидели. Шел у него давний спор с киргизским аулом насчет участка земли. Больно уж ладно подходил участок к владениям Петра Трофимыча. Жаль было упустить кусок! Эх, питомники здесь, питомники будут примечательные!.. И вынес свое мудрое решение губернатор:

— Принимая во внимание полезную деятельность садовода Семилетова, отдать землю последнему в вечное пользование!

Киргизы откочевали в горы, а на другой год зеленела свежая рассада на киргизской земле. Вот отсюда, с этого участка, и пошли тысячами фруктовые деревья, что растут сейчас у семиреченцев в садах.

Вторую медаль получил Петр Трофимыч в Ташкенте, третью — в Харькове, потом — в Москве, в Петербурге. Шесть раз выставял свой апорт за границей. Один раз самолично ездил с фруктами в Париж. (После рассказывал: город большой, а бабы хлипкие!)

Когда занялся Петр Трофимыч искусственным разведением березы в Семиреченском крае, напечатали о нем в газете статью. И опять: губер-

натор приезжал на заимку с губернаторшей, за руку поздоровался. Водил почетных гостей Петр Трофимыч по саду, показывал молодые саженцы в питомниках. Жаловался, что сбывать яблоки некуда.

— Апортом свиной кормим, ваше превосходительство. Выходу плодам нет никакого.

Губернатор затею с березой одобрил. Сам предложил:

— Если денег надо, помогу...

Какой же дурак от денег откажется. Взял Петр Трофимыч тысячу, а после, в благодарность, пришлось молодые березки в городе сажать. Сейчас улицы в березах тонут, а ведь затея эта — Петра Трофимыча Семилетова. Не было до него в крае ни одного березового дерева. Самолично привез рассаду из Самарской губернии.

Кипит весной и осенью работа в садах Петра Трофимыча. Сотни киргиз-рабочих, не разгибая спины, трудятся на пользу первого садовода в крае. Зоркий глаз хозяина всегда увидит ленивого, а тяжелая рука бесцеремонно наведет порядок всюду, где страдают хозяйские интересы. Не любят киргизы Семилетова — работать заставляет слишком много, — но валят к нему валом каждую весну и осень. Больше всех платит Семилетов и лучше всех кормит. И еще слава идет про Семилетова: ни одну смазливую бабенку не пропустит первый садовод мимо своих рук, если попадет она работать к нему в сад. Недаром и прозвище дали ему бабы: «яблочный кобель».

Жена ребятишек носила часто, но не жили дети долго. Уже хотел Семилетов брат при живой жене третью:

— Мне наследник нужен. Кому сады оставлять, — говорил он по ночам покорной жене.

И только два сына выжили на радость матери.

Сыновья были крепкие, здоровые; один в мать — Дмитрий, другой в отца — Евгений. Обоих крестила губернаторша. Она же и имена придумала.

Большая радость была Петру Трофимычу от сыновей. В день рождения Дмитрия (старшего) засадил он на счастье сына десятину кандиль-синапом. Яблоко это тогда только в моду входило, выписал его Петр Трофимыч из Крыма. А когда на следующий год родился Евгений, новую десятину посадил на счастье второго сына. И стали эти две десятины любимыми для отца. И потому, что яблоко было новым, а главное — хотелось большого счастья двум сыновьям.

Сыновья росли, словно яблоки. Вот были они младенцами, мать грудью кормила, а вот уже и по деревьям стали лазать. Эх, жизнь, жизнь!.. Зачем ты так скоро посеребрила беспокойные кудри Петра Трофимыча!..

Однажды увидел отец, как Дмитрий обнимал в кустах молодую работницу Фиску. И Петр Трофимыч гневно хрустнул пальцами. За Фиской он охотился другую неделю и не думал в сыне найти соперника. Крякнул Петр Трофимыч от досады и вернулся домой, а утром неожиданно заметил у сына на верхней губе пушок.

— Митька, да никак у тебя усы растут?!

Мать ответила за сына недовольно:

— Семнадцатый год... Чего же мудреного?..

И верно: шел Дмитрию семнадцатый год, и уже кончал он гимназию.

В этот день Петр Трофимыч разыскал в саду Фиску. Собирала она яблоки в корзину и носила в кладовку. Петр Трофимыч задержал девку за локоть.

— Ну-ка, девушка, стой...

Фиска заодно закинула голову:

— Некогда!

— Сын послал, — сказал Петр Трофимыч.

Фиска густо покраснела и опустила голову.

— Что ж ты парня-то мучаешь, девушка?.. Парень-то он хороший... А дело ваше молодое... — И, понизив голос, обронил: — Матери корову куплю... Вот Христос...

Фиска побелела и чуть не заплакала:

— Петр Трофимыч...

— Дура, парень-то какой... Ну, приходи вечером... Слышь... Прямо на мезонин. Я и двери закрывать не буду.

Работница убежала с корзиной, а Петр Трофимыч пошел смотреть, как собирали яблоки.

Вечером к Дмитрию пришла Фиска...

...На другой год Петр Трофимыч отправлял сыновей в Петербург. Евгений поступил в институт инженеров путей сообщения, а Дмитрий в университет. Фиска вышла сразу замуж за кузнеца Аминова. Петр Трофимыч сдержал слово: он подарил матери редкую ведерницу...

Каждое лето приезжал Евгений в гости к отцу, и через брата Дмитрий узнавал о Фискиной жизни. Муж попался хороший, не бьет. Родился у Фиски сын. Кузнец души в нем не чает. Только Фиска похудела с тех пор, как замуж вышла.

Один раз только Дмитрий был у отца — в двенадцатом году. А после пропал. Нехорошие слухи ходили про Дмитрия: сплетничали — в тюрьме сидел; а за что — неизвестно. Приезжал Евгений, смотрел в сторону и говорил об этом неохотно:

— За дурость свою сидел.

Так и не добился ничего путного отец. А тут война началась. Забрали двух сыновей в школу прапорщиков. Прислал Евгений карточку (старик долго любовался погонами!), а о Дмитрии — ни слуху ни духу.

В шестнадцатом году в Семиречье своя война загремела. Начали киргиз брать в солдаты, взбунтовались киргизы, убили кого-то под горячую руку. Прошла тогда через край карательная экспедиция. Вешали киргиз на яблонях, в землю закапывали, расстреливали. Киргизы угоняли у русских мужиков скотину, воровали баб и девок. В тот год пропала без вести Верочка Сосницкая, дочь врача, — увезли ее киргизы в степь.



Русские мужики охотно помогали усмирять повстанцев (бей Азию!). А после усмирения тысячи киргиз откочевали в Китай. Новые пастбища отошли к старожилам. Петр Трофимыч прихватил на Иссык-Куле новый участок земли. Только мало пользы было от этого участка. Через полгода, в феврале, на губернаторском доме гимназисты повесили красный флаг. Петр Трофимыч, узнавши, что царя сменили, пошел в банк вынимать деньги. Капиталы были большие: накопил садовод Семилетов ни много ни мало — целых триста тысяч! Двенадцать четвертей набил старик царскими деньгами и закопал бутылки в укромное место.

Осенью к Петру Трофимычу пришли красногвардейцы искать оружие. Оружие не нашли, а забрали два текинских ковра. Фискин муж, кузнец Аминов, наставил Петру Трофимычу штык в живот и сказал, пораженный:

— Экое пузо, буржуй, на яблоках отрастил... Штык не пролазит...

После обыска Петр Трофимыч сжег аттестаты с выставок, висевшие на стене. Оставил на случай один с подписью великого князя Николая Михайловича, но запрятал его подальше от постороннего глаза.

Главная беда была впереди: отняли у Петра Трофимыча питомники и сад. Оставили всего-навсего четыре десятины. Сады передали киргизам, питомники отошли в земельный отдел.

Осенью киргизы не успели снять урожай. Петр Трофимыч бегал в исполком жаловаться:

— Товарищи, взяли, так уж смотрите сами... Сучья ломаются... Опять же падали сколько... непорядок... Будьте исправны охранять как следует.

В исполкоме председатель — матрос со змеями на обнаженных руках — заинтересовался:

— А вам, старичок, собственно говоря, какое дело?

— Да я ж хозяин настоящий! — закричал Петр Трофимыч и чуть не заплакал. — Моими руками, прости господи, все сажено!

— Хозяин! Ишь ты какой Николай-чудотворец вылупился! — весело загоготал матрос и сказал деловым тоном: — Ничего, чудотворец, теперь это уже не твое, а всех трудящихся. Будь покоен, новые хозяева за всем доглядят.

Петр Трофимыч от обиды и насмешек едва доплелся до дому. Зимой новые хозяева пилили яблони на дрова и возили в город продавать. Садовод Семилетов крутился бешеным зверем по комнатам и грозил кулаками в окна.

— Азия треклятая! Мало я вам, сволочам, березы насадил... Грабители!..

Когда рубили кандиль-синап на заветном участке сыновей, Семилетов затыкал уши, чтобы не слышать сухого стука топоров. За одну зиму у него окончательно поседел волосы и согнулась спина...

...Сын Евгений вернулся к отцу в двадцатом году, прожил месяц и уехал в Москву. Второй раз он приехал через два года и остановился всего на неделю.

— Еду на Или выяснять судоходность реки.

— Что же, нешто товарищи на Балхаш пятки смазывать собираются? — насмешливо спросил отец.

С тех пор Евгений ежегодно приезжал на несколько дней. В Илийской станице у него стояла моторка, на которой он совершал поездки по Или. Работа была трудная, как будто бы за нее Евгению ничего не платили, и почему он ездил — Петр Трофимыч не мог толком понять.

— Да ты, поди, большевик? — допытывался вначале отец.

— Ну, вот еще, сказал!..

О Дмитрие отец узнал через Евгения. Сын — большой комиссар в Москве, много работает, страшно занят.

— Да ты видел его?

— Один раз, в двадцать третьем году.

Старику было обидно, что Дмитрий забыл об отце. Мог бы охранную бумажку прислать, чтобы товарищи не губили садоводства. Не чужие сады, кажется. Собственные.

Евгений понял отцовское желание повидать сына и написал письмо брату. Тот ответил очень быстро.

«Это лето хочу отдохнуть, — писал Дмитрий. — Получу отпуск месяца на три-четыре (я ведь десять лет ни разу не отдыхал и не лечился). Знаю, ты едешь с экспедицией на Балхаш. Будет у меня к тебе просьба: возьми меня с собой. Поеду с удовольствием. Заодно проживу месяц у отца».

После этого письма братья обменивались телеграммами, устанавливая день встречи. В апреле Евгений прислал отцу телеграмму, что придет вместе с братом.

VI.

На станции Дмитрий распростился с Анной Васильевной и взял арбакеша, чтобы ехать к отцу.

— Садоводство Семилетова? Знаешь?

— В горах... Знаю... Как не знать Семилетова...

Арбакеш был казах и широко улыбался.

— Поедем, быстро довезем.

Дмитрий отдал чемодан на козлы, а сам принялся с любопытством разглядывать знакомые улицы родного города. Раньше они как будто были шире, а дома — выше. Пыли в городе так же много, как и прежде. По-прежнему бродят всюду грязные свиньи и куры. Вот только вместо старой уличной вывески висит новая: «Советский переулок» (раньше он назывался Глухим). Новых построек почти нет. Палисадники пришли в ветхость. В полицейском участке сейчас разместились милиция, в помещении казенной винной лавки — распределитель госспирта. Двое рабочих, вымазанных известкой, пили водку на улице, как и в былые времена. На покосившемся одноэтажном доме Татаринова висела громадная вывеска

«Дворец труда», а сам дворец был меньше вывески. Но в арыках журчала прозрачная вода, пирамидальные тополя приветливо шелестели блестящей листвой, каждый домик был окружен густым садом, — и Дмитрий вдруг почувствовал неизъяснимую радость, что вновь приехал в родной город, где прошло его детство. Он не мог оторвать взгляда от снежных вершин гор — таких далеких и одновременно близких. Вон Талгарский пик, на который, будучи гимназистом, он забирался вместе с Евгением и где чуть не погиб в ледниках... Чудесная, изумительная вещь — детство!

Проехали Головной арык. Город остался позади. Сейчас, за степью, пойдут яблоневые сады Веригиных, Петровых, Макушенковых... А вон за тем увалом семилетовские питомники. А еще дальше — отцовские владения... Говорят, разорили старика. От семидесяти десятин оставили только четыре...

— А почему садов меньше стало? — спросил Дмитрий арбакеша.

Тот ответил не сразу.

— Дурной народ рубил... Наш казах рубил... Дрова продавал...

— Что же вы, черти, наделали... Ведь это же народное!..

— А я почем знаю?.. Исполком плохо глядел!

Дмитрий неодобрительно покачал головой. Он вспомнил, как много отец вложил трудов в питомники, чтобы помочь людям вырастить фруктовые сады.

Подъехали к семилетовскому дому. У ворот залаял громадный цепной пес. Дмитрий знал, что отец держит необычайно злых собак, и решил подождать, пока кто-нибудь выйдет.

— Митя-я!.. Митюша!.. — закричал в саду хриплый голос, и Дмитрий увидел белую неподпоясанную рубаху отца, мелькавшую между деревьев.

Петр Трофимыч бежал по саду к воротам. На голове у него была широкая соломенная шляпа, на босых ногах — сандалии. Он бросился к сыну и обнял за шею. Дмитрий заметил на глазах отца слезы и крепко поцеловал старика.

— Ох, господи, вот не чаял!.. Да что же это такое?! Ну, скорей пойдём... Пятнадцать лет не видел сына... Пойдем... Тут кыргызу заплатят...

Он схватил чемодан и крикнул работника:

— Возьми, лодырь... Да зови Веронику...

Из дома выскочила молодая пышногрудая женщина с красивым круглым лицом. Она с любопытством взглянула на Дмитрия и певуче поздоровалась:

— С приездом, Дмитрий Петрович!

Дмитрий кивнул головой. Он сразу понял, что это была Вероника, и быстро сообразил, какую роль она играет при отце.

Вероника сказала:

— А мы вас ждали-ждали... Большую комнату приготовили. Как Евгений Петрович дали телеграмму, так я сама и выбелила. Сегодня ковры повешу.

— А у вас на мезонине живет кто?

— Нет.

— Я лучше там размещусь, — сказал решительно Дмитрий. — Гимназистом жил — и сейчас поживу.

— Да это все одно, где ни жить, — нетерпеливо махнул рукой отец. — Весь дом твой, ты же ведь наследник.

Дмитрий, вспомнив детство, пошел умываться на ручей, а после поднялся к себе переодеться с дороги. Вот здесь, в этой маленькой комнатке, он прожил с братом восемнадцать лет. За этим столом зубрил уроки и потихоньку писал стихи. Сюда приходила его первая любовь — Фиска («Любопытно, что она теперь?»).

В дверь кто-то постучал.

— Кто там?

Голос Вероники ответил:

— Это я, Дмитрий Петрович... Может, пол подтереть нужно? Пыли там, поди, много накопилось.

— Нет, не надо.

Вероника стояла у дверей и не отходила.

— Вас Петр Трофимыч чай пить ждут.

— Сейчас приду.

Дмитрий услышал смешок Вероники и недовольно подумал:

«Должно быть, блудливая бабенка. И где отец раскопал такую кралю?»

Вероника, скрипя половицами, спустилась с лестницы. Вслед за ней вышел Дмитрий. Отец ожидал на террасе за большим обеденным столом.

— Вот, наконец-то и дома, — сказал он радостно. — А я сынка жду — нет и нет! Не едет. Забыл отца окончательно.

По семилетовскому обычаю на столе красовалась громадная ваза с яблоками всех сортов. Нарядный, румяный апорт — гордость хозяина — выделялся своей необычайной величиной.

— Крупней и тяжелее ни у одного садовода не сыщешь, — сказал Петр Трофимыч. — Мои яблоки семилеткой стали звать. На что товарищи — адигеты круглые — и те хвалят. Новый участок под питомники дали. Старые обграбастали, теперь, говорят, на старости лет, сызнова начинай работать... Ах, ну и сволочь же народ пошел!..

— Весь сад отняли? — спросил нехотя Дмитрий.

— Четыре десятины оставили... А питомники в губзем подчистую...

Вероника ловко и быстро разливала крепкий чай. Она сидела с опущенными глазами, и Дмитрий обратил внимание на ее длинные, пушистые ресницы. На верхней губе у женщины темнели маленькие усики.

Отец начал жаловаться сыну на перенесенные обиды.

— Первый садовод в Семиречье, а что со мной сделали!.. Господи прости, чуть не по миру пустили. А разве я для народа не старался?.. Да кто сделал больше, чем я? Вона, смотри, все яблони отсюда мои!.. Город в зелени тонет — чья зелень? Моя! Чьи березы в Семиречье растут — все

до единой мои... Сам вот этими руками принес и рассадил... А они, сукины дети, в баржуи произвели... Какой я баржуй, когда я грамоту только после женитьбы одолел!.. Одно слово — адиёты, прости господи!..

Дмитрий слушал молча — он знал, что возражать отцу бесполезно.

Старик Семилетов ерошил густые серебряные волосы и в возбуждении бежал по террасе из угла в угол.

— Сады отняли, а кому дали?.. Азии... Кыргызам... Вековечным лодырям, кочевникам... Да разве кыргыз может за садом ходить? Ему на лошади ездить, баранов пасти в степи. Вот его дело... А ему сады доверили!.. Он эти сады зимой на дрова спилил... Вона пеньки торчат! А тут апорт — во какой рос, и пармен золотой!..

Дмитрий поглядел на пеньки и отвернулся. Он понял, как было больно отцу, когда пилили посаженный его руками сад.

— Совсем от Азии житья нет... Русских мужиков в бараний рог гнут... Ну, я по-ихнему баржуй, — дави меня, туда мне и дорога. А беднеющих, тех зачем трогать? Рази это по-советски — в двадцать четыре часа велели освободить земли и деревни для кыргиз... С пушками красноармейцы шли... Народ заставили имущество побросать и на Сибирь податься... Рази порядок?.. При царизме такого окаянства, прости господи, не было. Ей-богу!

— При царизме, отец, мы с тобой на киргизах верхом ездили, а сейчас наша очередь настала возить, — сказал, криво усмехнувшись, Дмитрий.

— Это я-то ездил?! — искренне изумился старик. — Больше всех платил, харчи наилучшие... Не ждал от тебя такого попрека...

Отец, видимо, обиделся. Вероника завела разговор о Москве.

— Жизнь у вас там веселая, поди? А тут два кинематографа на весь город... Скука отчаянная. Ни одного маскарада за год не устроили.

Старик расспрашивал Дмитрия о семье:

— Ты что, женат или нет?

— Нет! — неохотно ответил сын.

— Вот чудно! Евгений тоже холост. Да что у вас, бабья там не хватает, что ли?

— Некогда, — уронил Дмитрий. — Работы много...

— С чужой бабой, поди, путаешься. Не поверю, что монахом жил.

Дмитрий ничего не ответил. Вероника лукаво улыбнулась.

После отец рассказывал об Евгении.

— Ездит по Или, на Балхаш дорогу меряет. Скоро, говорит, пароходы пустим... Чудак такой... Каждое лето катается взад-вперед. На что ему Балхаш сдался? Советское начальство сейчас заинтересовалось, а раньше все на свой счет ездил. У меня тыщу денег в долг взял. О прошлом годе вернул полностью.

— Евгений — прекрасный инженер, — сказал Дмитрий.

— В партии-то он не состоит? Не знаешь?

— Не состоит.

- А ты — партийный, сказывают?
- Да.
- Давно?
- С двенадцатого года.
- А как же ты у царя в офицерах-то служил?
- Так и служил.
- И в тюрьме сидел?
- Сидел. Студентом когда был.

Старик покачал головой.

— Ну и потайной ты человек... А я думал, за что тебя посадили? Теперь только разоблачается вся правда-истина.

У ворот залаяла собака. Запыхавшись, прибежала девчонка-работница. Сказала, обращаясь к Веронике и кивая на Дмитрия головой:

- Их спрашивают.
- Меня? — удивился Дмитрий. — Странно, кто меня может спрашивать.

У калитки стояла верховая лошадь. Всадник в белом шлеме ловко соскочил и, озираясь на заливающуюся громким лаем собаку, шел по тропинке вслед за работником. Дмитрий вышел ему навстречу.

- Мне нужно товарища Семилетова, приехавшего из Москвы.
- Я буду Семилетов, — сказал Дмитрий, внимательно вглядываясь в лицо пришедшего.

— Сотрудник местной газеты Кимстач.

У сотрудника на щеках завивались примечательные бакенбарды (под Пушкина), а на носу сверкало пенсне. Одет он был франтовато и в руке держал стек.

- Что вам угодно?
- Пришел проинтервьюировать вас...
- Позвольте, для чего это?

— Ну как же, помилуйте, странный вопрос... Наша газета всегда помещает беседы с ответственными товарищами, приезжающими из центра. Редактор поручил мне во что бы то ни стало... Кроме того, я, как корреспондент РОСТА, а также краевой и среднеазиатской прессы... Вы понимаете... Ваш приезд... Я даже аппарат захватил... Если разрешите, я вас сниму. Вам это ничего не стоит, а для меня, как корреспондента...

— Нет, ни в коем случае, — твердо сказал Дмитрий.

Сотрудник с бакенбардами своей суетливостью привел его в веселое настроение.

— Откуда вы узнали, что я приехал?

— Плохой я был бы репортер, если бы не узнал этого первым. Я, знаете, на американский манер работаю. Конечно, в таком глухом городе не развернешь всех талантов, это ясно. Но если представится случай, я маху не дам. С вашим автомобилем произошла авария, и мне пришлось быть в автолинии — это первое. Второе — от вас отобрали на станции

ваш билет, а на нем ваша фамилия проставлена. Я вначале думал, что это ваш брат Евгений Петрович приехал...

— Вы и брата знаете?

— Очень коротко. Но от Евгения Петровича была телеграмма, что он придет после двадцатого. Тут я вспомнил, что на Балхаш в этом году он собирался ехать вместе с вами... Я моментально взял лошадь и, как видите, в своих расчетах не ошибся...

Дмитрий предложил сотруднику сесть на скамейку, и через четверть часа он уже знал, что Кимстач пишет стихи, помещает в местной газете фельетоны и хронику, дает рецензии о кинокартинах, корреспондирует в РОСТА, председательствует в кружке безбожников, принимает подписку на краевую газету, руководит «Синей блузой», состоит членом добровольной пожарной дружины и географического общества, занимается физкультурой и фотографией и ведет драмкружок в домпросе.

— Когда вы это все успеваете делать? — искренне удивился Дмитрий.

— С трудом, но успеваю, — скромно потупил глаза Кимстач.

Через полчаса он сообщил все городские новости и рассказал, кто что делает в городе.

— Предгика⁵ — ничего, так себе, казах. Конечно, ничего не делает. За него работает русский зам товарищ Мастеров. Энергичнейший человек. Очень дельный администратор. Он же — председатель губплана. Ответсекретарь — казах. Конечно, всю работу ведет заворот, товарищ Воронько. Завапо — Разливин. Прекрасный оратор. Голос — красота. Завженотделом — Аминова...

Дмитрий спросил безразличным голосом:

— Как ее звать, не знаете?

— Анфиса.

Больше Дмитрий не слушал, что рассказывал сотрудник. Он посидел немного и встал:

— Вы меня простите, я отдыхать пойду с дороги.

— Пожалуйста, пожалуйста...

Снова у ворот лаяла собака. Кимстач вскочил на лошадь и быстро проскакал мимо сада.

VII.

Завполитпросветом Николай Тропов и методист Илья Rogozинский глухой ночью перелезли через забор и очутились в громадном яблоневом саду. На Тропова напало мальчишеское настроение. Увидев тонкие полоски света в ставнях закрытого окна, он предложил посмотреть, что за девочка сидит в такое позднее время у зампредгубисполкома.

Методист разыскал круглое отверстие от выпавшего сучка и приложился глазом.

⁵ Председатель губисполкома.

— Казах сидит какой-то! — разочарованно протянул он.

Тропов нашел щелку для себя и принялся подглядывать.

Товарищ Мастеров в нижней рубашке с расстегнутым воротом сидел у письменного стола, перелистывая узенькую тетрадку. Иногда он ее подносил к глазам, и тогда Тропов видел обложку зеленого цвета. Толстый казах с отвислыми щеками и головой, подстриженной ежиком, сидел спиной к книжному шкапу и держал на коленях большой коричневый портфель. Он что-то говорил Мастерову, но что — не было слышно. По быстрым движениям губ Тропов понял, что казах горячится. После резким движением руки казах отстегнул портфель и выбросил на стол три пачки, аккуратно стянутые резинками. Мастеров спокойно сложил пачки и начал пересчитывать.

— Видал? — шепнул методист Тропову.

— Молчи...

Тропов почувствовал, как сразу же пересохло у него во рту. Про Мастерова ходили нехорошие слухи, особенно когда он начал председательствовать в комиссии по постройке казахского показательного городка Кзыл-Джол. Но товарищ Мастеров был заместителем председателя губисполкома, пользовался, как старый партиец, всеобщим уважением, — и нехорошие слухи объяснили происками врагов.

«Так вот оно что! — подумал завполитпросветом. — Оказывается, нет дыма без огня...»

Мастеров пересчитал деньги, что-то записал карандашом и протянул пачки обратно. Снова у казаха зашевелились губы и затряслись жирные щеки. Он сунул пачки в портфель и захлопнул застёжки.

Тропов ничего не понимал.

— Видал? — зашептал методист.

— Молчи...

Казах поднялся и протянул на прощанье руку хозяину. Мастеров пошел его провожать. Чуткое ухо Тропова уловило стук захлопнутой двери. Немного погодя в комнату вернулся Мастеров и сел за письменный стол. Он теребил черную квадратную бороду и перелистывал тетрадочку в зеленой обложке.

— Айда, — сказал методист.

Тропов осторожно спустился на землю. Приятели прошли через сад и вылезли в переулок.

— Ты понял что-нибудь? — спросил Тропов.

— Ничего. А ты?

— Мне кажется, я что-то понимаю, — задумчиво ответил завполитпросветом.

Тропов решал, как ему поступить. Пойти в контрольную комиссию и рассказать все как было, не делая никаких выводов? Пусть сами решат, что делать. Конечно, это самый правильный и честный выход. Но тогда надо рассказать о том, как он попал через забор в чужой сад и стал подглядывать вместе с беспартийным методистом за заместителем председа-

теля губисполкома. Нет, ни в коем случае! Вдобавок Мастеров не взял от казаха ни копейки... (Он это хорошо видел!) И еще вопрос: были ли в пачках червонцы, вообще деньги?.. Может быть, там были какие-нибудь карточки... Правда, карточки не считают, но ведь Мастеров вернул все пачки обратно казаху... Кстати, что это за тетрадка в зеленой обложке?

Методист прервал размышления Тропова осторожным вопросом:

— А ты не думаешь, что это он ему взятку давал?

— А черт его знает!

Тропову было неприятно, что обо всей этой темной истории знает беспартийный. Он был большим приятелем Rogozinskogo, но держался того мнения, что в «партийное дело» не следует вмешивать посторонних людей. И сейчас он неприязненно думал: вот придет методист домой и обо всем расскажет жене. Жена сообщит сестре. А раз две бабы будут знать — значит, наверняка дальше базара сплетня не пойдет.

Он остановился и сурово сказал:

— Вот что, Илья, заруби на носу: ни одна живая душа чтоб не знала!

Слышишь?!

— Слышу.

— И бабе своей — молчок.

— Ладно!

— Смотри, а то поедешь в восточную федерацию...

До самого дома они шли молча. На прощанье Тропов еще раз предупредил:

— Не забудь, смотри... Ша!

VIII.

Гец ежедневно бывал в городе и бегал из учреждения в учреждение. Надо было достать строительный материал для бараков и вовремя закупить продовольствие. А самое главное, надо было как можно скорее получить семена на посев. В коммуне было много хороших специалистов. Стоял вопрос о создании собственных мастерских: столярной, шорной, сапожной, механической, кузницы.

В городе Геца принимали любезно, обещали оказывать содействие, но когда он возвращался назад в коммуну и проверял себя, что же он сделал за день, — результаты получались неважные.

— Трудно работать, — говорил Гец коммунарам. — Так много учреждений и так много бумажек, что все идет очень тихо.

Но все же на другой день после приезда коммуны в поле загремел трактор. Из соседних аулов прискакали верхом узбеки, казахи и таранчинцы. Весь день они ездили за трактором и внимательно нюхали бензиновую вонь.

— Шайтан-омач! — повторяли удивленно старые люди.

У казахов Гец купил двадцать задрипанных лошадей. В коммуне их вымыли, вычистили, подстригли на манер пони, и в городе среди обыва-

телей пронесся слух, что немцы привезли заграничных лошадей. Такой же слух распространился и о коровах.

Плотники в первую очередь строили помещения под мастерские. Через два дня обед уже готовили не на кострах, а в светлой громадной кухне. На третий день была готова прачечная. А когда через неделю Эсфирь пришла в коммуны, она остановилась пораженная. Шесть барачных стояли на том месте, где еще недавно торчала прошлогодняя жесткая полынь. Над помещением совета коммуны развевался красный флажок.

Эсфирь почувствовала одновременно и радость и зависть.

— Вот как надо работать!

Гец встретил девушку приветливо.

— Пришли организовать комсомол? Давайте, работайте. Мы вот заткнем наши нужды, обязательно построим клуб.

Эсфирь обошла все бараки. Мастерские были на ходу. В сапожной чинили обувь и шили новые сапоги. В столярной делали табуретки, столы, шкафчики, оконные рамы. В прачечной стирали белье. В кухне поварахи в белых халатах и колпаках стряпали обед. Синеглазая женщина, чистившая картошку, приветливо улыбнулась и сказала по-русски:

— Я вижу, вы очень интересуетесь нашей коммуной?..

— Очень. Вы русская? — удивилась Эсфирь.

Синеглазая женщина рассказала.

Она выросла в кержачьем селе на Алтае. В Усть-Каменогорске, против воли родителей, она вышла замуж за пленного немца, сапожника Бореша. В двадцатом году они уехали в Германию. Бореш — коммунист. После Советской России ему тяжело было жить на родине. Правда, в Германии очень культурная жизнь, но лучшая страна в мире — это Советский Союз.

— С какой завистью провожали нас многие рабочие! — сказала синеглазая женщина.

— Вы член партии? — спросила Эсфирь.

— Да, я член германской компартии...

— Анна, давайте скорей картофель!

Эсфирь почувствовала, что она мешает работать, сконфузилась, кивнула головой и отошла от окна.

У Эсфири было смутное представление о кержачах.

Она подумала: «Должно быть, любопытная жизнь была у этой женщины! Бывшая кержачка стала коммунаркой и вдобавок членом германской компартии... Революция!»

Девушка провела в коммуне полдня. Она решила написать в местной газете несколько очерков о работе коммунаров и собирала материал. Гец охотно давал ей необходимые сведения.

— Это хорошо будет, если вы станете о нас писать. Нам важно внимание общественности!..

— Товарищ Гец, возьмите меня в коммуны, — сказала Эсфирь, пряча блокнот, — у вас здесь замечательно хорошо.

— Пока еще хорошего мало, — ответил Гец. — Мы должны жить в коммуне лучше, чем жили в Германии. Вот тогда будет хорошо.

Эсфирь провела организационное собрание комсомола. На собрание пришла вся молодежь коммуны. Секретарем ячейки избрали Фрица Абенда, долговязого белокурого немца. Он и отвез Эсфирь на тележке в город.

IX.

На другой день Тропов после занятий зашел к заведующей женотделом Аминовой на квартиру.

— Здравствуйте, Анфиса!

— Николай? Проходи...

Аминова покраснела и смутилась. Тропов давно у ней не был, и Анфиса стала подозревать неладное: уж не сошелся ли с кем-нибудь еще? Она знала, что у Тропова есть молодая жена и двое детей, и когда сходилась с ним — не рассчитывала, что он променяет старую семью на новую. У самой вдовы Аминовой был почти взрослый сын, и она понимала, что двадцатисемилетний Тропов ей был далеко не пара. Но у Тропова жена после второго ребенка болела женскими болезнями, а Анфиса была крепкая, сильная женщина, — и связь оказалась прочной. Тропов ходил к Анфисе еженедельно, по понедельникам, и нередко возвращался домой на рассвете.

— Почему не был давно? — заглядывая в глаза, спросила Анфиса. — Соскучилась я по тебе... Страсть...

— Занят был, — хмуро ответил Тропов. — Ты мне дай холодного выпить чего-нибудь. Жарко.

У Анфисы было крепкое, налитое тело, и завполитпросветом отвел в сторону глаза. Он думал сегодня совсем о другом.

— Слушай, что ты думаешь о Мастерове?

Анфиса поставила крынку с молоком на стол и достала стакан.

— Я думаю, что он прохвост и мерзавец.

Тропов жадно пил молоко прямо из крынки. Напился и вытер платком губы.

— Я тоже так думаю. А к тебе пришел посоветоваться, как быть... Только закрой дверь, чтобы никто не вошел.

Анфиса незаметно улыбнулась и вышла в сени. Она защелкнула задвижку и, вернувшись в комнату, прилегла на кровать.

— Ну, рассказывай!

И Тропов рассказал о своих похождениях в прошлую ночь.

Анфиса выслушала внимательно и задумчиво сказала:

— Давно у меня сердце не лежит к Мастерову... Чужой он человек, нехороший... К нам в женотдел кто-то письмо анонимное подбросил про него... Пишут, будто по двадцать пять рублей платит за малолетних девчонок... То ли больной, то ли уж больно развратный... Не разберешь...

А вот что он Тамарку Безверхую на содержание взять хочет — так это факт. Репортер Кимстач с ней переговоры ведет, полсотни в месяц обещает... Гадина... Девчонке жрать сейчас нечего, без работы ходит, а он пользуется.

Анфиса советовала с контрольной комиссией обождать.

— Мастерову большое доверие, а без фактического материала добиться чего-либо трудно. Вдобавок казахи стоят за него. За постройку Кзыл-Джола они его готовы носить на руках. Кое-кто погрел руки на этом показательном городке.

— Да, Кзыл-Джол даст еще о себе знать, — согласился Тропов.

...Уговорились так: Анфиса расследует дело о Тамаре Безверхой и анонимное письмо. Тропов будет потихоньку собирать материал. А там будет видно.

Анфиса поправила смятую постель и пошла провожать Тропова до ворот. Завполитпросветом быстро зашагал по улице, а Анфиса присела на лавочку. Внимание ее привлек высокий мужчина в резиновом макинтоше и крагах. Он шел и внимательно смотрел номера домов.

«Приезжий, — мелькнуло в голове Анфисы. — К кому это?»

Мужчина подошел к ее дому.

— Номер семнадцатый здесь?

— Здесь, — ответила Анфиса и сильно зарделась. — Дмитрий Петрович Семилетов, как видно?

«Фиска!» — хотел закричать Дмитрий, но вместо этого сказал:

— Как будто товарищ Аминова?

— Да, это я и есть, — ответила Анфиса. — Ну что же, проходите в дом.

Дмитрий, наклоня голову, чтобы не ушибиться о низкие косяки дверей, прошел через сени в комнату.

— Садитесь, — предложила Анфиса. — Тесно у меня...

Семилетов сразу заметил чистенькие кисейные занавески на окнах, портреты вождей революции, полочку с книгами... Вспомнилась ему боконогая Фиска, работавшая в семилетовских садах, томительные ночи, неожиданные встречи подальше от людей... Он внимательно посмотрел на стриженую голову женщины и сказал:

— А вы изменились... Не узнать вас...

— А я вас сразу узнала...

Дмитрий чувствовал себя неловко. Анфиса поняла его и просто сказала:

— Насчет сына узнать пришли, вероятно?

— Д-да, — выдавил Дмитрий.

— Сын — большой, — протянула Анфиса. — Восемнадцатый год идет... Комсомолец.

Семилетов перестал дышать:

— Мой он?

— А чей же? — подняла Анфиса глаза. — Ваш, конечно.

— Вы на меня сердитесь, Фиса? — спросил Дмитрий.

Анфиса молчала. После, не глядя на Дмитрия, глухо заговорила:

— Поначалу, конечно, обидно было. Все-таки отец ведь... Да и нравились вы мне... Целое лето с вами жила... Хорошо, Аминов замуж сразу взял — аккуратно вышло от людей... Ну, а после привыкла. Мужа-то ведь убили у меня в восемнадцатом году, красногвардейцем был. С тех пор вдовой живу...

— Знаю, — обронил Дмитрий.

— Слышала я про вас, коммунист вы, большой пост занимаете... Приятно стало... Я ведь тоже с восемнадцатого года партийная. Училась много, добивалась. Теперь вот в губженотделе работаю... На курсы ездила два раза... Конечно, много еще стараться надо... Сами знаете, простая батрачка я...

— А это что, фотография сына?

— Он самый!

— Как его зовут?

— Митей...

Дмитрий внимательно разглядывал задорное лицо юноши.

— Давно снимался?

— Три года назад.

— Учится?

— Вторую ступень кончил. На рабфак идти хочет. Хороший хлопец.

— В Москву его надо отправить учиться, — сказал Дмитрий. —

Если ничего против иметь не будете, я его очень хорошо там устрою.

— Что же против образования иметь?.. Конечно, надо...

— Мне бы его посмотреть хотелось.

— Заходите — увидите, — предложила Анфиса.

Дмитрий посидел еще немного и поднялся. Анфиса вышла его проводить. Когда она вернулась, лицо у нее было сосредоточенное и задумчивое.

От Анфисы Дмитрий направился к товарищу детства Андрею Смолину. Он знал, что Смолин был председателем горсовета. Когда-то они вместе ходили охотиться на фазанов, жили дружно и даже, будучи гимназистами, одновременно ухаживали за одной гимназисткой.

Смолин встретил старого товарища радостно и полез целоваться.

— Димка! Черт!.. Какими судьбами?.. Вот не ждал!

Дмитрий сообщил, что приехал к отцу и собирается с братом на Балхаш.

— Люблю Евгения, — сказал Смолин. — Парень бьет в одну точку... Хочет пароходы по Балхашу пустить... Настойчивый мужик... Одобряю.

Вышла женщина с усталыми серыми глазами, в вязаной жакетке. Смолин представил:

— Моя жинка... Знакомьтесь... Пять лет женат...

И сразу же распорядился:

— Слушай, Тася, надо за водкой послать. Да там сооруди что-нибудь. Дмитрий заметил:

— Прими во внимание, что я не пью.

— Ерунда, выпьешь... Чудак, на радостях-то!.. Я ведь тоже непьющий!

Пока жена готовила в соседней комнате закуску и посылала за водкой, Смолин стал показывать гостю пожарный костюм.

— Откуда это у тебя?

— Как откуда? — словно обидясь, ответил Смолин. — Я здесь пожарную дружину организовал. Во дружина! — и он выставил два больших пальца кверху. — Такой дружины, голову на отсечение даю, во всем Союзе не сыщешь. Сам знаешь, город наш деревянный, каменные постройки землетрясения не позволяют строить, к пожарам надо относиться сугубо внимательно.

Очевидно, пожарный костюм доставлял большую радость Смолину. Хотя Дмитрий и не просил его, он переоблачился в пожарную форму и скрестил по-наполеоновски руки на груди.

За стеной жена недовольно сказала:

— Ну и надоел же ты со своими пожарными доспехами. Словно маленький, забаву нашел. Уже в городе смеяться начали.

— Идиоты смеются, а ты по бабьей дурости уши развесила.

— Да твои товарищи смеются...

Смолин долго и подробно рассказывал, как он организовывал в городе добровольную пожарную дружину. Столько трудов ухлопал, что обидно даже. На счастье, махорочная фабрика сгорела у коммунхоза. Тогда только деньги отпустили. Зато сейчас дело поставлено образцово.

Жена принесла водку, закуску и яблоки. Смолин пил большими рюмками и, захлебываясь, говорил о дружине, бочках, кишках, касках, пожарах. Дмитрию стало скучно.

«Действительно, с ума спятил, — подумал он. — Как с ним жена живет? Неужели он и с ней только о пожарах говорит?».

Когда одна бутылка была кончена, Дмитрий спросил:

— Ну, а как ребята наши? Жив кто?

— Про выпуск говоришь? Разбрелись кто куда.

— Безверхий где, не знаешь?

— Васька? Сволочь! Белобандит вышел.

И Смолин рассказал, как поручик Безверхий, вернувшись с германской войны, собрал отряд и ушел в Семипалатинскую губернию бороться с советской властью. Был он в северной части Семиречья, порол крестьян, жег деревни, после ушел в Китай.

— Сволочь! — еще раз повторил Смолин. — Должно быть, уконтромили его китаёзы. Ни слуху ни духу сейчас нет.

Снова Смолин перешел на пожарную тему и в доказательство, что организованная им дружина поставлена действительно образцово, принес старый номер местной газеты.

— Во, читай, что в местной газете пишут... «Борцы с красным пепухом»...

Дмитрий прочел подпись под статьей «Кимстач» и статью смотреть не стал.

— Мой портрет даже, черти, поместили, — с достоинством сказал Смолин.

Сверху статьи был действительно помещен портрет. Надпись под ним гласила: «Председатель Горсовета, организатор местной добровольной пожарной дружины т. Смолин».

Смолин был изображен в пожарной каске и при полном снаряжении.

Дмитрию почему-то стало жалко старого товарища, и он тихо сказал:

— Не делом ты занимаешься, Андрей... Неужели, помимо пожаров, ничего придумать нельзя? Разве мало нужд в городе? А ты — председатель горсовета. Действительно, нелепо...

Смолин ничего не ответил, но Дмитрий понял, что слова его не дошли до товарища.

— Кто этот Кимстач?

— Замечательный парень! Он в дружине у меня состоит. Активист по всем отраслям общественной работы. Предприимчив необычайно. Работоспособность чертовская. Но глядеть за ним надо — у-ух... В оба!

— Что так?

— Подведет в два счета. Американизму в нем чересчур много. Он ведь меня на какое дело подбивал... Только, чур, чтоб это между нами... Когда гик⁶ денег не давал, он советовал маленький пожарчик устроить... Инсценировку своего рода. А поскольку он человек писучий — он бы в газетке раздраконил после. Идея заманчивая, черт побери, была, но я струсил... Партбилетом рисковать не хотел...

Дмитрий покачал головой, а Смолин с увлечением вернулся к излюбленной пожарной теме:

— Я сейчас большой труд пишу о значении пожарного строительства для СССР. Тема глубокая. Когда об этом узнали, меня хотели в госстрах посадить. Вот идиоты! Что я — чиновник? Я — техник. Мне живое дело надо. Я поэтому и с партработы ушел, чтобы с огненной стихией бороться. А меня — в госстрах! Сволочи! Вот тупоумие! погоди, я тебе сейчас свою книгу покажу в черновиках...

Смолин внимательно посмотрел на остатки водки в бутылке, решительно налил себе стакан, выпил, закусил соленым огурцом и, шатаясь, пошел к письменному столу. Он вытащил ящик, никаких черновиков не нашел, сосредоточенно подумал о чем-то и неожиданно надел каску на голову.

— Ты прости меня, не нашел... Черт ее знает, куда жена засунет постоянно. Но я тебе найду, будь спокоен.

⁶ Городской исполнительный комитет.

Дмитрий почувствовал скуку, хотел встать и уйти (он не любил пьяных), но Смолин вцепился в рукав.

— Никуда не пущу... Пятнадцать лет не видел, надо поговорить. Ты ведь мне друг, Дима! А, скажи, друг?

— Опять нализался, — раздраженно крикнула жена, появляясь в дверях. — Сними каску...

— Тасенька, дусенька, — залепетал Смолин. Он сразу же присмирел, но каску с головы не снял. Жена ушла с перекошенным от злости лицом, а Смолин принялся опять за пожары.

— Слушай внимательно. Строят показательный Кзыл-Джол. Деньги летят сумасшедшие. Двести восемьдесят тысяч... Позвольте, почему в таком случае в показательном городе нет показательной каланчи? Показательная баня есть, а каланчи нет? Вы говорите, саманные постройки? Чудесно! Но по смете на деревянные материалы выведено сорок восемь тысяч... Разве это не горючий материал? Позвольте, где же здравый смысл? Переименовали киргиза в казаха, дали республику, а пожарных нет...

Дмитрий решительно встал.

— Я тороплюсь, — сказал он. — Мне идти надо.

— Иди! — икнул Смолин и тяжело вздохнул. — Ты на меня на сердись и не суди строго. Город наш скучный, не дыра даже, а, собственно говоря, дырка... Я раньше пил здорово, а теперь бросил. С дружиной вожусь...

Он пошел провожать Дмитрия. Жена крикнула вдогонку:

— Сними каску, тебе говорят!

Дмитрий взял товарища за локоть и сказал:

— Да ты не провожай. Я и один дорогу найду.

И, улучив момент, он оставил Смолина в полутемном коридоре.

Х.

... Серые глаза и русые волосы Эсфири многих вводили в заблуждение. Ее принимали за немку. Лидочка Смирнова, дочь Исаака Абрамовича Майзеля, как-то сказала:

— Я не понимаю, почему ты, Эсфирь, не переменишь себе имя и фамилию? Эсфирь Блох!.. Нехорошо. Ты зови себя лучше Эммой... Ты очень похожа на немку.

Эсфирь густо покраснела и сурово ответила:

— Есть люди, которые любят красить не только губы... Я не люблю таких людей...

Эсфирь знала, что некоторые комсомольцы зовут ее за глаза жидовкой. Она им ничего худого не сделала. Почему ее так не любят? Странно. Особенно Сержка Ветров, сын водхозовского техника. У него большие серые глаза. Он нагло смеется и скалит кривые зубы. Неприятно с ним оставаться наедине...

Когда Эсфирь впервые появилась в Т. (это было за полгода до приезда коммуны) и стала расспрашивать о комсомоле и рабочей молодежи, именно Сережка Ветров, словно хвастаясь, сказал:

— Какая здесь рабочая молодежь? На весь город у нас восемь рабочих в типографии да десять на пивном заводе... Никакой рабочей молодежи нет...

Эсфирь скоро убедилась, что это была правда. В комсомоле были преимущественно учащиеся и служащие — самая разношерстная публика.

Как активистку, Эсфирь сразу же прикрепили к одной из ячеек. И тут, словно нарочно, дали самую неблагоприятную работу. Ячейка находилась в пяти верстах от города, в кишлаке Карасуне. Приходилось возвращаться поздно домой и переходить вброд каменистую речку.

В карасунской ячейке было всего пять человек, три казаха, два узбека. Все были неграмотные, за исключением пятнадцатилетнего Исы. По-русски комсомольцы говорили плохо. Эсфирь купила самоучитель и взялась изучать казахский язык.

И опять Сережка Ветров неприязненно заметил:

— Сразу видать... Эсфирь... Тоже — ягода.

Смугололицые парни принялись за учебу. Эсфирь, не умевшая говорить по-казахски, принялась обучать грамоте свою ячейку.

Когда приехала коммуна, Эсфирь думала, что карасунскую ячейку передадут кому-нибудь другому. Но Глушков сказал:

— Ты по-казахски научилась говорить хорошо... А нам надо поставить работу среди девушек нацмен. Придется тебе, временно, конечно, в двух ячейках работать...

Эсфирь тряхнула стриженной головой. Ладно!

Но в Карасуне, после того, когда милиция приехала к Ахмету Байдильдину искать Зейнаб, отношение к Эсфири резко изменилось. Женщины недружелюбно отворачивались от нее, а старики провожали косыми взглядами.

А один раз она услышала хриплый голос Нурбаева:

— В кишлак жидовок пускать нельзя... Гнать надо жидовок!..

После этого случая Эсфирь хотела в укомле отказаться от работы в кишлаке. Но, когда она остановилась перед дверью Глушкова, ей сделалось стыдно. Она вышла из укомла. На крыльце ее встретил Гец.

— А я вас ищу, — сказал он. — Поговорить мне надо с вами.

Эсфирь вспыхнула, сама не зная почему. Гец говорил:

— Все идет у нас хорошо. Засеяли мы всю площадь по плану — как у нас принято выражаться, все сто процентов. Но вот беда — летом не хватит воды для полива. Земли нам дали много, а воды не дают... В уземтделе сейчас сказали: «Мы вам воду и не обещали давать... Это дело не наше, а водхоза».

— Надо сходить в уком⁷, — неуверенно произнесла Эсфирь, — там нажмут...

⁷ Уездный комитет партии.

Гец улыбнулся серыми глазами:

— В укоме воду не сделают. Если нет воды, и уком не поможет.

— Но что же тогда делать?

— Я пришел к вам, чтобы вы нам помогли...

— Что я могу? — подняла глаза Эсфирь. — Я очень маленький человек.

Ей сделалось стыдно за свою беспомощность, и она снова покраснела.

— Знаю, что вы ничего, — ответил Гец с грубым добродушием. — Я говорю не о вас, я говорю о комсомоле... Ведь через месяц Чалас обмелеет окончательно. Вся воду будут забирать карасунцы и малостаничники. Коммуна останется без полива. Пятьсот десятин посева погибнет от засухи...

— Но почему об этом раньше никто не подумал? — закричала Эсфирь. — Это безобразие... Как же вы сеяли?..

— Мы сеять стали на второй день после приезда... Выяснить вопрос о воде было некогда. Вдобавок коммуна не могла представить, что ей дадут землю без воды... А сейчас я понимаю, что нашей коммуны здесь не очень радуются. Кто-то усиленно нам вредит... На словах помогают все, а на деле — мешают... В ваших учреждениях сидят плохие люди...

И тут только Эсфирь заметила, что у Геца было усталое лицо, а виски серебрились сединой.

— Но чем вам может помочь комсомол?

Гец словно не слышал вопроса. Рассеянно глядя по сторонам, он говорил:

— Сейчас мне в водхозе заявили, что в первую очередь воду дадут коммуны. Но это значит, что часть посевов погибнет у карасунцев и малостаничников... Какой толк государству, что мы приехали сюда? Вместо пользы получился вред. Нас и так начинает ненавидеть окрестное население. А что будет, когда казачьи и казахские земли останутся без полива?

— Это провокация, — возмущенно перебила Эсфирь. — Скрытая контрреволюция...

Но Гец спокойно продолжал:

— Вчера у нас увели четырех коней... Сегодня я велел выставить часовых...

Сережка Ветров пробежал с портфелем под мышкой и нагло подмигнул Эсфири. Девушка отвернулась. Гец набил трубку и закурил.

— В коммуны есть гидротехник товарищ Галлер. Мы с ним три дня бродили по Чаласу... Он заинтересовался старым заброшенным арыком. Сотни лет назад этот арык действовал... Сейчас от него остались едва заметные следы... Гидротехник говорит, если этот арык привести в порядок, коммуна сможет получить воду с чаласского притока. А это будет уже хорошо, потому что вода притока никем не используется. Правда, выход из положения только на год, и притом он... неверный. Водхозовские работники уверяют, что в притоке вода имеется только потому, что зима

была исключительно снежной... Но коммуне приходится выбирать что-либо из двух: либо арык, либо вражду с населением... Мы решили прочистить арык. Справиться с этой работой в срок коммуна не успеет. У нас не хватает людей, а второй эшелон прибудет не раньше чем через месяц. Прибегать к наемной рабочей силе коммуне нельзя, это сразу подорвет наш авторитет. Вдобавок и денег у нас нет, все кредиты мы использовали для строительства. Нам нужна помощь рабочей силой... Вот мы хотим просить комсомол...

— Большой арык? — деловито перебила Эсфирь.

— Четыре версты.

— Четыре версты!

— Да, и всю работу надо сделать в ближайшие дни. Мы подсчитали, если комсомол сумеет нам дать восемьдесят человек и мы выставим всех коммунаров, то в два праздничных дня — работа будет кончена. Только надо будет работать по десять часов и не лениться...

— Лучше бы в уком, — неуверенно сказала Эсфирь. — Партия...

— Товарищ Эсфирь! Дело должен начать комсомол. Если у нас будет успех, мы пойдем в партию за другой помощью...

Условились так. Комсомольская ячейка коммуны обратится в укомол с призывом организовать воскресник для очистки арыка. Эсфирь будет настаивать, чтобы укомол провел кампанию среди беспартийной молодежи в Малой станице, в Карасуне и в таранчинском селе Кастек. Кроме того, Эсфирь будет писать ежедневно статьи о воскреснике.

Гец крепко пожал руку девушке, надвинул шляпу и зашагал на лесопилку.

XI.

Товарищ Мастеров велел срочно вызвать в исполком сотрудника газеты Кимстача. Делопроизводительница звонила по телефону в редакцию, в партшколу, в пожарную команду, в домпрос. После стала звонить во все учреждения по очереди. Кимстач оказался в водхозе.

— Вас срочно просит товарищ Мастеров!

Кимстач приехал в исполком на чужом велосипеде. Кивнув головой машинистке и ущипнув незаметно молодую курьершу, он прошел в кабинет председателя исполкома.

— Садись, — кивнул Мастеров на стул.

— Мерси.

У Мастерова сидел посетитель. Кимстач закурил папиросу и вытащил блокнот. Привыкшее ухо уловило отрывки фраз. Разговор шел о немецкой коммуне.

— Я приезжаю второй раз, а толку нет. Вы обещали содействие, а уисполком почти ничего не делает.

— Товарищ Фашинг, но ведь лес коммуна получила.

— Дело не в одном лесе. Товарищ Гец просит...

Пока Мастеров кончал беседу с Фашингом, Кимстач успел набросать несколько заметок.

— Ну, теперь ты давай сюда...

Немец вышел, а Кимстач подсел к стулу председателя.

— Будет у меня к тебе дело. Парень ты боевой, даром что бакенбарды под Пушкина носишь. Статейку надо написать...

Мастеров вытащил из портфеля папку с бумагами и вынул кипу фотоснимков.

— Вот, — бросил он на стол снимки с показательного городка Кзыл-Джол. — Сумеешь очерк о строительстве написать? Но, смотри, с пафосом надо... Мне покажешь предварительно.

— Понимаю! В местную газету?

— Да нет, я думаю, тут шире надо ставить вопрос... В Москву не мешает послать... А в краевую — обязательно.

— Понимаю!

— Смотри, постарайся как следует... Главное насчет культуры для освобождения казахского народа. А главное — пафосу, пафосу больше.

— Могу стихи вклинить в очерк.

— Что хочешь, но чтобы получше было.

— В лучшем виде сделаю!

— Теперь вот еще дело... Сенсация, можно сказать... Консул китайский приезжает с какой-то делегацией. Банкет будем устраивать и чествование. В газету надо дать...

— Это я и в Москву передам...

— Можно.

Мастеров нахмурился и, понижая голос, спросил:

— Ну, как насчет Безверхой... Говорил?..

— Говорил... Ерепенится... Еще обиделась: «Что я — проститутка, что ли?»... Тут ее машинисткой в Акоспо берут, ну и нос дерет.

— Не возьмут ее в Акоспо, — уверенно сказал Мастеров. — Никуда не возьмут. Напрасно дурочку валяет.

— Разумеется. Про что же я и говорю?

— Но только ты смотри, чтобы это дело было — ша...

— Понимаю.

— Ну, крой!

Кимстач не уходил. Он переминался с ноги на ногу.

— Товарищ Мастеров, а как насчет той корреспонденции... Из степи... Помните?

Мастеров нахмурил брови и отстегнул замок портфеля.

— Помню.

Он вынул узенькую тетрадку в зеленой обложке (обложку сделал сам Кимстач, использовав бумагу с письменного стола).

— С этой историей придется обождать. Конечно, это не для печати... У нас и без того межнациональные отношения аховые...

— Я понимаю!

— Ты, кажется, говорил, что, кроме тебя, никто об этой корреспонденции ничего не знает? Никому не болтал больше?

— Что вы, товарищ Мастеров! Я же понимаю, что тут политический характер.

— Правильно. И держи язык за зубами.

Мастеров перелистал все шесть страничек корреспонденции, почесал за ухом и сунул тетрадь обратно в портфель.

Кимстач вышел из кабинета, сел на велосипед и поехал в редакцию.

«Вот и еще затравка есть», — думал он о тетради в зеленой обложке. Большое счастье, что она попала в его руки. Лишний раз ему предлагалась возможность показать перед всемогущим Мастеровым свою преданность. А Мастеров хотя и липовый коммунист, но умеет ценить своих людей. За него держаться надо крепче — связи у него громадные. В Москву вытянуть сможет, если захочет.

...У Кимстача было прекрасное настроение. После долгих мытарств он, наконец, нашел правильную дорогу в жизни. А ведь, кажется, какой пустяк помог: умение владеть размером и рифмой. Не будь этого умения, всю жизнь он просидел бы за аппаратом Морзе.

Кимстач любил иногда восстанавливать картины своего прошлого. Эти воспоминания наполняли его душу гордостью. О, он далеко пойдет! Он знает теперь, в чем состоит тайна успеха. Разве есть у Кимстача враги? Нет. У него везде друзья. В губисполкоме — друзья (сам зампредгика!), в губкоме тоже, в Кошчи тоже, в милиции тоже... везде... А кто такой Кимстач? Радист, поэт. И даже социальное положение неважное: отец — церковный сторож.

Кимстачу смешно теперь вспоминать свое первое появление в редакции. Он пришел в потертом пиджаке, в заплатанных брюках и робко протянул сложенный вчетверо лист бумаги.

Секретарь поглядел на заплаты и кивнул головой в угол:

— Вася, к тебе... Зарегистрируй.

Голубоглазый блондин, причесанный на пробор, сидел в пальто и правил рукописи. Пробежав заметку Кимстача, он торопливо сказал:

— Вы первый раз пишете, товарищ? Желаете быть нашим сотрудником? Тогда можно будет зарегистрировать вас. Вы получите билет и будете писать нам.

— С удовольствием! — поперхнулся Кимстач.

— Ваша фамилия?

— Кимстачов, но я бы хотел подписывать сокращенно — Кимстач и, если можно, через тире.

— Можете, — разрешил голубоглазый заведующий. — А вот вам билет.

На другой день заметка Кимстача была помещена в газете. Через неделю Кимстач пришел на собрание сотрудников. Председательствовал «сам» редактор. После собрания пили с голубоглазым блондином в пивной пиво. (Ах, это пиво! Лучший цемент всякой дружбы.)

Собственно говоря, успех начался немного позже. Группа хозяйственников, вернувшись с ярмарки, устроила выпивку со скандалом в трактире «Свидание друзей». Кимстач был свидетелем скандала и написал заметку в газету. Но он не отдал ее в редакцию, а отправился к заведующему Текстильсиндикатом.

— Полюбопытствуй, товарищ Погребной, о чем пишут, сволочи... Сегодня прислали... Ну, да ты не красней — уладим... Поговорю с редактором. Свои люди, кажется.

Чтобы не тратить напрасно времени, Кимстач заодно взял интервью с т. Погребным и кстати объявление в газету.

Когда Кимстач притащил в редакцию сторублевое объявление и беседе, редактор даже ахнул от изумления.

Репортеры обычно бывают пьяницы и стоят вне общественной работы. Вместо того чтобы идти на заседание ОДН⁸, они идут в пивную. Конечно, Кимстач не против пивной, но надо пить умеючи, не забывая о существовании МОПРа⁹ и Доброхима¹⁰.

Кто скажет, что из него вышел плохой газетчик? Он напишет в любой момент двадцать интересных заметок, был бы под рукой телефон. Он может дать фельетон на любую тему и даже в стихах. А стихи он пишет и под Есенина, и под Маяковского. Может про пивную и проститутку, а если хотите — про завод и Волховстрой. Безразлично!

Когда он приехал в Семиречье, дела в газете шли из рук вон плохо. И именно его должна благодарить редакция за увеличение тиража вдвое... Проект был очень прост. Кимстач пришел в губмузей и настойчиво спросил заведующего:

— Скажите, пожалуйста, какие у вас имеются сведения о землетрясении?

Заведующий музеем уверенно ответил:

— Никаких.

— Напрасно. А землетрясение должно быть!

— В городе нет сейсмографа, — словно оправдываясь, заметил заведующий.

— В таком случае вы не можете точно утверждать, что землетрясения не будет?

— Ну, разумеется, нет. Тем более что во всех концах земли происходит что-то необычайное...

Кимстач вынул блокнот и начал записывать. На другой день в городе появилась заметка о предстоящем землетрясении. Розница шла нарасхват. Целых две недели газета помещала тревожные известия и даже отметила один подземный толчок в 3½ балла... Тираж увеличился вдвое. Последнее сообщение было о смерти бухгалтера губфо Казиминова... Он

⁸ Общество «Долой неграмотность».

⁹ Международная организация помощи борцам революции.

¹⁰ Добровольное общество содействия строительству предприятий химической промышленности.

пережил в своей жизни два землетрясения и не захотел дожидаться третьего...

А сколько мелких услуг оказывал Кимстач хорошим товарищам! Достать спирт? Пожалуйста. Провести бесплатно в театр? С нашим удовольствием. Познакомить с девочками? Да сколько угодно. Он давал деньги взаймы, находил приезжающим квартиры, помогал организовывать благотворительные концерты, бесплатно фотографировал жен работников, писал в газете хвалебные рецензии о безголосых любительницах, рекламировал путем интервью завоёв...

Теория — лучше иметь сто друзей, чем одного врага, — давала прекрасные результаты. Жить на свете было хорошо.

«А на банкет я попаду», — подумал Кимстач, останавливаясь перед редакцией.

XII.

Дмитрий вернулся домой поздно. Он встретил в городском саду Анну Васильевну и пробродил с ней целый вечер по городу.

Вероника открыла двери и сонно улыбнулась:

— Все гуляете... Известно, человек неженатый...

— Отец спит?

Женщина поняла этот вопрос по-своему и таинственно шепнула:

— Спит... Да он не услышит... Можно в угольной комнате...

— Оставьте меня в покое, — резко сказал Дмитрий и быстро поднялся по крутой крашеной лесенке к себе на мезонин. Вероника хлопнула дверью.

«Вот чертовка», — подумал Дмитрий и стал раздеваться.

Спал он плохо — мешали звонкоголосые петухи. А рано утром Вероника разбудила громким стуком в двери:

— Вставайте. К вам приехали.

Дмитрий поднялся и в окно увидел белый шлем Кимстача, разгуливавшего по саду.

«Какого дьявола ему надо?» — неприязненно подумал он и, раскрыв окно, недовольно крикнул:

— Ну, что вам еще?

— По поручению товарищей Мастерова и Смолина. Письмо!

Кимстач быстро поднялся по лестнице, прислоненной к крыше, и, вытянувшись, бросил в окно письмо.

Дмитрий разорвал конверт. В нем находился приглашенный билет на банкет по случаю приезда китайской делегации.

— Сегодня в восемь часов в помещении госбанка банкет, — говорил Кимстач, сидя на перекладине и болтая ногами. — Товарищ Смолин убедительно просил присутствовать.

— А какое мне дело до китайцев?

— Такое же, какое и для нас всех, — почтительно ответил Кимстач. — Наши соседи...

Он почувствовал сухость в голосе Дмитрия и стал спускаться вниз.
— Простите, товарищ!

Дмитрий сунул пригласительный билет в карман и спустился на террасу пить молоко.

Кимстач уже гнал коня в город. Сегодня у него был боевой день. Предстояло объехать всех приглашенных гостей и предупредить, что банкет — дипломатический и надо являться обязательно в манишках. Кто выдумал эти манишки, Кимстач не знал. Первый заговорил о них на заседании комиссии Смолин. Ему никто не возразил (дипломатический банкет устраивался впервые) — и как-то само собой вышло, что вопрос о манишках разрешен был в положительном смысле. Услужливый Кимстач взял на себя труд оповестить об этом приглашенных гостей. Все сошлись на одном, что в билетах писать о манишках было неудобно.

Председателем комиссии по устройству банкета был Смолин. Он бывал в Китае, знал немного китайский язык, и в губкоме решили, что лучшего организатора для банкета невозможно найти. Кимстач вызвался написать стенгазету на китайском языке. Идею эту одобрили, и ему выдали двадцатирублевый аванс. Предприимчивый журналист вырезал телеграммы из старых газет, а владелец китайской прачечной Ван Ли согласился написать их по-китайски. Стенгазета получилась похожей на громадный табель-календарь. Кимстач перевел из журнала через копирку портрет Сунь Ятсена и пошел приколачивать стенгазету в госбанк.

В госбанке самую большую комнату украсили флагами, портретами, плакатами, пихтой. Когда Кимстач приколотил между двух окон свою стенгазету, комната стала напоминать образцовую избу-читальню.

Банкет был назначен на восемь часов, а приглашенные собрались в семь. Смолин бегал из комнаты в комнату и проверял, все ли в порядке и на месте. Музыканты из кино «Орион» разбирали ноты и проверяли инструменты. Лучшие повара готовили на кухне ужин. Официанты из ресторана «Россия», наряженные во фраки (их взяли у артистов), украшали стол розами.

— Товарищи, давайте устроим репетицию! — закричал возбужденный Смолин. — Надо, чтобы получилось как по маслу...

Он велел музыкантам приготовиться играть встречный марш. Музыканты подняли ярко начищенные трубы, а приглашенные выстроились полукругом перед дверьми.

— Левый фланг, ближе вперед! — закричал Смолин. — Середина, осади назад! Так, хорошо... Р-раз!.. Музыка!..

Дирижер с бельмом на глазу неистово взмахнул тоненькой палочкой.

— Тра-ра-рам... Тра-та-та, тра-та-та!.. — оглушительно загремели трубы.

— Аплодисменты! — надрывался Смолин. — Дружней!.. Еще!..

Хозяйственники и ответработники весело смеялись и хлопали в ладоши.

Смолин отбежал на несколько шагов назад и внимательно прищурил глаза. Он был похож на фотографа, только что усадившего группу для съемки.

— Товарищи, которые в высоких сапогах, станьте сзади, а в штиблетах — вперед!

Заведующий Текстильсиндикатом ушел на задний план, а вместо него выскочил Кимстач.

— Теперь хорошо! Каждый пусть запомнит свое место. Разойдись!

Публика разошлась курить. Пришел Дмитрий. Его Кимстач не предупредил о манишке, и он явился в толстовке.

— Экая досада! — поморщился Смолин, пожимая ему руку.

— Выехали! — сообщил помощник начальника милиции.

Смолин быстро захлопал в ладоши.

— Товарищи, приготовьтесь!

Снова полукруг выстроился перед дверьми. Ожидание было томительным. Дмитрий заметил Анфису и подошел к ней.

— А вы какими судьбами?

— Я — член президиума губисполкома.

— Ого! — улыбнулся Дмитрий.

Ему было приятно думать, как сильно выросла батрачка Фиска за эти семнадцать лет, что он не видел ее. Изумительная воля! Дмитрий невольно вспомнил Елену с вечно недовольным, капризным лицом. И неожиданно для себя он подумал:

«Надо было жениться тогда на Фиске!»

Смолин неожиданно махнул платком. Палочка дирижера взлетела кверху. Медные трубы заревели бодрый марш, и все захлопали в ладоши. В открытые двери, улыбаясь и кланяясь, входили четыре китайца в шелковых черных халатах. Они низко приседали и прикладывали к груди ладони. Смолин торжественно вел их на почетное место под стенгазету.

Банкет открылся приветственной речью Мастерова. Все встали. Мастеров говорил о дружбе трудящихся Китая и Советского Союза, а Дмитрий морщил от напряжения лоб: где же он слышал этот голос?

Речь была короткой. Смолин первый закричал «ура» и поднял бокал с шампанским.

После отвечал китаец. Речь его перевел переводчик Ван Ли, и снова все подняли бокалы.

На почетных местах, ближе к китайцам, пили шампанское, подальше от них — портвейн и мадеру.

Дмитрий сидел рядом с Анфисой. Он не слушал приветственные речи и уже жалел, что пришел на банкет.

— Вы пьете вино? — спросила Анфиса.

— Нет.

— Я тоже не пью, — сказала она. — Почему не заходили ко мне?

— Я заходил два раза, но дома никого не было: ни вас, ни сына, — ответил Дмитрий.

— Дела у меня, — оправдывалась Анфиса. — Все с бабами своими вожусь. Бегать много приходится.

Официанты во фраках разносили дымящиеся блюда. Оркестр в соседней комнате играл бравурный марш. Китайцы церемонно ели и оглядывались по сторонам. Кимстач быстро записывал что-то в блокнот.

Снова говорил Мастеров, и снова Дмитрий морщил лоб: где он слышал этот голос?

Сосед с правой стороны вполголоса спросил его:

— Вы что же вино не пьете? — Дмитрий оглянулся и увидел добродушное лицо. — Пейте, на то и банкет.

— Я не пью, — сказал Дмитрий.

— Ну, а я за ваше здоровье выпью.

— Это кто такой? — тихо спросил Дмитрий Анфису.

— Хороший парень... Завполитпросвет... Тропов...

— А-а...

Тропов пил «семиречку» чайными стаканами и, видимо, не скучал. Непривычная манишка давила ему горло.

— Пойдемте курить, — предложил он Дмитрию. Дмитрий молча кивнул головой. Они тихо встали и вышли через коридор в сад. В саду горели разноцветные фонарики и стояли плетеные диваны.

— Должно быть, сволочи эти китайцы, — матерно выругался Тропов. — А наши дураки их господами величают. Доведись они на меня в свое время — дал бы я им пить.

Он закурил папиросу и спросил Дмитрия:

— Вы Семилетов? Про вас мне товарищ Аминова много хорошего рассказывала. Давайте познакомимся. Я завполитпросвет местный... Тропов.

Дмитрий пожал протянутую руку. А Тропов, добродушно улыбаясь, говорил:

— Вы, поди, на нас как на дикарей смотрите... Сознайтесь! По совести... Свежему человеку, безусловно, все это диковинно. Учителям жрать нечего, а мы банкеты устраиваем. И все в гаврилках, словно дипломаты... А гаврилки знаете, чьи? Актерские. Ей-богу! Я сам записку вчера в театр писал... Выдать манишки и фраки для официантов. Вот вы улыбаетесь, а на самом деле так. Ей-богу же, правда.

От Тропова несло вином и дешевыми духами; лицо у него было потное, глаза блестели. Он много курил и норовил пускать дым колечками.

Дмитрий смотрел, как быстро темнело небо и вспыхивали крупные звезды. В густой зелени сада трещали кузнечики. Цветные фонарики делали аллею нарядной и причудливой. В вечернем воздухе таяли звуки духового оркестра.

— Разумеется, — сказал Тропов, — мы здесь покрываемся плесенью. Я работаю на окраине шесть лет и только один раз съездил в Москву. А город, как знаете, глухой, стоячее болото. Ну, конечно, сорок градусов,

преферанс, флирт, интриги, кино, пикники... Разумеется, это мелкобуржуазно. Не спорю. Но вот у меня есть товарищ, старый партиец, так он разводит голубей... Серьезно — придет из учреждения, залезет на крышу и гоняет. Факт! Сам же по себе — чудесный человек.

Тропов резко повернулся к Дмитрию:

— На показательную глупость деньги находят, а действительно хорошее дело остается без поддержки. Я вчера немца коммуниста видел, ходит, пороги околачивает, а толку добиться не может. Все его Мастеров за нос водит. А ведь ребята какое кадило раздувают! Коммуну строят такую, что прямо закачаешься... По последнему слову техники... Из уезда приезжал знакомый, рассказывал... Приехали и прямо с поезда на тракторе айда пахать... Ни одного дня не потеряли... Вот это организация — не по нашему, азиатскому, работают. Однако плюну я на все и уйду в коммуну... Осточертело мне азиатом быть... Не хочу...

Мимо прошел в белых брюках и черном пиджаке полный мужчина.

— А вот это — гад! — вдогонку сказал Тропов.

— Кто это такой?

— Мошенник Берг... Строитель знаменитого Кзыл-Джола.

— Он что — инженер?

— Карманной тяги. В прошлом аптекарь, а сейчас показательный жулик.

И Тропов начал рассказывать, как Берг строил показательный городок для казахов.

— Воровство шло! Боже ты мой! Без всякого стеснения... Такой уголовщиной воняет от этого строительства, что ужас берет.

— Так вы что же смотрели-то? К прокурору надо...

— Одна шайка-лейка, — понижая голос, сказал Тропов. — Тут вся собака в Мастерове зарыта. Он всему покрывка. Видели чернобородого? Речь говорил. Тоже сволочь порядочная... Но — сила! Первый человек в губернии.

— Он давно у вас? — спросил Дмитрий.

— Третий год.

— А раньше где был?

— А черт его знает. На Урале где-то.

По аллее пробежал Кимстач.

— А я вас ищу, — сказал он, заметив Дмитрия. — Сниматься надо. Где же вы пропадаете?

— Я не буду, — решительно отрезал Дмитрий. Тропов тоже отказался:

— Катись к чертям... Со всякой сволочью сниматься... Не согласен!

Кимстач быстро скрылся, и Дмитрий видел, как в окнах ослепительно вспыхнул магний.

— Тоже прохвост, — уныло сказал завполитпросветом. — А еще стихи пишет... Во всем городе ни одного честного человека не сыщешь. Все жулики.

Дмитрий незаметно отошел от Тропова и вернулся к столу. Официальные речи кончились, и велась непринужденная беседа.

Заведующий Текстильсиндикатом Митрохин, хлопая переводчика Ван Ли по плечу, показывал на председателя крестьянских обществ — смуглого китайца с рябым лицом и отвислыми черными усами.

— Ты ему скажи, — говорил он, икая, — страна наша крестьянская... Я сам крестьянин, да, сам землю пахал... Так и скажи: крестьянских китаёзов мы любим и уважаем.

Переводчик, приятно улыбаясь и прикладывая руки к груди, перевел слова Митрохина. Председатель крестьянских обществ встал и, также церемонно раскланиваясь, сказал несколько любезных фраз.

Ван Ли перевел:

— Господин председатель крестьянских обществ просит передать господину Текстильсиндикату, что он хотя не крестьянин, а полковник, но крестьян тоже любит.

— Вот курва, — громко сказал неожиданно появившийся Тропов и прислонился к косяку двери, чтобы не упасть. — Полковник! Это что же, товарищи!

Смолин быстро поднял стакан и закричал:

— За процветание добровольных пожарных обществ в Китае!.. Ура!..

Китайцы улыбались. Оркестр заиграл «Как родная меня мать провожала». Официанты во фраках убирали пустые бутылки. Анфиса подошла к Тропову, взяла его под руку и увела в сад.

...Банкет кончился в два часа ночи. Китайцы пошли одеваться. Переводчик неожиданно отозвал Смолина в сторону и сказал:

— У господина председателя крестьянских обществ пропали часы!

— То есть как пропали?..

— Были часы — и нет! — вежливо улыбался переводчик. — Но это неважно. У Ли Чуня есть еще часы.

Тогда Смолин взял Ли Чуня за пуговицу и, бледнея, хрипло произнес:

— Тут было всего тридцать человек. Все тридцать человек — джентльмены. Посторонних не было никого. Часы пропасть не могли.

Тропов рычал в соседней комнате:

— Пустите меня, я этому косоглазому буржую череп размозжу!..

Китайцы уехали. Из гостиницы они позвонили, что часы нашлись. Ли Чунь просто забыл их у себя в номере.

* * *

Дмитрий пошел провожать Анфису. Он взял ее под руку. Шли они молча по тихим улицам, залитым лунным светом, и слушали, как в арыках журчала быстрая вода. У Анфисы было необычайно белое — от луны — лицо, а глаза казались большими и черными.

«А ведь она похожа на армянку», — подумал Дмитрий и крепче прижал локоть женщины.

Анфиса внимательно посмотрела на него и, не сказав ни слова, вынула руку.

Дмитрий заговорил:

— Скажите, Анфиса, вы хорошо знаете Мастерова?

— Хорошо.

— Что он за человек, по-вашему?

— Нехороший человек. Очень нехороший, — твердо сказала Анфиса. — Про него дурные слухи ходят.

— Какие, например?

— Развратник большой. Я сама знаю, что он одну безработную девушку в любовницы сманивает. Пятьдесят рублей денег дает в месяц. Материал у меня есть в женотделе. Кое-что еще соберу и в КК передам.

— Откуда же у него деньги лишние?

— Ворует, должно быть, — просто ответила Анфиса. — На Кзыл-Джоле он большие деньги нажил. Это его затея.

Анфиса говорила просто, словно о вчерашнем несостоявшемся заседании, и Дмитрий вспоминал знакомый голос Мастерова. Где же, наконец, он его слышал?

Но так и не вспомнил до самого дома Анфисы.

— Вот и пришли, — сказала она, подавая руку, и предложила: — Заходите, Дмитрий Петрович, завтра, часов в семь я буду дома и сына задержу. Надо же вам его поглядеть.

— Спасибо, приду.

Анфиса стала стучать в окно к сыну. Дмитрий потихоньку зашагал домой.

(Окончание следует.)



Александр АГАЛАКОВ

«СИБИРСКИЙ ФОКС». ОТ ФАРТА ДО РАССТРЕЛА

*(По материалам историка-журналиста
Сергея Анатольевича Слугина)*

От автора

С С. А. Слугиным (1954—2021) автор был знаком около тридцати лет. По рассказам Сергея Анатольевича, он окончил исторический факультет НГУ и долгое время служил в армии. Затем работал журналистом в новосибирских газетах и охранником на предприятиях. Он хорошо знал историю Новосибирска, но плоды его исторических разысканий нуждались в литературной обработке. Поэтому со Слугиным у автора сложился творческий тандем, и совместные материалы выходили в местной и центральной печати. Читателям запомнились статьи об основателе самбо и первых автомобилях Новониколаевска, о колчаковской милиции и становлении ракетного щита Сибири. Посетителям городского музея Слугин рассказывал о перипетиях жизни и службы скандального полицмейстера Висмана, а слушателям школы ФСБ — о подвигах и казусах в работе красных и белых лазутчиков. В совместных задумках было издание книги о разведке, но эпидемия ковида перечеркнула эти планы. Однако остались еще наработки — среди них и представленная здесь фееричная история воровского виртуоза, по приговору суда закончившего свои дни в Новосибирске. Выхода в печати этой истории Сергей Анатольевич ждал, но увы...

Минуло немало лет со дня выхода на экраны фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». А в нем зрителям запомнились не только положительные герои, но и отрицательные персонажи. Самым ярким из них, бесспорно, является щеголеватый Фокс.

В конце 80-х годов XX века газета «Известия» напечатала большую статью о послевоенном уголовном мире СССР, и этих самых дерзких и удачливых «Фоксов», сочетавших квартирные кражи с сексуальными преступлениями и убийствами, оказалось пять «штук». Всех их задержали в разных городах

Советского Союза, но криминальные их похождения укладывались в один большой сюжет. Преступников, составивших собирательный образ Фокса, сыщики изловили в Риге, Куйбышеве (ныне Самара), Ташкенте, Баку и Хабаровске. Но, оказывается, и в Сибири был свой «Фокс», переплонувший своими приключениями послевоенных проходимцев. Появился он гораздо раньше, чем киношный любитель носить чужие боевые ордена — в самом начале 30-х годов прошедшего века. А значит, имеет больше прав быть прообразом Фокса, чем другие авантюристы.

Начало «карьеры»

Именно тогда, в конце 20-х и начале 30-х годов прошлого века, в Сибири сформировалась бандгруппа, затмившая своими деяниями любую «Черную кошку». Во главе преступного сообщества стоял отчаянный главарь — Иван Цивинский. Этот незаурядный человек мог бы стать хорошим руководителем или партийным чиновником, если бы не был вором и грабителем. В короткий срок он собрал вокруг себя таких же безбашенных и дерзких «борцов с богатством». Была при Фоксе и верная спутница во всех его преступных делах. Звали ее не Анюта, а Татьяна. Среди «подвигов» банды Цивинского можно особо отметить кражи и грабежи в квартирах... работников ОГПУ, комсостава Красной армии, высокопоставленных советских и партийных руководителей, директоров крупных предприятий и организаций. Не брезговал Иван Алексеевич и «экспроприацией» ценностей и денег из квартир советской интеллигенции: врачей, преподавателей вузов и других зажиточных горожан. «Сибирский Фокс» хорошо отметился в столице, причем в очень интересных местах. Ему удалось совершить кражи в... Кремле и датском посольстве. Таких подвигов больше никто не повторял!

Красивый и интеллигентный преступник неоднократно уходил от преследования, несколько раз бежал из мест заключения благодаря удаче и подкупу, а иногда его освобождали по амнистии. В периоды кратковременных заточений Цивинский усиленно занимался самообразованием, много читал — не то что другие сидельцы. Удачливый вор обладал феноменальной интуицией и был хорошим психологом. За двенадцать лет походов он объехал почти половину тогдашнего СССР и неоднократно отметился почти во всех крупных городах — Ленинграде, Одессе, Ялте, Астрахани, Баку, Саратове, Казани, Иванове, Гомеле, Владимире, Свердловске, Пензе, Самаре, Нижнем Новгороде, Киеве и Воронеже — кражами и грабежами. Он знал, где, когда и что можно стянуть, и умел уходить от погони.

После краткого анонса преступной деятельности Цивинского можно упомянуть и о начале его биографии. Будущий главарь бандшайки (само слово «бандшайка» возникло в 20-е годы, в период сокращений и аббревиатур) появился на свет 23 мая 1905 года в большой крестьянской семье в одном из сел Уфимской губернии. Кроме него в доме было еще пятеро детей. Ивану удалось получить начальное образование в церковно-приходской школе. Начавшаяся Первая мировая война заставила подростка помогать родителям по хозяйству и самому как-нибудь зарабатывать на хлеб. В год свержения династии Романовых у него внезапно умер отец. Мальчику пришлось покинуть семью и идти пешком на за-



работки в город Бугуруслан. Там устроиться на хорошую работу не получилось, зато парнишка стал учиться «карманной выгрузке». Довольно часто его ловили и жестоко били. Оправившемуся от побоев воришке оставалось только бродяжничать с такими же, как он, беспризорниками. В поисках случайных заработков подросток исходил почти всю Самарскую губернию, случалось, подрабатывал, но мало. В марте 1920 года милиционеры задержали его при реализации ворованной краски. Учитывая юный возраст, крестьянское происхождение и искреннее раскаяние, суд приговорил Ваню к шести месяцам лишения свободы условно и определил его в школу для беспризорников на перевоспитание. Строгие порядки и ограничения заставили любителя свободы покинуть исправительное заведение. Его отсутствие заметили через двое суток, когда Ваня уже ехал в Саратов. Никто беспризорника искать не стал.

В 1921 году Цивинский решил начать праведную жизнь, устроившись в одну из местных артелей. Но вскоре честный и тяжелый труд стал ему в тягость. Свое семнадцатилетие вор встретил на «тяге» по извлечению дензнаков из карманов зазевавшихся саратовцев, посещавших базар. Его уже не ловили и не били, так как Цивинский обрел «квалификацию».

В то время, в начале 20-х годов, НЭП был отмечен появлением не только множества частных магазинов и лавок, но и возросшего количества воров и грабителей. Рабоче-крестьянская советская милиция не успевала контролировать рост преступности. В 1922 году сменилось руководство в саратовском угрозыске, новое начальство надавило на воров, шерстило их «хазы» и «малины», так что некоторые из «джентльменов удачи» подались дальше на юг, в Астрахань. Среди них затесался Ваня Цивинский, которого через три месяца задержали при выносе из магазина товаров на большую сумму. В добыче Цивинского числились... граммофон и золотые часы. При захвате молодой человек не оказал сопротивления, чистосердечно сознался в краже, и 4 ноября 1923 года вора приговорили к пяти годам исправления за крепкими стенами астраханской тюрьмы.

Отбывая наказание, Иван освоил слесарное дело, что в будущем ему пригодилось — он взламывал входные двери. Общаясь в неволе с интеллигентными людьми, попавшими за решетку по пьянке, глупости и недомыслию, он старался в беседах с ними компенсировать пробелы в образовании. При этом много читал, изучил политграмоту и географию. За успехи в самообразовании срок пребывания в неволе Ивану скорректировали, и 1 мая 1925 года Цивинский покинул тюрьму. Оставаться в Астрахани не захотел и подался на пароходе в Баку. Знакомые подсказали, что на нефтепромыслах платят хорошие деньги и можно начать новую, честную жизнь в гостеприимном интернациональном восточном городе, где еда и одежда стоят очень дешево.

Но все оказалось не так радужно. В Баку 10 мая 1925 года, за две недели до двадцатилетия, его по ошибке арестовали местные сыщики, которые стали добиваться от задержанного признания в том, что он 2 мая обворовал квартиру местного дантиста Рувима Бергельсона. Сделать это Цивинский не мог физически, ибо в тот день еще плыл на пароходе в город нефтяников. Дважды хорошо побитый, он все же не признался в том, чего не совершал. Лишь 14 мая Ивана отпустили из участка.

Город Баку ему не понравился. Пришлось возвращаться в Астрахань, благо у молодого человека не отобрали честно заработанные 50 рублей, зашитые

в брюки. В столице Волжского понизовья бывшего сидельца нигде не хотели брать на работу, и он возвратился в Саратов. Трудовые деньги быстро закончились, и парень вернулся на «стезю воровскую». Первые кражи из домов нэпманов оказались удачными, да и ценностей из квартиры можно было утащить больше, чем из кармана. Понемногу у начинающего домушника вырабатывался фирменный стиль, сначала подражательный: Цивинский, как и незабвенный Остап Ибрагимович, посещал жилища небедных людей под видом какого-либо проверяющего чиновника. Надо отметить, что стульев он не крал, все больше «бесхозные» дензнаки да брюлики.

В Саратове во время совершения очередной кражи в магазине Цивинского заметил оперативник угрозыска Кирилл Потеряев, который решил задержать вора на улице, где оставался на подстраховке еще один работник милиции. Но тут произошло неожиданное событие: у прилавка продавец поймал Ивана за руку, а находившиеся рядом покупатели набросились на вора не просто с кулаками. Повалив на пол, его чуть не запинали. Гнев людей понять можно: настолько достали карманники добропорядочных саратовцев. Сильно избитого воришку доставили в больницу, а после выздоровления — в участок. Поправившись, Цивинский все честно рассказал следователю. Мало того, предложил поехать в магазин и показать, как все случилось. Работники угрозыска согласились на следственный эксперимент, во время которого Иван случайно споткнулся, упал и вроде бы потерял сознание. Один из оперов побежал за врачом — как раз через дорогу находилась больница. Улучив момент, вор-симулянт оттолкнул другого милиционера и резво покинул магазин.

Отсидевшись в укомном месте, Цивинский поздно ночью незаметно проник на баржу, шедшую с грузом сухофруктов в Казань. Попробовал на новом месте заняться честным трудом, но работать за небольшую плату не захотел и вновь принялся за преступное ремесло. Кроме того, он познакомился с дочерью бывшего старорежимного чиновника Татьяной Графеевой. Осенью сыграли свадьбу. Попробовали вдвоем начать праведную жизнь, но не получилось. Периоды честного труда чета стала чередовать с эпизодами тайного завладения чужим имуществом.

Милиция в Казани всегда ловила воров, поэтому от греха подальше супруги поехали в Нижний Новгород, где возможностей (и по трудоустройству, и по «карманной выгрузке») было значительно больше. В первую неделю пребывания в Нижнем Татьяна стащила пистолет системы «Браунинг» у подвыпившего гражданина, которым оказался... сотрудник ОГПУ (это оружие открыло обширный список похищенных преступниками пистолетов). Проспавшийся чекист доложил о случившемся руководству, поиски оружия организовали мигом, и сутки спустя супругов задержали. Джентльмен Цивинский факт кражи благородно приписал себе, и Татьяну отпустили. За дерзкое преступление Иван получил шесть лет, но успел отсидеть лишь четыре месяца. Поскольку при этапировании в домзак (дом заключения) бежал. До побега говорил сокамерникам, что хочет обосноваться в Саратове, но это оказалось ложным следом для преследователей — на попутном транспорте беглец добрался до Казани. Воссоединившаяся супружеская чета направилась в Свердловск — к родственникам жены, которые также не отличались примерным поведением.

Время путешествий

«Рыбак рыбака видит издалека» — гласит поговорка. Немногие знают ее продолжение: «поэтому стороной и обходит». Но люди криминальные и видят друг друга хорошо, и, объединившись в группу, дополняют преступные навыки друг друга. Так на родственной почве познакомились два авторитета — Иван Цивинский и Сергей Прохоров, который был его свояком, мужем Татьяниной сестры. В отличие от Ивана, Сергей был не столько вором, сколько мошенником. Ему частенько удавалось сбывать дешевые медные побрякушки по цене золотых украшений. Обменявшись опытом, родственники стали совместно проводить время в частных магазинах Свердловска. Два опрятно одетых молодых человека, напоминая студентов или инженеров, не вызывали подозрений у торговцев. Однажды криминальный дуэт сумел совершить крупную кражу в частном магазине на улице Интернационала, да так искусно, что хищение частники списали на козьи конкурентов, торгующих в другом конце города.

В конце 20-х годов советское государство стало «душить» частника как класс. Лавочек в городах поубавилось, и кражи в них становилось совершать все труднее. Поэтому чета Цивинских покинула Свердловск и переехала в Казань. Сразу нашлось дело — Иван, используя слесарные навыки, сумел открыть замок в квартире одного небедного горожанина. Воры оказались с большой прибылью, но попали как кур в оцеп. При продаже на базаре выяснилось, что они вскрыли квартиру не нэпмана, а... городского прокурора, который организовал развернутые поиски обидчиков. После «прокурорской» кражи оставаться в Казани стало опасно, и Ваня с Таней подались в город Иваново. По прибытии остановились на частной квартире, стали выдавать себя за кооператоров, что подтверждалось довольно частыми их поездками в ближние города якобы «по делам службы».

С января по март 1927 года супруги нанесли более семи криминальных визитов в частные магазины Пензы, Сызрани, Моршанска и Самары. В конце марта в одном из торговых заведений Пензы Иван попался на мелкой краже. Бдительные сотрудники угрозыска мастерски заломили ему руки и препроводили в участок. За несуразную кражу маячило три года отсидки за тюремными стенами, но тут выручила боевая подруга Татьяна, которая, съездив в Саратов, быстро сдала перекупщику все добытые трофеи и с неслыханной суммой — 2000 рублей — вернулась в Пензу. Через посредников дала взятку судье, и тот определил наказание всего в год тюрьмы. Исправительное заведение Иван Алексеевич покинул уже в начале 1928 года по амнистии.

Супруги вернулись в Казань, но там «работа» не заладилась, поэтому они переехали во Владимир, где еще оставались частные магазины, а горожане иногда забывали закрывать двери своих жилищ. Скоро квартирные хозяева, давшие приют Тане и Ване, стали небезосновательно интересоваться родом занятий супругов — тем пришлось вновь бежать в Иваново. В будущем «городе невест» народ жил не очень богато, но в магазинах имелся ходовой товар — ткани. После нескольких «экспроприаций» Цивинский почувал, что сыщики УГРО напали на его след, и под новый, 1929 год супруги поехали в криминальное путешествие по городам европейской части СССР. До февраля они жили в Воронеже, где поживились имуществом нескольких состоятельных горожан. Следующим





пунктом вояжа стала Одесса, где супруги хорошо «потрудились», также освобождая аборигенов от дорогостоящих вещей и одежды. Имея на двоих 6000 рублей, супруги хорошо отдохнули: купались в море, посещали кафе и рестораны. А в июне на пароходе отбыли в Ялту, где обосновались в санатории и успешно совмещали отдых с «карманной тягой». Никому из обитателей санатория не приходила в голову мысль, что симпатичные супруги — это чета опытных воров-гастролеров. Однажды на пристани Татьяна даже пожертвовала 50 рублей многодетной мамаше, потерявшей кошелек.

В конце августа отдохнувшие супруги поехали в Баку через Новороссийск, где произошло ужасное событие — гастролеров обокрала местная шпана! Продав часть вещей, Цивинские все же добрались до знакомого Ивану города Баку, однажды неласково его встретившего. Так случилось и в этот раз. В Баку они начали «работать по специальности», но территория оказалась «занятой», и местные воры недвусмысленно намекнули на нежелательность пребывания здесь супругов, попросив их побыстрее покинуть берега Каспийского моря. Видя реакцию «коллег», еще не принявшую радикальные формы, Цивинские согласились уехать, но денег на дорогу в Россию у них не было. Тогда местные воры пошли с шапкой по кругу и насобирали вполне приличную сумму, которой хватило будущему «сибирскому Фоксу» и его подруге на проезд до белорусского города Гомеля.

В те годы Белоруссия жила небогато, но некоторые состоятельные гомельчане все же выделялись из общей массы. Именно лица еврейской национальности стали основными жертвами преступной парочки. За очень короткое время Ваня с Таней «приватизировали» немало ценных вещей из еврейских квартир и лавок, хотя делать это было трудно — в домах и лавках всегда находился кто-то из домашних. Местная милиция получила информацию о кражах, оставаться в Гомеле стало опасно. Вместо того чтобы уехать на поезде с вокзала, где их уже ждала засада, супруги подстраховались, наняв местного крестьянина, и долго добирались на телеге в Чернигов. Затем снова были Одесса и Казань. Наконец, парочка подседа в товарный поезд, следующий в Москву.

В столице тогда имелось много возможностей для «квартирного выноса» и «карманной выгрузки», но жилищная проблема, справедливо подмеченная классиком, всегда была очень острой. Больших денег у криминальной четы не было, поэтому быт обустраивали по пословице о рае в шалаше. В одном из пригородных сел (сейчас это окраина Москвы) им удалось снять комнату в дачном домике. Добираться «на работу» в столицу при отсутствии регулярного движения было трудно. Только в начале февраля 1930 года Цивинский начал добывать хорошие «трофеи». Иногда он под видом управдома проникал в квартиры москвичей. После такого визита знал, когда, что и где можно «приватизировать» без особого риска. Жили воры бедно, но иногда фарт не подводил, и тогда Ваня баловал Таню шампанским и редкими фруктовыми деликатесами.

18 марта 1930 года Цивинский, в очередной раз прибыв в столицу, приметил в толпе хорошо одетого человека, которого мгновенно «просканировал», и решил облегчить его карманы. Он вытащил у прохожего всего десять рублей и какую-то непонятную бумагу. В укромном месте Иван ознакомился с документом, оказавшимся пропуском на территорию Кремля! В те годы не все серьезные бумаги снабжались фотографиями, зато имелись необходимые подписи



и печать. Имея на руках пропуск в святая святых, Цивинский решил рискнуть. В то время территорию советских небожителей охраняли не солдаты специального Кремлевского полка, а курсанты военной школы имени ВЦИК. Особенность ситуации заключалась и в том, что основной задачей курсантов была учеба, а «окарауливание» (так писали об охране в документах тех времен) объектов на территории Кремля являлось своеобразной нагрузкой по службе. Молодой человек интеллигентного вида с пропуском на руках не вызвал подозрений у курсанта на часах. Попав в Кремль, Ваня решил не только полюбоваться древними строениями, но и извлечь из экскурсии практическую пользу. Походив по территории, он зашел в одно из зданий со столовой для сотрудников технических служб, которых едва ли можно было отнести к городским беднякам. Иван Алексеевич думал недолго — обедать при пустом кармане не стал, а, улучив момент, срезал на вешалке несколько меховых воротников с дамских пальто и подался на выход. При выходе из Кремля вновь предъявил пропуск и растворился в толпе. «Трофейные» воротники быстро сдал в скупку и, получив деньги, поехал на дачу к Татьяне с вином и закусками.

Какое-то время супруги отдыхали от «трудов», поскольку «кремлевских» денег хватило на целую неделю безбедной жизни. Но хозяин дачи, видя шикарную жизнь постояльцев, загодя предупредил о повышении арендной платы. Но это было еще не все — он прозрачно намекнул, что даже самые удачливые кооператоры не ведут разгульную жизнь постоянно, и попросил внести предоплату за два месяца. Убийство слишком осведомленного домовладельца не входило в планы супругов, поэтому они, заплатив нужную сумму, дачу покинули.

Ленинград и другие города

В первых числах мая 1930 года Ваня и Таня уже находились в Ленинграде. Северная столица встречала гастролеров неласково. Шел мелкий, противный дождь. На Московском вокзале у супругов дважды проверили документы и попросили показать содержимое чемоданов. Поиски подходящего жилья в трущобах Лиговки окончились безрезультатно. Гостей из Первопрестольной там не ждали, а интеллигентный вид приезжих, несмотря на мастерское владение блатной лексикой, внушал местной публике подозрение: не засланные ли это угрозыском «казачки»?

Помаявшись в поисках жилья, супруги решили искать дачу за городом, как и в Москве. При следовании на Финляндский вокзал Иван неожиданно встретил бывшего соседа по нарам, с которым отбывал срок в домзаке Нижнего Новгорода. Товарищ по несчастью досрочно освободился в 1929 году и, приехав в Ленинград, открыл авторемонтную мастерскую, женился и завязал с воровским ремеслом. Технические знания, полученные в тюрьме, ему пригодились: владелец СТО (станции технического обслуживания) освоил автогенную сварку запчастей и стал прибыльно ремонтировать автомобили. Удачно «вписавшись в социализм», бывший преступник начал праведную жизнь. Новоиспеченный ленинградец согласился принять Цивинского с женой на проживание в свой дом за символическую плату. Какое-то время гости имитировали поиски работы в Северной столице, а потом сказали, что устроились в одно режимное учреждение и дали подписку о неразглашении.

Это устраивало и самого хозяина дома, и его жену. Каждое утро Цивинские уезжали на «секретную работу», а поздно вечером возвращались. Но вместо службы в режимной организации Ваня и Таня «освобождали» от ценных вещей квартиры зажиточных ленинградцев. В июле 1930 года из жилища ответственного работника Ленсовета супруги похитили 100 рублей и револьвер системы Нагана. В августе, сильно простудившись, заболел Иван. На «работу» ходила одна Татьяна. Как-то она принесла три сотни рублей, перстень с изумрудом и еще один наган, прихваченный у пьяного красного командира. В первых числах сентября Иван выздоровел, и супружеская чета продолжила «экспроприации» из домов партийных работников и научной интеллигенции. Только за сентябрь гастролеры обогнали ленинградцев на пять тысяч рублей.

Надо отметить, что местная милиция сложа руки не сидела. Как только стали поступать сведения об участвовавших квартирных кражах, сыщики принялись устраивать засады. В одну из таких засад чуть не попал сам Цивинский. Но каким-то сверхъестественным чутьем он определил в многоквартирном доме засаду и отказался от визита в квартиру, в которую по счастливому стечению обстоятельств уже вломилась местная жулики. Через пару минут трех джентльменов удачи со связанными руками и побитыми физиономиями уже вели в милицейский синий «форд», а Ваня стоял в сторонке и мелко крестился. Пронесло! В то время в Ленинграде засады и облавы были обычным явлением, на Лиговке иногда звучали выстрелы. Жить в Северной столице становилось невыносимо, везде Ваня чувал засаду. Омрачала настроение и погода, и вечно пасмурное небо, и сырость от рек и каналов. Поэтому в октябре 1930 года Цивинские покинули Ленинград, щедро расплатившись за гостеприимство с работником частного автосервиса.

Прибыв из Ленинграда в Первопрестольную, супруги какое-то время провели на «хазах» в Марьиной роще и Лефортове. Московская милиция к тому времени стала образцовой, последних нэпманов вывели как тараканов, да и агентурный аппарат УГРО работал как часы. Ваня с Таней подались в Казань. От скитаний, неустроенности, постоянных стрессов благоверная заболела. Оставив больную жену у родственников, муж подался на «заработки» в одиночку. При отъезде из Казани Цивинского опознал на вокзале один из агентов угрозыска и, подозвав еще трех сотрудников, потребовал предъявить документы. Вор-гастролер совсем не рассчитывал на такую встречу, попробовал отшутиться, сказав, что его, видимо, с кем-то другим спутали. Но милиционеры, обступив вора со всех сторон, повели в отделение. По пути Иван пытался рассмешить стражей порядка остроумным анекдотом, но «шутку юмора» конвоиры не поддержали и вновь потребовали предъявить документы. Пришлось гражданину лезть во внутренние карманы... Вместо документов Иван резко выхватил два нагана и в четыре выстрела уложил на грязный тротуар четверых милиционеров! Затем прыгнул на подножку проходящего товарного поезда и, перепрыгивая с вагона на вагон, нашел укромное теплое место. В пути его никто не побеспокоил.

На вторые сутки поезд подъехал к Москве. Вернулся Цивинский туда, откуда недавно уехал. А назад, в Казань, путь был закрыт. Оставалось жить в столице и, презирая страх, вернуться к знакомому воровскому ремеслу. До конца 1930 года он жил на даче, перебиваясь мелкими кражами. Зимой 1931 года, помимо основной деятельности, начал осваивать охоту на лесное зверье, браконьерничал, помогал кое-кому по хозяйству, батрачил и даже пробовал ловить рыбу себе

на прокорм. Весной продолжил поездки в столицу. Его воровские трофеи стали скромнее, а риск больше. Летом 1931 года удача вновь улыбнулась ему.

Прогуливаясь по центру столицы, Иван вышел в Фурмановский переулок, который мало отличался от других, если не считать архитектурной достопримечательности в виде особняка посольства Дании. Внимательно изучив окрестности, Цивинский пришел к выводу, что это посольство хоть и является де-юре территорией иностранного государства, но находится на столичной земле, да и работают там, кроме датчан, русские люди, с которыми можно договориться. Эти самые добрые люди небескорыстно подсказали слабые места в охране посольства. Остальное было делом техники. Помогла вечерняя темнота, сильный дождь, нетрезвое состояние датчан и некоторые другие обстоятельства. Трофеи из дипломатического представительства Иван вынес в два приема. Если 700 долларов и 2000 рублей легко уместились в кармане плаща, то с тюками различных шерстяных тканей «посольскому» вору пришлось повозиться. Кроме того, возникла проблема обмена долларов на рубли: связей с валютными перекупщиками у него не было. В течение месяца Цивинскому все же удалось реализовать валюту по приемлемой цене. Импортные ткани Иван пристроил в модное ателье, но за столь обширную поставку мануфактуры директор ателье рассчитывался с вором пять месяцев. Даже после того, как израсходовали последний метр импортной ткани, столичные модницы продолжали наведываться в салон для заказа обновок. Осенью 1931 года, имея достаточное количество денег, Иван инкогнито прибыл в Казань к выздоровевшей жене.

Встреча супругов после долгой разлуки была бурной. Но упреков и сожалений по поводу произошедшего никто не высказывал. Обоих интересовал вопрос, как жить дальше. Страна крепла, строилась. Заканчивалась первая сталинская пятилетка, росли промышленные гиганты. Не работающие на предприятиях и в организациях граждане стали представлять для сотрудников милиции большой оперативный интерес. Агентура активно проникала в преступную среду. Много знакомых Цивинскому воров уже успело сгинуть в лагерях. Посоветовавшись, Ваня и Таня решили остаться верными воровской специальности, но пожить какое-то время отдельно, потому что Ивана в Казани хорошо запомнили местные милиционеры, а Татьяна не могла ехать в суетную Москву и жить в непригодных местах — на дачах или «малинах» — ведь она ждала ребенка.

Весной 1932 года окружным путем, через Иваново и Ярославль, Цивинский прибыл в столицу. До лета квартировал в Малаховке, изредка выезжая на квартирные «экспроприации». В отсутствие жены общался с другими женщинами, выдавая себя за работника несуществующей организации. Богатые трофеи из столицы привозил, но хлопот по реализации становилось все больше. В день своего двадцатисемилетия Иван Алексеевич попал в одну из лефортовских «малин». После третьего тоста к столовавшимся ворам пожаловали серьезные мужчины из МУРа. Осмотрев убогое жилище, стали проверять документы у тех, у кого они были. У московских жуликов паспорта имелись, и прописаны они были во всяких Кривоколенных переулках, а гражданин Цивинский ни в профсоюзе, ни в ВКП(б) не состоял и московской прописки не имел. Да еще привлекался... Муровцы повели с собой только одного беспаспортного Ивана: интеллигентный вид его не спас.



В Сибирь!

На этот раз Иван понял, что влип, и влип крепко. Один опер шел впереди, а двое сзади. На этот раз незаметно воспользоваться оружием не представлялось возможным. Хотя милиционеры сразу не обыскали подозреваемого, но поступить так, как он сделал в Казани, — выстрелами уложить на землю муровцев — было нереально. Опера держали револьверы наготове и в случае резкого движения вполне могли бы его убить. Мало того — в спину преступника-гастролера упирался вороненый ствол. Нужен был гениальный выход из ситуации, и Цивинский нашел его. После нескольких минут ходьбы по слабо освещенным переулкам Иван остановился и... начал артистически благодарить муровцев за то, что они вывели его из этого ужасного дома, в который он попал по ошибке. По его словам, он, Алексей Иванович Воронов, приехал из Ленинграда, где работает в оборонном НИИ. Отсутствие документов он объяснил тем обстоятельством, что один сидевший в доме за столом угрюмый мужчина отобрал у него паспорт, командировочное предписание и сорок рублей. Услышав такое заявление, муровцы попросили «гражданина Воронова» подождать их возле фонарного столба, а сами, изготовив к бою табельное оружие, побежали обратно в воровскую «малину». Возвращения оперов Цивинский, естественно, дожидаться не стал. А напуганные облавой «братья по цеху» давно уже покинули дом. Воры вышли победителями, а опера остались с носом.

После происшествия в Лефортове Иван залег на дно, похваливая себя за то, что успел рассчитаться за жильё и сделать большие запасы продуктов. Оставались деньги и с прежних краж. В одиночестве и скуке прошел месяц, но в начале июля 1932 года Цивинский послал жене телеграмму с условным текстом, и та через трое суток, «скинув» ребенка на руки родителям, приехала в Подмосковье. Посовещавшись, супруги приняли решение покинуть столицу навсегда. Ведь опера начали искать не существующего в природе инженера Воронова, лицо которого им было знакомо.

Очередным местом «работы» супружеской четы вновь стал Свердловск. По началу муж с женой поселились у родственников. К этому времени свояк Цивинского Сергей Прохоров уже успел отсидеть срок за множество темных делишек и вышел по амнистии. Родственники воссоединились в едином порыве обкрадывания уже не частных магазинов, а квартир ответственных работников, которые жили довольно богато. Опасаясь воров, уральские начальники хранили деньги в сберкассах, поэтому домушникам приходилось рассчитывать на гардеробы, отрезки тканей и ювелирные изделия. Прихватывали они из жилых помещений и алкогольные напитки с красивыми этикетками. Наученные горьким опытом во время обноса квартиры казанского прокурора, криминальные родственники старались не сбывать трофеи по месту приобретения. Для превращения вещей в деньги они придумали оригинальный способ: украденные в уральских квартирах ткани и одежду они обычными посылками отправляли в Казань отцу Татьяны — Кондратию Андреевичу Графееву, а тот умудрялся продавать присланное даже на главпочтамте. Бывало так, что, открыв на почте посылочный ящик, он осматривал вещи, проверяя, не порвались ли платья при пересылке. Тут же к нему подходили заинтересованные в дефиците граждане и без лишних слов платили деньги, с которых тесть брал свою долю. Большую же часть выручки пересылал зятю в Свердловск через подставных лиц. Так продолжалось до начала октября





1932 года. Но УГРО столицы Урала не выпускало из виду вчерашних клиентов, и за Сергеем Прохоровым установили слежку. Это стало сигналом для Цивинского, который обнаружил за подельником прицепившийся «хвост». Ваня и Таня, забрав деньги и кое-что из вещей, поменяли дислокацию, направившись в Омск, куда уже уехала Вера — сестра Татьяны и жена Прохорова.

После Москвы и Ленинграда бывшая колчаковская столица Сибири выглядела захолустьем. Супруги сняли жилье на улице Крестьянской, в доме № 61. По приезду Иван и Татьяна познакомились с «цветом» местного уголовного общества и развели обстановку. Богатых людей тогда в городе осталось немного, милиция работала неплохо, да и домзак не пустовал. Кто-то из местных уголовников посоветовал «прибраться Новосибирск». Благодарные за наводку супруги не стали «отмечаться» в Омске какой-нибудь кражонкой, а перенесли свою криминальную деятельность в новую столицу советской Сибири.

В середине октября 1932 года Цивинский приехал в Новосибирск на разведку. По наводке омских «коллег» он познакомился с местными урками: Павлом Катышевым, Михаилом Афанасьевым и Михаилом Королевым. Без помощников трудно начинать новое дело, поэтому Цивинский привлек сообщников. Благо они знали, где и у кого можно пожить. Новые знакомые были неоднократно судимыми и считались бывальными людьми, но даже на их фоне Иван Алексеевич выглядел щеголеватым суперменом. Сколотив банду домушников, за короткий срок наметанным глазом «сибирский Фокс» вычислил самые подходящие для выноски дома. Новосибирск вздрогнул.

25 октября 1932 года четверо преступников под видом работников жилконторы проникли в элитный дом, открыли дверь, используя слесарные навыки, и обчистили квартиру заместителя управляющего «Кузбассуглем» (в те годы управление угольного треста находилось в Новосибирске) товарища Плеханова. Орудовали всего полчаса. Похищенные вещи выбросили сообщнику через окно. Даже случайные свидетели из числа соседей не обнаружили явных признаков кражи. Как отражено в милицейском протоколе: «Поднялись наверх и потом опустились вниз представительный мужчина и два рабочих с инструментом». На следующий день троица вскрыла квартиру заместителя председателя крайисполкома товарища Зуева. Поначалу все шло по отработанному сценарию, но в самый интересный момент, когда четыре узла с вещами подельники готовились передать сообщнику, в квартиру вернулась домработница А. Векер. Увидев непрошенных гостей, собравших хозяйское добро, она решила позвать на помощь, но стоявший ближе всех к домработнице Павел Катышев схватил электрический шнур и задушил женщину. Вынесенные вещи надежно спрятали у подельника Королева на Кубановской, 77, в частном доме.

На следующий день, 27 октября, Цивинский и компания «перевыполнили» норму, ограбив квартиры ответственного работника «Сибкомбайнстроя» и одного из заместителей начальника отдела ОГПУ. У гражданского специалиста, кроме одежды и денег, они прихватили наградной браунинг, а у чекиста — наган. 28 октября джентльмены удачи обездолили жилище работника ОГПУ Молчанова. Причем довольно быстро, хотя и вынесли немного — в основном женские вещи и посуду.

День 29 октября был для бандшайки «сибирского Фокса» вновь ударным, так как пострадали квартиры оперработников ОГПУ Максимова и Сулова, от-

куда воры взяли деньги, одежду и немного ювелирных украшений. Форменное обмундирование бандиты брать не стали, хотя, обладая артистическим даром, Цивинский и его банда могли бы заделаться оборотнями. Но, видимо, до уровня вайнеровского Фокса воры еще не доросли.

О дерзких кражах из жилищ ответственных товарищей и работников ОГПУ стало известно в крайкоме ВКП(б). Суровые партийные начальники восприняли «подвиги» неизвестных воров как звучную пощечину правоохранительным органам. Выводы из происшедшего сделали быстро. Опера днем и ночью прочесывали «хазы» и «малины», устраивали облавы, но никого, кроме мелких воришек, тогда не взяли. Мало того, Цивинский и компания находились на тот момент в доме некоего Семичева, который сказал явившимся милиционерам, что четверо мужчин, сидящие за столом, являются его дальними родственниками из села. И опера, не проверив документы, пошла дальше искать дерзких преступников!

За две недели Цивинский и компания отдохнули от «трудов», поделали ворованное добро и начали готовиться к очередному этапу борьбы с честно нажитым пролетарским богатством. Процесс пошел: вычисляли нужные дома, изучали подходы, наблюдали за жизнью будущих жертв. Через месяц приступили к «делу», наметив для воровских акций дом научных работников. Тщательно изучив замки, вскрыли квартиру врача Маликовой, а затем проникли в жилище заместителя начальника «Сибкомбайнстроя» товарища Ермоленко. Прихватив хорошие трофеи, ушли на Кубановскую, 77, где, разделив вещи, отдыхали до 30 ноября.

После небольшого перерыва компания Цивинского проникла в дом штаба СибВО и вскрыла дверь в квартиру заместителя начальника оперативного отдела товарища Гращева. (Это была вторая кража в Сибири у военачальника такого ранга. Первая имела место в 1922 году, тогда другие воры обчистили жилище самого начальника разведуправления округа товарища Широкова.) Самое интересное — воры не нашли у Гращева наградного оружия, а вот у комбайнстроителя взяли револьвер «Бульдог», недавно купленный хозяином в магазине «Динамо».

Три ноябрьские кражи вызвали крайне негативную реакцию у партийной верхушки, да и командование военного округа проявило озабоченность. Но и это было еще не все. Особую тревогу вызывали украденные «стволы»: «бульдог», браунинг, наган. Опера вновь пошла по «хазам» и «малинам», на одной из которых банду Цивинского проверяющие снова приняли за приезжих родственников хозяев и пальцем никого не тронули.

После ударного труда компания Фокса отдыхала, делила добычу и пьянствовала в кругу доступных женщин. Уверовав в свою неуловимость, Цивинский послал несколько посылок тестю и жене. После очередной разведки, 19 октября, жулики очистили от «лишнего» гардероба квартиру начальника отдела ОГПУ товарища Басюка. Сделали это накануне дня образования ВЧК-ОГПУ, причем из дома «Динамо» на Красном проспекте! Двадцатого декабря бандшайка посетила жилище ответственного работника крайисполкома Михайловой. Воры забрали почти все женские вещи и украшения. На следующий день, 21 декабря, компания вскрыла квартиру оперработника ОГПУ товарища Лозицкого, где, кроме денег, костюма и патефона, прихватили еще один браунинг. Но отдыхать

ворам не пришлось: уже 22 декабря они обездолили очередного чекиста, товарища Клобукова, а через неделю из жилища оперработника ОГПУ Юмашева также вынесли немало вещей.

За сутки до нового, 1933 года Иван Алексеевич вместе со своей боевой подругой отправил в Омск и Свердловск несколько посылок. Это обстоятельство не осталось без внимания работников почтамта, и кое-кто из почтовиков поделился наблюдениями с сотрудниками правоохранительных органов. Посылки вскрывать не стали, но супружескую пару взяли на заметку. В первый день 1933 года сотрудники угрозыска пожаловали в гости к Ване и Тане по обратному адресу, написанному на посылках. После обыска удалось обнаружить в разных местах дома немало ценных вещей, денег, одежды и один из украденных браунингов. Казалось бы, можно поставить точку в деле Цивинского. Но все оказалось не так просто. В новом выраже история «сибирского Фокса» достигла апогея, и вор вновь оказался на высоте.

«К высшей мере наказания...»

Кто-то из милицейского начальства поспешил доложить во все инстанции о задержании Цивинского, Графеевой и их сообщников, хотя фактически поймали только супругов. Мало того, Татьяна Графеева виновной себя не признавала, выставляя мужа кооператором, а она якобы ничего не знала о происхождении чужих вещей. А Цивинский опять всю вину взял на себя. Причем даже одной десятой похищенных вещей в доме не оказалось. Вопросов было больше, чем ответов. Иван Алексеевич не горел желанием рассказывать о своих подвигах, а, набравшись наглости, требовал доказательств, ибо, мол, «в советском государстве существует презумпция невиновности». А найденные у него вещи и пистолет он купил с рук. Ко всему прочему, пострадавшие и свидетели почему-то не могли опознать в задержанном удачливого вора. О сообщниках Цивинский не желал ничего рассказывать. Следствие заходило в тупик. После некоторых формальностей Татьяну отпустили, но установили за ней негласное наблюдение. Какое-то время оперативники отслеживали каждый шаг воровки, но потом она как в воду канула. Экстренные поиски успеха не принесли, хотя о Графеевой сообщили в Казань и Свердловск. Попытки поговорить с Цивинским постоянно заканчивались отказом, обещание сохранить жизнь за сотрудничество со следствием на вора не действовало. Время шло, а результатов не было. Введенное в заблуждение руководство требовало скорейшего завершения следствия и поиска преступников.

А тем временем Татьяна Графеева экстренно реализовала через сообщников часть украденных вещей, кое-что особо ценное отдала портному из магазина «Аккорд». Умельца звали Константин Плещев. Он мог в короткое время подогнать одежду по фигуре. Перешитые ворованные платья, пиджаки, брюки он удачно продавал в магазине. За короткое время портной реализовал товаров на три тысячи рублей. Почти 2000 рублей отдал Татьяне, а тысячу оставил себе — за труды. Получив большие по тем временам деньги, жена вора стала искать подходы к охране в здании управления новосибирской милиции. Через небескорыстных посредников удалось выйти на милиционера Бессонова, который за хорошую мзду помог Цивинскому бежать. Услуга «оборотня» обошлась воровке в 1850 рублей, помимо наручных часов марки «Точмех».





В ночь с 27 на 28 января 1933 года знаменитый вор смог покинуть узилище. На одной из «хат» он переоделся, взял деньги и извлек из собачьей будки загодя спрятанный наган. И, не теряя времени, покинул Новосибирск. На следующий день Цивинский был уже в Омске. Иваном двигало чувство мести. Еще до ареста кто-то из сообщников сказал, что сестра его жены и подельница в сбыте краденого Вера Прохорова недовольна своей долей и вроде бы собирается «заложить» Ваньку с Танькой органам. Ее муж Сергей куда-то пропал, денег не было, а малолетний ребенок хотел есть.

Утром 29 января 1933 года соседи, зайдя в дом № 36 на улице Красных Зорь, обнаружили труп молодой женщины и ее четырехлетнего сына. Как потом выяснилось, Вера Прохорова была убита из нагана, а ребенка задушили полотенцем. Уже вечером того же дня неуловимый Цивинский с подельницей Екатериной Баташовой выехал обратно в Новосибирск. После приезда, соблюдая все правила конспирации, гастролер собрал весь свой криминальный «коллектив» и в ночь с 31 января на 1 февраля 1933 года ограбил квартиры врачей Петухова и Зякина, а заодно и профсоюзного работника товарища Волши. У врачей, помимо денег, взяли одежду, а в доме профработника — золотые украшения и вновь наган, купленный в спецмаге на вполне законных основаниях.

В третий день вьюжного февраля бандшайка Цивинского нанесла очередную звучную пощечину правоохранительным органам Новосибирска, ограбив квартиру работницы управления рабоче-крестьянской советской милиции. Больших трофеев из жилища товарища Старковой воры не взяли, но сам факт кражи стал предметом пристального внимания партийных руководителей. Из крайкома ВКП(б) полетели громы и молнии! Но, несмотря на это, уже четвертого февраля «джентльмены удачи» обездолили на одиннадцать тысяч рублей начальника типографии Плакадюка! Дерзкие ограбления ответственных работников заставили оперсостав угрозыска утроить усилия по поиску преступников. Милиция уже не по одному разу прошлась по «хазам» и «малинам». Кроме того, устроили несколько засад на квартирах крупных хозяйственников, а Цивинский и компания пятого февраля ограбили еще две квартиры в центре города, причем одну — днем. Первой жертвой стал... член президиума Запсибкрайкома ВКП(б) товарищ Пертняк, в квартире которого, кроме денег и часов, вооруженные члены бандшайки прихватили очередной пистолет — наградной браунинг. В квартире профессора Линдэ воров заинтересовали драгоценности и одежда.

После того как была получена информация о событиях в центре города, начальники в угрозыске приготовились к суровым карам, поспешающим с партийного Олимпа, но вместо ужасного наказания мудрое партийное руководство дало сыщикам последний шанс и неделю срока «для окончательного решения вопроса по бандшайке Цивинского». Отсчет времени начался с 6 февраля 1933 года.

В день начала недельного ультиматума Иван Алексеевич с подельниками обчистили квартиру заместителя начальника отдела «Кузбассугля» товарища Каташова. При этом трое преступников, вооруженные двумя наганами и браунингом, изнасиловали красивую жену ответработника. Это событие заставило весь оперсостав сосредоточиться на деле Цивинского. Вызванные из отпусков сыщики сели в засады на квартирах местных начальников, партийные работни-



ки не расставались с оружием дома, сидели в коридорах на табуретках с пистолетами наизготовку и каждый день ждали визита непрошенных гостей.

7 февраля 1933 года очередной жертвой стал еще один партийный руководитель: в жилище члена крайкома ВКП(б) товарища Кубасова пришли вооруженные люди со своим «руководителем» — Цивинским. Но это было еще не все. В тот же день бандиты совершили четыре кражи в общежитии крайисполкома. Вот такими «подвигами» сподручные неуловимого «сибирского Фокса» отметили второй день срока, отпущенного крайкомом ВКП(б). Дерзкие преступники открыто бросали вызов власти и партии! Такого позора в рабоче-крестьянской милиции еще не было.

Забыв все другие дела, опера дежурили на квартирах партийных начальников, но чуда не происходило — бандиты не появлялись там, где их ждали. Туда, где ждала засада, Цивинский не шел — каким-то особым чутьем он определял опасность. В один из последних дней срока, отпущенного операм на поимку шайки, Цивинского вновь чуть не задержали. Дело было так.

Вычислив квартиру небедного горожанина, Иван, оставив подельников внизу, поднялся на третий этаж и бесшумно открыл замок. Войдя в жилище, понял, что «добра» много, и хотел было начать «экспроприацию», но из соседней комнаты появилась молодая женщина с ребенком на руках. Цивинский не растерялся и сказал, что вошел в незакрытую дверь, напомнил о кражах в домах ряда руководителей. Женщина поблагодарила его за заботу, а вор сказал, что шел к ее мужу по очень важному делу, назвал фамилию и имя жильца (все это было написано снаружи на двери) и попросил разрешения подождать. Женщина разрешила. Посидев минут десять, Цивинский извинился за беспокойство, достал бумагу и карандаш и написал записку, которую попросил передать лично мужу. Откланявшись, Иван Алексеевич еще раз напомнил о том, что двери нужно закрывать и быть бдительней. Жена ответработника сердечно поблагодарила вора, обещая отдать записку супругу. Закрыв дверь, Цивинский быстро покинул подъезд. И правильно сделал, ибо в квартире напротив его ждала засада в два ствола. Готовые открыть огонь на поражение, сыщики стерегли входную дверь. Но в очередной раз промахнулись.

Вечером 7 февраля 1933 года на перекрестке улиц Линейной и Парижской Коммуны прохожий обнаружил труп молодой женщины. Позднее установили личность убитой. Это была Софья Баташова, сестра Екатерины Баташовой. Со временем установили и другие подробности убийства. Оказалось, что еще одна из подельниц была недовольна своей долей в воровском бизнесе и поплатилась за бунт. Рискуя своей свободой, она долгое время прятала золото и драгоценности, а когда у нее появилась нужда в деньгах, Иван отказал в поддержке. А ведь Софья, проживавшая на улице Овражной в доме № 19, неоднократно предоставляла ночлег и ласку членам банды. Она не хотела уходить из воровского сообщества, но требовала справедливого вознаграждения за риск и труды. Наконец Софья сказала, что «сдаст всех с потрохами и носить передачи не будет». Кроме того, она нехорошими словами обозвала главаря и его жену. Такое не прощали даже по пьяной лавочке. Цивинский приказал «убрать» Соньку. Последнюю точку, как поется в воровской песне, выстрелом из нагана поставил Павел Катышев, которому не впервой было убивать женщину. На улице Овражной, в различных местах дома убитой, в сарае и в бане, милиционеры нашли



много уже упакованных вещей. По отзывам соседей, Сонька вела разгульный образ жизни, нередко пила, но вместе с тем и щедро угощала знакомых. В гости к ней частенько заходили разные мужчины, но соседи большого внимания на них не обращали. Кое-кого соседи знали в лицо, и по приметам сыщики стали искать уже конкретных членов бандшайки.

После двух убийств Цивинский решил на некоторое время затаиться, хотя он не знал об ультиматуме, поставленном милиции (а ведь счет до крайнего срока шел уже не на дни, а на часы). Но для нелегального житья нужны были деньги. Оценив ситуацию, сообщники согласились «лечь на дно», но им требовались либо трофейные вещи и золото, либо деньги — на жизнь и попойки. Одним из должников главаря банды оставался Константин Плещев, упоминавшийся портной из магазина «Аккорд». С доставленных в его дом чужих вещей он сразу же брал свою (и немалую) долю — натурой в виде шмоток, которые ловко подгонял под фигуры покупателей. А вот время выплаты постоянно оттягивал, мотивируя проволочки различными обстоятельствами. Жил портной неплохо, но свой достаток не выпячивал, и соседи считали его середнячком по уровню доходов. Рискуя, несколько раз главарь лично навещался к Константину, но у того то не было денег, то сам портной предусмотрительно отсутствовал. Наконец терпение Ваньки лопнуло, и он пришел в дом к Плещеву уже со своим ультиматумом. Хитроватый портной вновь стал ссылаться на безденежных клиентов, которые платят частями, предлагают вместо денег продукты. Для ускорения реализации перешитых краденых вещей ему приходится прибегать к услугам посредников, которые работают не бесплатно.

Портной понимал, что Цивинского всюю ищут и задержание бандита — просто вопрос времени. А там и отдавать долг надобность отпадет. Плещев решил расстаться всего с тремя тысячами рублей — при задолженности вора в пятнадцать тысяч, а для умасливания грозного гостя послал жену за водкой. После нескольких рюмок храбрый портняжка потребовал еще на неделю отодвинуть срок выплаты, но Цивинский не согласился, и компаньоны поссорились. Слово за слово, упрек за упрек... После грубых оскорблений Цивинский достал револьвер и убил портного. Чтобы не осталось свидетелей, застрелил и жену Плещева. На звуки выстрелов прибежала соседка — избавился и от нее. В укромных местах дома убийца нашел деньги, золото, меха и часть уже перешитых вещей. Забрав «трофеи», вор направился на Кубановскую, к своей любовнице Ирине. Дело в том, что, чуя опасность, Татьяна Графеева исчезла — да так, что сам Цивинский не знал, где находится благоверная. (Возможно, Татьяна узнала об убийстве сестры Веры и осерчала на мужа.) Но свято место, особенно на любовном фронте, пусто не бывает, и новой марухой Ивана стала очередная доступная красавица с улицы Плеханова.

О тройном убийстве быстро узнали в угрозыске. Сыщики сразу поняли, что это дело рук Цивинского. Дочь Плещева, придя с катка, увидела страшную картину... Она и рассказала, что к отцу домой часто приходил «дядя Ваня», который по приметам походил на вора-гастролера и убийцу в одном лице. Сознаний не было — Цивинский все еще был в городе, но скоро мог исчезнуть.

Оперативники устроили засады в наиболее вероятных местах «квартирования» неуловимого вора и убийцы. На вокзале обосновались сотрудники, видевшие злодея. Все возможные пути вроде бы перекрыли. Учтя, что

Цивинский был хорошо вооружен и стрелял с двух рук, его решили заманить в безопасное место и там обезоружить. Сделать это удалось уже 9 февраля 1933 года. Главным инструментом в операции стал спецагент угрозыска по кличке Вера. До сих пор подробности блестящей операции по обезвреживанию уникального преступника не обнародованы, неизвестно и настоящее имя «Веры». (Возможно, агента загримировали под убитую Веру Прохорову и выманили Цивинского, чтобы тот добил предательницу более удачным выстрелом.) После задержания у главаря бандшайки изъяли наган, браунинг, вещи потерпевших, золото и деньги. Прижатый фактами к стенке, Иван Алексеевич стал давать подробные показания, понимая, что в двадцать восемь лет жизнь может закончиться и надо сотрудничать со следствием, чтобы заслужить судебную пощаду. Вскоре задержали остальных подельников, а Татьяну Графееву несколько позже арестовали в Казани.

Всех участников бандшайки приговорили к высшей мере наказания. Милиционер Бессонов, который помог бежать Цивинскому, заработал две «пятилетки» в лесном филиале ГУЛАГа. На тот же срок отправили в тюрьму Татьяну Графееву. С бандшайкой Цивинского было покончено. Но история походов «сибирского Фокса», изобилующая остросюжетными поворотами, наполненная как колоритными фигурами преступного мира, так и феноменальными растяпами из правоохранительной системы, еще ждет своего сценарного воплощения. Такими сюжетами бедна европейская часть России, а в Сибири вообще ничего подобного не происходило.

Конечно, борьба с организованной преступностью (этот термин официально появится только после развала СССР) на этом персонаже не остановилась. Был в Новосибирске и еще один прототип Фокса, любитель носить военную форму и совершать преступления. Ходить по улицам вечерами было небезопасно. Бандиты резали лица людей, зажимая между пальцев лезвия бритв. На квартирных выносах действовали еще наглее — вламывались в окна и двери, бросали хозяев в подполье и уносили все подчистую. Особой дерзостью отличался главарь по кличке Дунька, который ходил в офицерской форме с капитанскими погонами. Он предпочитал форму летчиков и артиллеристов. Для куража Дунька брал на дело гармошку, и, пока подельники ломались в двери, он во всю ивановскую наяривал лихие песни. С одной стороны — скрывал стук и крики, с другой — откровенно издевался над милицией.

Однажды Дунька нарядился в форму лейтенанта пожарной охраны и ясным днем подъехал на трехтонке со своими «строителями» к главному магазину города — Торговому корпусу, ныне краеведческому музею. Разгрузив доски, «работнички» принялись возводить вышку пожарного наблюдения с тыльной стороны здания. Тем временем под прикрытием глубже копался подземный ход... В конце концов торговые работники, отперев двери магазина, обнаружили пропажу из подземного склада тюков самой дорогой и дефицитной мануфактуры: воры вынесли ее подземным ходом. Дунька тоже исчез. Эта лихо обставленная ночная кража окончательно убедила фартового вора в своей неуязвимости. Однако чрезмерная самоуверенность главаря в итоге и сгубила. Попался он глупо и бездарно. Шел по улице один как ни в чем не бывало. Его опознал участковый милиционер, богатырь и силач. Тут и закончились похождения очередного «Фокса».

Народные мемуары

Вячеслав ИГРУНОВ

ХРОНИКИ ДОЛГОГО ДЕТСТВА*

5.

Я плохо помню четвертый класс, хотя он повлиял на меня, пожалуй, не менее, чем предыдущие. В том учебном году я подружился с Додиком Шуряком, и он весьма содействовал моему образованию. Прежде всего, я уже прочел довольно много из того, что читал Додик. Мы могли обмениваться мнениями, и, возможно, я представлял больший интерес для Додика, чем другие одноклассники. Впрочем, Додик вел себя так же высокомерно, как и прежде. Я для него оставался деревенщиной, с которой он не мог разговаривать на равных. Однако надо отдать должное, суждения Додика оказались поучительными. Например, он объяснил мне, что в превосходной успеваемости Букатар, как и ее подружки-отличницы Курочкиной (их так и называли — Курочка и Булочка), нет ничего особенного. Отличники бывают двух родов: одни прилежно осваивают школьные предметы, отвечая с исчерпывающей полнотой по предложенным лекалам, что очень нравится учителям, другие самостоятельно изучают предметы, идя нестандартными путями, что преподавателей раздражает. Эти вторые обычно получают несколько худшие отметки, чем первые. Зато в старших классах школы, когда предметы становятся трудней и требуют самостоятельной работы, показатели выравниваются. А когда школьники превращаются в студентов, отличники первого типа съезжают на тройки, тогда как вторые становятся лучшими. К первому типу отличников, как правило, относятся девочки, ко второму — мальчики. Курочка и Булочка относятся к первому типу отличников, Додик с Баевым — ко второму.

Теперь я стал захаживать в квартиру Шуряка, иногда вместе с Баевым, иногда даже сам. Тот факт, что Додик жил в отдельной, хоть и однокомнатной квартире, само по себе относилось нас к разным социальным стратам советского общества. Но в этой скромной квартире стояло пианино — пианино! — и полный шкаф книг, среди которых двенадцать томов вождя Жюль Верна. Да и вся мебель резко отличалась от нашей — потемневших от старости шкафов, хлипкой этажерки с дешевыми книжками в бумажных обложках, металлических кроватей и стульев с фанерными сиденьями. Впрочем, надолго в квартире я не

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2022, № 7.

оставался. Насколько я помню, Додик ссылался на прямой запрет со стороны родителей. Баев же мог бывать у Додика часто и засиживаться подолгу. Баеву давались книги из шкафа, а мне даже показывали их только через стекло. Сейчас я и вспомнить не могу, что же приводило меня в этот дом. Но сам факт проникновения в сакральное жилье подчеркивал наши особые отношения.

Додик много рассказывал мне о Тимуровском объединении Советского Союза, которое он, бесспорно, возглавлял. Аббревиатура ТОСС очень часто появлялась в Додиковых тетрадах. ТОСС считался тайной организацией, и тоссовцы даже переписывались при помощи тайнописи. Додик показывал мне квадратики, заполненные буквами, которые немедленно превращались в осмысленные тексты, как только Додик накладывал дешифратор на хаос букв. Впрочем, выяснить, что же конкретно делали тимуровцы, во всяком случае под руководством Додика, мне не удавалось, и к концу четвертого класса я испытывал уже раздражение от невозможности стать членом ТОСС. Правда, Додик объяснял мне, что тимуровцем может стать только тот, кто учится на «хорошо» и «отлично» — куда уж мне! Но я вспоминал, как ежегодно мы вскапываем двор и сажаем цветы, и мне казалось, что в тимуровцах я смогу сделать еще больше полезных дел, но... Но к тимуровцам меня не допускали. Тогда я стал настаивать, чтобы Додик познакомил меня с другими тоссовцами, чего, разумеется, Додик сделать не смог. Я же продемонстрировал Додику какую-никакую команду, которая соглашалась даже учиться под его, Додика, руководством. Правда, когда — уже в пятом классе — Додик пришел к Перекрестову с микроскопом, кроме меня, Алика и Толи, никто больше не явился. На втором, и последнем, занятии вообще присутствовали только мы с Аликом. После этого учеба прекратилась, однако я сумел убедить Додика временно передать мне руководство Тимуровским объединением, в которое я втянул еще двух одноклассников, в том числе и Сережу Лунца.

Сережа Лунц в классе занимал особое положение. Уже с первых дней в новом коллективе я знал, что его папа — профессор, награжденный орденом Ленина. Учительница говорила о нем с пиететом и иногда убеждала Сережу учиться лучше, чтобы быть достойным папы. Впрочем, с Сережей она обращалась как с хрустальным. Лунц даже неплохо учился, хотя, конечно, к лучшим ученикам не относился. Позднее, когда мы с ним сблизились, учителя не могли одобрить такой дружбы, но Сережа показал характер и сказал, что он сам выбирает, с кем ему дружить. Эта дружба, возможно, негативным образом сказалась на Сереже. Вскоре после моего ухода из 59-й школы он стал троечником, а в седьмом или восьмом классе и вовсе остался на второй год. Надо сказать, что Додик и Сережа не дружили между собой. Более того, между ними лежала постоянная тень. Совершенно не могу вспомнить, в чем это выражалось, однако моя дружба с Сережей отдала меня от Додика.

...Недругов у меня хватало. Особенно много врагинь у меня накопилось среди девочек. Я не помню ни одного имени, но какое-то множество врагов в юбках помню достоверно. Именно их агрессивность вызывала и мальчишеские наскоки.

Толчком к росту числа конфликтов в классе и в этот раз послужили действия учительницы. Я уже говорил, что при любом удобном случае она старалась меня выставить в дурном свете, призывая одноклассников научить меня правильному поведению.



А однажды случилось совсем неприятное событие.

Еще весной, лежа в больнице в большой палате, я увидел, как мальчик, мой ровесник, рисует боевые сражения, военные корабли и самолеты. Мне ужасно понравились его рисунки, тем более что формы военных кораблей мне показались совершенно необычными, ведь мне приходилось видеть только гражданские суда. Я стал понемногу рисовать, подражая этому мальчику, и все больше и больше увлекался рисованием. Обычно рисунки я делал на чистых листах в конце тетради, за что бывал не раз наказан. Тогда я стал рисовать на цветных вкладышах в учебниках. Рисовал я на занятиях, слушая рассказ учительницы, но это продолжалось недолго. Однажды Павла Андреевна заметила мое усердие и потребовала учебник. Перелистав его, она обнаружила на всех вкладышах рисунки, что возмутило ее невероятно.

— Смотрите, дети! — продемонстрировала она их всему классу. — Этот мальчик издевается над вождем нашей революции. Видите, он на Ленине рисует свастики.

Тщетно я пытался объяснить, что рисовал на чистой стороне вкладыша, что свастика помечала сбитые фашистские самолеты, — помочь это ничему не могло. Впоследствии учительница не раз говорила: «Что можно ждать от мальчика, который рисует свастики на портретах Ленина!»

Нервное напряжение между мной и большинством учеников росло постоянно. За пару месяцев я выпил довольно много прописанного мне акрихина, и цвет моего лица приобрел явственно желтый оттенок. Ребята стали посмеиваться надо мной, трансформируя мое имя «Вячек» в «червяк». Учительница никогда не пресекала подобные выходки, хотя мне казалось, что она должна быть моей защитницей. Дело дошло до того, что даже во время уроков некоторые ребята стали выкрикивать в мой адрес: «желтый червяк». И это шло по нарастающей. Однажды, услышав «китайский болванчик», Павла Андреевна не промолчала и стала укорять учеников:

— Ребята, не надо так говорить. Вам не следует обижать китайских детей. Китайцы чрезвычайно трудолюбивый народ, а китайские дети талантливы, хорошо учатся и очень уважают родителей.

Все притихли.

— А теперь перейдем к уроку.

Не помню, стали ли реже меня называть китайским болванчиком, но желтым червяком называли вплоть до моего ухода из 59-й школы. Испытывая понятные чувства, я наотрез отказался продолжать пить акрихин, что вынудило мою мать прийти в школу и поговорить с учительницей. Однако легче мне не стало.

Во втором полугодии приключилась еще одна знаменательная история.

Во время большой перемены проветривали помещение. Открывались окна, а чтобы никто не простыл, ученикам категорически запрещали входить в класс. Однажды после такой перемены одноклассник Стасик объявил учительнице, что у него украли пять рублей. Сумма сумасшедшая. Школьный завтрак стоил один рубль. А для моих родителей пять рублей вообще были баснословными деньгами. Понятно, какое возбуждение возникло в классе. Учительница сразу приступила к следственным действиям.

— Стасик, откуда у тебя деньги?

— Я принес их, чтобы вернуть долг Матюхину.

— Дежурная, кто заходил в класс на перемене?

— Никто.

— Неправда, — возразил Стасик. — Игрунов заходил.

И Стасика поддержал Матюхин.

— Не только Игрунов, — вмешалась другая дежурная. — Три человека заходили.

— Кто?

Одна из входивших — Курочкина, второй — Белов. Третий — я, который положил ручку на свою парту, стоявшую как раз напротив двери.

— Курочкина взять не могла, — с абсолютной твердостью сказала учительница.

— Белов тоже не мог взять — он мой друг, — сказал Стасик.

Этот довод учительница сочла основательным. Следовательно, воров оказался я. Я пытался сказать, что вовсе не подходил к раздевалке. Просил, чтобы дежурные подтвердили, что я не делал даже нескольких шагов в классе, но учительница оставалась непреклонной. В соответствии с ее вердиктом я обязывался вернуть Стасику пять рублей.

Где я мог взять такие деньги?! Я не мог их вернуть. Прийти и сказать родителям, что меня несправедливо обвинили, и попросить дать пять рублей я не мог. Мои родители немедленно верили всему дурному, что обо мне говорили, и наказание следовало немедленно. Бывали исключения. Я об этом писал. Но одной руки хватит, чтобы эти исключения пересчитать. А с деньгами дело обстояло и вовсе худо.

В пятилетнем возрасте я имел копилку. Случалось, родители давали мне мелкие монеты, и этих денег накопилось больше рубля. Однажды соседский мальчик, который учился тогда в шестом или даже седьмом классе, пригласил меня в кино. Слишком занятые родители почти никогда не водили меня в кино-театр. Да и специфически детских фильмов в Доме культуры сахарного завода, возможно, не показывали. Так что я с радостью согласился. Вот только проблема — у подростков, двоих одноклассников, не хватало денег мне на билет, поэтому они попросили взять с собой копилку, что я и сделал. После кино я поставил копилку на подоконник, где она всегда стояла. Вечером отец, узнав, что я ходил в кино и брал с собой копилку, решил проверить, сколько же денег там осталось. Увы, их не осталось вовсе. Билет же стоил 25 копеек для взрослых и 10 для детей. Отец разозлился страшно, и меня ругали как никогда. После чего уложили спать. Отец также лег. Над моей кроватью висел папин пиджак. Поднявшись, я запустил руку в карманы и обнаружил там две монетки по 15 копеек. Вскороости, когда мама проходила через мою комнату, я показал ей эти деньги и сказал, что поменялся с мальчиками: они взяли то, что оставалось у меня в копилке, а взамен дали эти две монеты. Мне казалось, что таким образом я смогу смягчить гнев отца. Не тут-то было!

— Лёля, — сказал отец из своей комнаты. — Посмотри в карманах пиджака, там у меня лежали две монетки по пятнадцать копеек.

У меня в груди похолодело. Мать запустила руки в карманы и, естественно, ничего не обнаружила. Разъяренный отец вбежал в мою комнату, вытащил меня из постели и, зажав голову между колен, выдрал ремнем так, что я кричал не своим голосом. Плачущий, я долго не мог заснуть.

Смутно вспоминаю еще одну историю, когда я возил несколько монеток в сумочке для велосипедного инструмента. Совсем не восстановлю, что тогда при-



ключилось, однако помню, что отец схватил меня за загривок и хотел отлупить. Я вырвался и побежал от него. Несколькими прыжками он настиг меня, сбил наземь и в ярости принялся бить ногами. Мне тогда едва ли исполнилось шесть лет. С тех пор я старался к деньгам не притрагиваться.

Как бы то ни было, я имел основания полагать, что если история с пропавшими пятью рублями станет известна родителям, то, во-первых, они непременно поверят в мою виновность, а во-вторых, мне достанется по первое число. Тем более что не так давно отец избил меня до крови. Мне оставалось только одно — достать деньги. Где?

У меня созрел план. Не помню, под каким предлогом я убедил мать не давать мне в школу бутерброды, а давать по рублю, чтобы я мог позавтракать в школьной столовой. Разумеется, в столовой я не ел, а деньги отдавал Стасику. Удавалось мне это нечасто, и возвращение денег растягивалось на несколько недель. Я успел отдать только три рубля, и Стасик с Матюхиным угрожали меня побить, если я не рассчитаюсь с пострадавшим в кратчайшие сроки. Мама же отказывалась мне давать деньги, и, казалось, расправа неминуема. Стасика я немного побаивался, но еще мог бы с ним драться, но с Матюхиным...

Как это часто бывает, спасение пришло неожиданно. Матюхин рассказал Додику, что никакие пять рублей у Стасика не пропадали. Просто Стасик и Матюхин разыграли пропажу. Я тут же на уроке встал и сказал учительнице об этом. Шуряк подтвердил. Павла Андреевна смутилась. Она пожурила Стасика и Матюхина и потребовала, чтобы они извинились передо мной. Чего, разумеется, ни тот, ни другой делать не стали. Впрочем, учительницу это больше не беспокоило. Зато я мог не мучить маму своими просьбами дать мне рубль на школьный завтрак.

По прошествии времени я понял, насколько чудовищно несправедливо поступила учительница. Она не попыталась выяснить у родителей Стасика, давали ли ему эти деньги. Она не попыталась выяснить, мог ли Стасик задолжать Матюхину такую сумму — ведь семья Матюхина много уступала моей в благосостоянии, и у Матюхина никогда не бывало денег с собой. Она не захотела слушать объяснения дежурных. Ей требовалось только образцово наказать меня. «Почему?» — спрашиваю я себя. И не могу дать ответа. Но тогда я даже не думал о том, что в действиях учительницы был злой умысел. Как и во многих других случаях, я думал, что Павла Андреевна просто ошибалась. Сейчас я полагаю иначе и уверен, что атмосфера неприязни ко мне, которая создавалась в классе и которая нанесла мне тяжелейший психологический вред, является в значительной мере ее виной. Повторяю, я это осознал, став довольно взрослым. А тогда я даже любил свою учительницу.

6.

<...> Лето кончилось, и главная жизнь снова сосредоточилась в школе. Вместо единственной учительницы теперь у нас вели занятия множество преподавателей-предметников и классная руководительница — учительница английского языка. Появились и новые ученики. За первой партой в нашем ряду появилась высокая красивая девушка по фамилии Скороходова — и вызвала у меня неожиданное чувство. Ее симпатии я искал — безнадежно. Но все же странная дружба с Шуряком оставалась для меня самым главным в те дни.

Разговоры о ТОСС, переписка шифровками и, наконец, игра в морской бой не прерывались ни на уроках, ни на переменах. В морской бой мы играли даже дома у Додика, несмотря на то что он по-прежнему старался меня не приглашать к себе. Додик всегда приходил на занятия с выполненными заданиями, я же, уйдя из школы, тратил почти все время на чтение книг или на игры с друзьями. Даже в школе на уроках, когда я не играл или не переговаривался с Додиком — а для этого иногда менялся с Баевым местами, — я читал книжки и, естественно, не слышал, о чем идет речь на уроке. В отличие от Додика, я погружался в игру без остатка, тем более что Шуряк, безусловно, играл намного лучше меня. Мне очень хотелось выигрывать. Додик не только побеждал, но и демонстрировал полное превосходство, стреляя системно, тогда как я действовал хаотично. Когда я понял, что может существовать система, и выработал свою, наша игра более или менее выровнялась, но это не мешало мне по-прежнему в ней утопать.

Если Додика поднимали, он делал серьезное лицо и чаще всего отвечал более-менее верно. Мне это не удавалось, я обычно отвечал невпопад, а еще чаще молчал в растерянности. Это вызывало хохот. Стасик меня передразнивал, что усиливало веселье в классе, и учителям трудно стало с этим бороться. Меня начали ставить в угол. Но это приводило к еще большей дезорганизации урока. Увидев, что мои действия вызывают смех, я стал паясничать за спиной учителей, повторяя их движения и кривляясь. Класс стало невозможно успокоить — ученики покатывались со смеху. Меня регулярно выгоняли из класса вовсе, вызывали родителей, но изменить что-то не удавалось. Разумеется, это вызывало раздражение учителей, они меня наказывали все строже и строже, а я отвечал им безразличием к их предмету.

Самой нелюбимой стала учительница русского языка — благодаря странной методике обучения. Помню ее диктанты. Она торопилась так, что даже самые успевающие ученики — Букатар, Курочкина — не попевали за ней. Она останавливалась только после просьб Букочки и повторяла часть предложения, однако повторяла, нарушая синтаксическую цельность. Слова также она старалась произносить так, чтобы спровоцировать ошибки. На жалобы учеников она отвечала: да, я умышленно говорю невнятно и не следую пунктуации — кто учит правила, не ошибется, учитесь лучше. У меня учиться лучше не получалось. Я учился хуже. Хуже всех, если не считать Матюхина.

Не думаю, чтобы я был совершенно неграмотным, хотя после этой учительницы у меня о себе сложилось именно такое представление. Ведь и прежде, на протяжении двух лет, я не числился на хорошем счету. И все же — довольно много читал. Мама говорила:

— Вяченька, когда ты читаешь, запоминай, как пишутся слова, — это лучшая форма обучения.

И я старался следовать ее совету. Однако следовал плохо. Нескончаемые двойки в моих тетрадях убеждали меня в моей плохой памяти, невнимательности и тупости. Я пытался читать внимательнее, но это не меняло оценок в тетрадях. И очень быстро я махнул на себя рукой. Двойка в первой четверти. Двойка во второй.

С другими предметами тоже возникли свои сложности. Ставить мне тройку вполне привычно. По привычке тройки мне и ставили. Не уверен, что всегда заслуженно. <...>



У учителей выработалось солидарное отношение ко мне. Например, учительница английского языка не только сама упорно ставила мне тройки, но и выказывала недовольство, когда другая учительница — истории и географии — ставила мне лучшие отметки. Я помню, как последняя при школьниках с раздражением отвечала классной:

— Почему я ему должна ставить другую оценку, если он знает предмет?

И действительно, она поставила мне четверку по географии, а затем и пятерку по истории. Да и почему бы не поставить? Географию любил мой отец, и он избрал вопросы по географии способом моего усыпления по ночам: в нашей одной комнате такой мотив имел для него практическое значение. Соревнование с отцом настолько распалило мой интерес к географии, что со временем я стал ее настоящим знатоком, а книжки о путешествиях и географических открытиях стали моим любимым чтением. Любовь к Жюльо Верну только усиливала эффект. В пятом классе я уже знал довольно много, в том числе почти все государства мира и их столицы. Впрочем, в школе мы изучали физическую географию и знания политической географии понадобились мне только в старших классах.

Историю я знал, конечно, слабее, однако учебник по древней истории я прочел еще до начала учебного года. Египет и Вавилон оставили меня довольно равнодушными, а Индия и Китай откровенно не понравились. Зато историю Греции и Рима я проглотил на одном дыхании. И отличная оценка могла быть вполне заслуженной, но тем не менее она вызвала недоумение у классной руководительницы. Правда, классная, незадолго до моего изгнания из школы, в разговоре с мамой сказала нечто, вселившее в меня чувство гордости.

— Вячек, — сказала она, — способный мальчик, только очень неусидчивый. «Способный мальчик!» — ликовал я в душе. Вот если бы Додик это слышал!

И одного этого хватило, чтобы я полюбил свою учительницу.

Однако отношения с учителями повторялись и в отношениях с одноклассниками. Возможно, каникулы помогли несколько приглушить травлю, которой я подвергался в четвертом классе, однако подчас я слышал: «желтый червяк». Особенно старался все тот же Стасик. Мои ответы невпопад и тем более клоунада смешили одноклассников, но авторитета мне не прибавляли. Большая часть класса относилась ко мне недружелюбно. Даже Додик осуждал меня. Разумеется, это выражалось и в насмешках. <...>

Впрочем, со своей стороны, я донимал Додика требованиями предъявить хоть какие-то реальные свидетельства существования ТОСС, командиром которого он якобы являлся. Безрезультатно. Тогда я стал требовать, чтобы командование одесским отрядом ТОСС возложили на меня. И при поддержке Лунца этого добился. Мы с Сережей оборудовали штаб в каком-то вагончике-теплушке на территории НИИ возле Технологического института, где преподавал Лунц-старший, и собирались там своей командой. Шуряк и Баев заглянули туда хорошо если два раза. Впрочем, вся тимуровская деятельность сводилась к составлению планов на будущее лето. Эта борьба вокруг ТОСС, возможно целиком выдуманного Додиком, усиливала пикировку между нами, но при этом наши отношения оставались вполне товарищескими.

В декабре 1959 года мой отец получил новую квартиру. Он уже пару лет работал в Облсовпрофе — Областном совете профсоюзов — начальником отдела труда и заработной платы. Повысившийся социальный статус и зарплата

позволили ему вывезти семью летом в Сочи, а теперь и получить квартиру. Однокомнатную. Хотя отцу на большую семью полагалась двухкомнатная, но он не имел пробивных способностей, и в последнюю минуту двухкомнатную квартиру передали другому партфункционеру, а отцу предложили либо еще оставаться в очереди, либо брать то, что дают. Неопишуемая нервозность царила в доме несколько недель. От меня, разумеется, скрывали происходящее, так как боялись, что любая утечка информации может сорвать получение квартиры. Мать с отцом о чем-то переговаривались, и только в последние дни перед получением ордера страсти вырвались наружу и я узнал, в чем дело. Нельзя было понять, радость ли в семье? Больше похоже на горе.

После долгих обсуждений родители решили согласиться на однокомнатную квартиру — и потому, что все могло бы измениться за время ожидания, и потому, что мать уже не могла жить с бабкой, да еще и в удручающей тесноте. Надо уезжать. Но волнения на этом не кончились. В доме велось множество разговоров о том, что немедленно после выдачи ордера и ключей надо ехать в пустой дом — четыре стены, чтобы кто-нибудь из очередников не вселился самовольно — поди потом высели его оттуда! И вспоминалась тьма случаев, подтверждающих страхи. Несколько дней семья жила в напряженном ожидании. Сидели если не на чемоданах, то на раскладушках. Как только отец получил ключи, он меня и бабушку отвез на Богдана Хмельницкого и, оставив на ночь, поехал на Пироговскую, чтобы до утра с матерью упаковывать скарб для переезда.

Утром, когда в дверь врезали новый замок (на стандартные замки никто не полагался — ключи походили один на другой как две капли воды), меня отпустили в школу, где я и объяснил причину своего опоздания. Радостный огонек блеснул в глазах классной руководительницы. Грешным делом, я подумал, что она обрадовалась за меня. Но все оказалось гораздо прозаичнее.

Четверть кончилась. На собрании всех пятых классов, проходившем в актовом зале, учителя рассказывали о результатах учеников в новом учебном году. Кого-то хвалили и из нашего класса. Но, когда перешли к неудачам, выяснилось, что в школе есть два очень плохих ученика: Матюхин, получивший во второй четверти двенадцать двоек из тринадцати возможных, и я, получивший всего три двойки в четверти, но зато продемонстрировавший самое плохое поведение в школе. Но публичное клеймение стало только прелюдией к самому главному: моим родителям то ли поставили ультиматум, то ли дали хороший совет. Совет, действительно, хороший — он спас меня для меня самого. Но я воспринял его как ультиматум.

Родителям объяснили, что существует реальная угроза оставить меня на второй год. Чтобы избежать этого, им предложили перевести меня в школу по месту жительства. Я упирался. Я не хотел покидать двор на Пироговской, я даже просил родителей оставить меня жить с бабкой — с ненавидимой бабкой! Но еще меньше я готов был уйти из 59-й школы. Там оставались мои друзья.

У родителей нашлись свои резоны. Школа № 103, куда мне по формальным основаниям пришлось бы ходить, находилась километрах в полтора от дома, в одном из самых неблагополучных районов Молдаванки. Чем могла окончиться учеба там, если и в 59-й проблемы множились день ото дня, родители не могли представить. Правда, рядом с домом располагалась школа № 2, но она относилась к другому микрорайону. Конечно, отец, как партработник, мог бы убедить директора взять сына не по прописке. Однако этому мешал мой табель



успеваемости. И родители колебались. К моей радости, после каникул я продолжал ходить в прежнюю школу, хотя для этого приходилось ехать несколько остановок трамваем и родители очень беспокоились. Но это продолжалось недолго — какой-то новый конфликт в школе резко ускорил развязку. Родителям предложили компромисс: мне ставят пятерку по поведению, чтобы открыть дорогу в новую школу, а родители немедленно забирают меня. Этот компромисс устроил всех взрослых.

...Последний разговор с Шуряком, оставшийся в памяти, произошел едва ли не в день прощания, в классе, у наших парт рядом с дверью.

— Вячек, — сказал мне уже облачившийся в пальто Додик, — из тебя никогда ничего не выйдет: ты слишком разбрасываешься. — И посмотрел на Баева, который согласно кивнул.

Меня поразил этот разговор, хотя тогда я абсолютно не понял, что Додик имел в виду. Лишь десятилетия спустя, кажется, я стал понимать его. Меня он поразил подведением черты, итогом — Додик вполне рационально понимал, что мы прощаемся навсегда. Я же оставался слишком ребенком, чтобы воспринимать жизнь так трезво, как это делал Шуряк. Мы были ровесниками, но интеллектуально и эмоционально Додик, конечно, был намного взрослее меня.

Мне очень жаль, что наши отношения оборвались слишком быстро и я потерял всякий след товарища, сыгравшего такую важную роль в моей жизни. Кто-то из соучеников сказал мне много лет спустя, что Шуряк стал кандидатом физико-математических наук и работал в новосибирском Академгородке. Сказал это тогда, когда для меня, садовника или сторожа, это могло считаться реальным достижением. Но я так никогда и не сумел проверить истинность этого сообщения, как никогда и не смог узнать о Додике ничего больше.

Моя школа

1.

Вторая школа произвела на меня впечатление. После унылой коробки советской постройки я попал в мрачноватое — из-за обилия деревьев за окнами — двухэтажное здание бывшей гимназии с просторными холлами вместо коридоров, с галереями, чугунными литыми лестницами, полами, сделанными «под мрамор». Если в 59-й школе, пронизанной суровой казенщиной, училось около двух тысяч человек, то во 2-й, несмотря на сплошной двухсменный режим, вряд ли насчитывалось больше 600—800 учеников. Здесь царила свободная и почти семейная атмосфера. Однако я себя чувствовал весьма скованно. И дело не только в новом коллективе — накануне отец предупредил: если меня выгонят и из этой школы, то он спустит с меня шкуру, а потому я не только должен прилежно учиться, но и держать себя ниже травы и тише воды.

На первом же уроке меня подняла учительница биологии, Розалия Григорьевна, и попросила рассказать строение корня. Я ответил. Ответил как обычно — к уроку не готовился, но что-то знал. Каково же было мое удивление, когда учительница не только поставила мне четверку, но и при всем классе сказала:

— А язык у него подвешен неплохо!

На следующий день на уроке математики меня пересадили за заднюю парту вместе с завзятыми двоечниками и закадычными друзьями Ковальчуком, Бату-

ровым и Долженко, не справившимися с предыдущей контрольной работой, и предложили повторную контрольную. Пока остальные ребята в классе занимались новым материалом, мы корпели над решением трех примеров. Через день нам объявили результаты и выдали на руки наши листочки. Два ученика опять не справились и получили двойки, а два заслужили тройки: Батуров и я. Но Батуров правильно решил один пример из трех, а я справился с тремя. Меня настолько поразила одинаковая оценка результатов, что я тут же спросил у учительницы: почему так? Ведь если я справился с полноценным заданием — а на контрольных обычно и задавали по три примера, — мне полагалась пятерка. Я мог согласиться и на четверку — прежние мои учителя всегда снижали оценки за каллиграфию, хотя я далеко не всегда писал плохо. Но тройка? Почему?

Если Розалия Григорьевна, пожилой человек, чувствовала себя уверенно и, как я впоследствии узнал, почиталась своими коллегами, то преподавательница математики обладала быстро проходящим недостатком — молодостью. Возможно, неуверенностью молодого специалиста объяснялся ее ответ:

— Ведь для тебя и тройка хорошая отметка. У тебя в прошлой четверти стоит два. А то, что ты справился с заданием, еще ни о чем не говорит: может, ты его списал у кого-нибудь.

— Но у кого я мог списать, если другие не решили примеры, а я решил?

— Не знаю. Но разговор окончен. Я буду тебя чаще спрашивать, и если ты заслужишь, получишь отметку лучше.

Я такой логики понять не мог. Однако приходилось смириться, принимая во внимание печальный опыт споров с учителями 59-й школы: я мог остаться не только с тройкой за контрольную, но еще и получить двойку за поведение или, по крайней мере, запись классного руководителя в дневник о плохом поведении, чего я боялся как огня.

В целом первая неделя прошла благополучно. Со мной доброжелательно разговаривали девочки — в их глазах я не выглядел паяцем, не слыл желтым червяком. Ко мне благосклонно отнеслись и мальчики, особенно Ковальчук, а вслед за ним и его приятели, Долженко и Батуров. Мое скверное поведение в 59-й школе послужило мне, пожалуй, неплохой рекомендацией в новом классе. С Батуровым мы даже немного дружили потом, но где-то в шестом классе Батуров исчез — его отец, офицер, если не ошибаюсь, получил новое назначение, и семья уехала из Одессы. Однако ранняя дружба с троицей обернулась для меня угрозой.

Как-то раз Долженко принес в школу пачку этикеток от консервных банок и устроил раскидку. Тут же образовалась «куча мала» — «малакуча». Ковальчук, который действовал энергичнее всех, всучил собранные этикетки мне, с недоумением наблюдавшему за происходящим. Я еще не знал, что эти неказистые полоски крашеной бумаги на Молдаванке служили такой же детской валютой, как киноплёнки на Пироговской, расположенной неподалеку от киностудии. С полным безразличием я положил этикетки в портфель и отправился домой.

На следующий день у меня обнаружился тяжелейший грипп. После болезни я пришел в школу в приподнятом настроении — выздоровление всегда приносит с собой эмоциональный подъем, а у меня к тому же в портфеле лежали тетради с выполненными уроками. Такого еще не случалось никогда: я отсутствовал неделю, а домашние задания тем не менее сумел выполнить, и выполнить хорошо. Не помню, где я брал задания, но уроки готовил вместе с отцом. Отец, который прежде практически не уделял мне внимания, теперь каждый день, вернувшись с рабо-

ты, проверял тетради и дневник, помогал готовить арифметику и русский язык. И продолжалось это довольно долго. Вероятно, весь остаток третьей четверти.

И вот, радостный, я захожу в класс, и меня сразу же окружают новые приятели. Не проходит и пяти минут, как появляется учительница, которую до того я не видел ни разу, и весьма жестко требует, чтобы я собирал портфель и шел за родителями. В чем дело? Почему? Оказывается, нам не нужны в школе хулиганы. Но почему я? И тогда в классе начинается дознание. Все дети усажены за парты и спрошены, была ли неделю назад в классе «малакуча». Была. Кто ее устроил? Молчание. Люда, кто устроил раскидку? Новенький. Все понятно? Сейчас же домой — и родителей в школу! Неказистая учительница представилась классным руководителем. Животный страх захлестнул меня. Я не мог, не мог показаться дома: если отец узнает, что я учинил в классе беспорядки, экзекуции не избежать. Но и мать меня не жалела. Оставалось одно — убежать из дому. Но куда? Жить на чердаке на Пироговской? Но ведь зима! Да, но у меня есть штаб ТОСС — вагончик с электрическим отоплением, где можно прятаться первое время!

Я смутно помню встречу с Лунцем. Помню, что он убедил меня рассказать все матери. Все как есть. И я вернулся домой. Благо мать не дежурила, и я вместе с ней пришел в школу. Помню разговор у завуча, Майора Марковича, следующим днем. Скорее всего, имя его звучало как Меир, но все, включая учителей, называли его Майор. И вот этот самый Майор Маркович в присутствии Аси Григорьевны, нашей классной, начинает упрекать мать в том, что ребенок ведет себя плохо, несмотря на клятвенные заверения отца. Я утверждаю, что все обвинения — неправда. Майор Маркович удивленно смотрит на Асю Григорьевну. Ася Григорьевна с жаром и нехорошим блеском в глазах утверждает обратное: Люда Чаплыгина, староста класса и дочь учительницы русского языка, честная девочка, она лгать не станет.

— Но ведь мальчик говорит, что это неправда.

— Тогда пусть скажет, кто это сделал!

— Не знаю кто.

— Вот! Видите, если бы не он...

Добрейший человек Майор Маркович! Светлая память ему! Сколько раз впоследствии я встречал его, тихо, почти тенью идущего по коридорам школы, столько раз мое сердце наполнялось благодарностью. Майор Маркович спас меня не от побоев. Он спас меня от верного человеческого крушения. Я убежден по сегодняшний день: не оставь он меня в школе, моя судьба сложилась бы трагично. Но Майор Маркович решил еще один раз поверить мне. Ася Григорьевна настаивала на другом решении. Она даже упрекала Майора Марковича, что он взял еще одного хулигана в ее класс и что работать станет невозможно, но Майор Маркович остался непреклонен. И kloчочущая от ярости Ася Григорьевна повела меня на урок. <...>

Во 2-й школе мне повезло: я попал к учителям, идеально подходившим моему характеру. И очень быстро со мной стали происходить разительные перемены. После того как в третьей четверти я получил положительные оценки даже по математике и русскому языку, отец с облегчением оставил занятия со мной, только мать более или менее регулярно проверяла, приготовил ли я уроки. Конечно же, не обходилось без скандалов. Но четверки мне стали ставить так же часто, как и тройки. Редкие пятерки тоже ни у кого не вызывали удивления. Я стал обычным учеником. И само по себе это вызывало у меня чувство гор-

дости. Правда, возможно, именно занятия с отцом привели к неожиданному результату: задачи по арифметике я решал несколько не так, как другие. Но еще более «не так» я впоследствии решал задачи по алгебре, «не так» доказывал геометрические теоремы и «не так» брал интегралы. Впрочем, как выяснилось, я и многое другое делал «не так». Явилось ли это следствием моего выпадения из общего потока в пятом классе, было ли это результатом мучительных ежевечерних схваток с отцом, по наитию искавшим методы решений, я не знаю, но это проявившееся «не так» сделало меня самостоятельно мыслящим человеком и придало уверенности — пожалуй, и мужества — в столкновении с жизнью.

2.

Чем старше я становился, тем меньшую роль в моей жизни играл двор, улица, и тем большую часть дня я проводил в школе, в читальном зале библиотеки, дома у себя и своих товарищей. Впрочем, это не означает, что я стал домашним мальчиком, нет. На Богдана Хмельницкого, или Госпитальной — так, прежним именем, чаще мы называли нашу улицу, — у меня появилось гораздо больше друзей, чем на Пироговской.

Поначалу, конечно, я старался любой свободный час потратить на поездку к Лунцу, Алику Перекрестову или просто во двор, где прожил три с половиной года. Но постепенно эти визиты становились все реже. Тем более что у меня появились новые обязанности. В предыдущем году на Пироговской я все чаще и чаще забирал свою сестру Люду из детского сада. Теперь же это вошло в ежедневные обязанности, а в те дни, когда мама уходила на дежурство, приходилось еще и отводить ее в сад. Кроме того, если на Пироговской мне случалось делать мелкие покупки лишь эпизодически, то на Госпитальной покупки превратились в постоянную заботу — магазины хотя и располагались не так уж далеко, но все же несколько в стороне от кратчайших путей домой. Да и урокам вынужденно я посвящал существенно больше времени, чем прежде. Так что долгий путь на Пироговскую — полчаса в одну сторону — вскоре стал для меня труднопреодолимым, и только летом я проводил в своем старом дворе целые дни.

Двор на Госпитальной сначала казался неинтересным. Во-первых, отсутствовали чердаки. Да и подвалы нашего дома не шли ни в какое сравнение с подвалами Пироговской. Но и к ним доступ сильно ограничивали запоры. Во-вторых, никаких черных дворов. Вся ребятня играла на огромном открытом пространстве прямо на глазах у взрослых. Ну что это за игра? Но, с другой стороны, этот большой двор кольцом окружали дома, в которых обитало видимо-невидимо моих ровесников. И, в отличие от Пироговской, мальчики здесь дружили с девочками и играли общими компаниями. Посреди двора раскинулся огромный пустырь, дававший простор самой бурной детской энергии. По его краям стояли одноэтажные домики — длинный барак, обшитый черными от времени досками, который года три спустя снесли, и огороженный забором особняк, впрочем, давно уже не особняк, поскольку был поделен на две или три семьи. Все дома поначалу отделялись друг от друга заборчиками, так что топография местности более или менее годилась для таких динамичных игр, как казаки-разбойники, которые естественно выплескивались и на улицу.

У самого забора нашей части двора, очень маленькой, совершенно пустынной, отмеченной только трансформаторной будкой, стояла роскошная голубят-

ня. Она вызывала у нас живейший интерес, равно как и сманивание голубей из ближних голубятен, которых в наших краях мы знали по крайней мере две. Естественно, что уже довольно рано мы, несколько мальчишек, смастерили и себе маленькую голубятню и купили несколько голубей. Правда, большую часть из них тут же сманили, в том числе и моего голубя, а за остальными мы не очень-то умело ухаживали. В конце концов, после нескольких попыток заселить нашу голубятню, мы сдались, и я, пожалуй, сдался первым — денег на покупку второго голубя у меня не нашлось.

Советское строительство отличалось безобразным небрежением. Мы въехали во двор, заваленный мусором; асфальтировали его, когда мы уже вполне насытились обильной весенней грязью. Впрочем, еще года два дорога по улице Костецкой (уже не помню, как она называлась по-советски), на которой фактически разместился наш дом, оставалась разрыта и завалена горами глины. То проводили теплотрассу, то чинили газопровод. Когда двор заасфальтировали, перед домом сохранился клочок земли, который я немедленно решил превратить в цветник. И несколько девочек тут же стали мне помогать. Как мне кажется, отсюда началась наша дворовая дружба. Мальчики, в отличие от Пироговской, даже и не думали присоединиться к нам. Зато набежала мелкая ребятня — и мне пришлось ее организовывать и придумывать ей всякие игры. Взрослые большей частью малышней не занимались, предоставляя ее самой себе, и я стал ее любимцем. Шесть лет жизни на Госпитальной я возился с детьми — ровесниками моей сестры, тем более что и сама сестра тоже находилась на моем попечении.

Понемногу у меня стали появляться друзья. Сначала я подружился с Сашей Кройтором, моим ровесником, и Великом Аруняном, который был моложе меня на два года. Велик, Самвел, был армянином, и его лицо заметно выделялось из ребячьих лиц нашего большого двора. Саша же назвался грузином, но ничего примечательного в его облике я не находил. Еще один грузин, тоже мой хороший друг, Женья Шапиро, хотя бы немного был смугловат и курчав. Грузины, говорил он мне, все немного смуглые.

— Грузины? — удивились мои родители. — Какие же они грузины — они евреи.

— Нет, они грузины!

— Откуда ты это взял?

— Они сами говорят.

— Ну и что, что говорят? Фамилии-то у них еврейские.

— А откуда вы знаете, что фамилии еврейские?

— Ну что ты! Вот Игрунов — это русская фамилия. Иванов, Сидоров, Пермяков, Комаров — это все русские.

— А Гасаненко?

— Гасаненко украинец. Арунян, действительно, армянин. С кем ты там еще дружишь?

— Нелюбины, их два брата.

— Это тоже русская фамилия. Фамилии, которые кончаются на «-ов» и «-ин» — это русские фамилии. А те, которые кончаются на «-ко» или «-чук» — Ковальчук, например, или Долженко, — украинские. А вот Кройтор, Шапиро, Феллер — это евреи.

— А Шер?

— Шер тоже еврейская фамилия.

— А почему же Саша и Женя говорят, что они грузины?

— Да ведь евреев многие не любят, и они не хотят, чтобы другие знали, что они евреи.

Так в мою жизнь вошла тема этничности, или, как тогда говорили, национальности, и по стечению обстоятельств разговоры о национальностях приобрели лавинообразный характер. Чаще всего эта тема прорывалась в анекдотах о грузинах, армянах и русских. Позже появилось много анекдотов о молдаванах. Саша Кройтор рассказывал иногда анекдоты о «жидах». Добродушные анекдоты о евреях рассказывал Валентин Долгий, лучший папин друг, его товарищ по работе в Облсовпрофе. И я узнал, что его жена Люка тоже еврейка. Да у тебя полкласса евреи, сказала мне мать. Это меня страшно удивило. Но я припомнил фамилии, и они, действительно, звучали не по-русски: Райкис, Португал, Дорман, Спектор, Гольдштейн, Кильштейн.

Я вспомнил, как на Пироговской мама и папа передразнивали соседку, хорошую пожилую женщину, внучка которой часто играла с Людочкой, ее ровесницей, под присмотром кого-нибудь из взрослых. И так часто они друг другу говорили: «Лелик, подай ицо!», «Вова, поставь бохч на стол», что моя маленькая сестренка стала произносить, вместо «яйцо» нечто похожее на «ецо».

— Людочка, это же неправильно! Говори правильно!

И ребенок расплакался:

— Я никогда не смогу говорить так, как вы: иицоо!

Надо сказать, что после этого родители немедленно прекратили потешаться над соседкой. При этом, конечно же, они поддерживали самые дружеские отношения с ней. Когда мы уезжали на Госпитальную, прощались по-настоящему тепло, даже трогательно. Несмотря на некоторую почти постоянную иронию по отношению к своим друзьям-евреям, которых было немало, отец никогда не казался антисемитом. У матери же, наоборот, чувствовалась некоторая неприязнь к евреям, хотя она и старалась ее всячески скрывать. Правда, со временем эта неприязнь если и не сошла на нет, то сильно ослабла, и ближайшая подруга последнего периода ее жизни, еврейка, вызывала у нее искреннее теплое чувство. В тот же год, когда я стал понимать, что меня окружают не только русские и украинцы — странное дело, я знал, что существуют языки русский и украинский, однако понятия не имел, что люди тоже могут быть украинцами и русскими, — но и армяне, грузины, евреи, антисемитские нотки я обнаружил у многих людей. Летом, приходя на Пироговскую, я слушал разговоры тамошних ребят — впрочем, не моих самых близких товарищей — о евреях. Всегда злобные евреи выступали исчадиями ада, отравителями, коварными обманщиками. А как же Коган? Коган мой хороший друг! Неужели и он страшный человек?

— Ну, неизвестно, — ответил мне один из собеседников. — Может, ему сильно не повезло родиться в еврейской семье. Я, если бы родился евреем, наверное, повесился бы.

И смешанное чувство формировалось в моем сознании. С одной стороны, я слушал чудовищные рассказы, которые вызывали гнев. С другой, мои друзья — Коган, Шуряк, Кройтор, Шапиро. Алик Феллер скоро станет моим самым близким товарищем. Как соединить это? Мой отец несколько раз разговаривал со мной, объясняя, что нет плохих народов — есть плохие люди, и плохие люди есть среди всех народов. То же самое я слышал в школе. Но ребята на Пироговской говорили совсем иначе!

На протяжении нескольких лет я пытался понять, где же правда: в жутких историях, в саркастических анекдотах или в дежурных и пресных высказываниях взрослых? Однажды в гости к нам приехала тетя Юльця, старшая сестра мамы. Мы сидели с тетей на кухне и разговаривали о родственниках. Рассказы о семье вызывали у меня необычайный интерес. Мама немного рассказывала о бабушке, которую я бесконечно любил, но ничего не могла рассказать о своем отце — он умер, когда матери исполнилось всего пять лет или того меньше.

— У твоего деда была замечательная память, — сказала тетя Юльця. — Он был сельским торговцем и имел небольшую лавку, такую, как наша кооперация. За товаром он ездил в Новоград-Вольнский к жидам-оптовикам. Он нагружал полный воз мелочи: одну большую соленую рыбину, мешок муки, пуд сахара, пару керосиновых ламп, штуку ситца. Товаров — десятки наименований. Дед грузил товар, а жид записывал. Когда погрузка кончалась, жид говорил: «Ну вот, с тебя, Яне, шестнадцать рублей и тридцать копеек». «Э, нет, — отвечает дед, — с меня пятнадцать рублей и восемьдесят три копейки». — «Да с чего ты взял?» — «Ну, давай считать!» — «Давай», — отвечает жид. И дед начинает: «Рыбина — столько-то, мука — столько-то, сахар...» Подсчитывают, и жид признает — да, пятнадцать рублей восемьдесят три копейки! «Слушай, Яне, как ты можешь так считать? Ты ведь даже писать не умеешь. Я с карандашом ошибаюсь, а ты по памяти точнее считаешь».

— Так ведь тот жид, наверное, хотел обмануть деда. Ведь жидам хитрые.

— Э, нет! — с горячностью возразила тетя Юльця. — Надо уметь различать жида и еврея. Евреи очень хорошие люди.

И она стала рассказывать, какие хорошие люди евреи. И даже пожалела, что еврей-оптовик назвала жидом. И в этой искренней похвале евреям она была так убедительна, что это стоило всех прописей. С той поры я легко вздохнул — мой внутренний конфликт рассеялся, я поверил отцу и стал понимать, что люди, плохо говорящие о евреях, скорее всего, сами плохие люди. И жизнь, увиденная непредвзято, на каждом шагу убеждала меня в правоте тети Юльци. Почти все мои друзья оказались евреями. Любимые учителя, сделавшие меня человеком, были в большинстве своем евреями. Да и как могло быть иначе, если я жил в самой еврейской части Одессы — на Молдаванке?

3.

Как ни странно, я не помню ни одной серьезной драки в школе. Их отсутствие сильно контрастировало с моими ожиданиями.

Самая запомнившаяся «драка» состоялась поздней осенью с Митником. Как-то после моего долгого отсутствия — а я довольно часто болел — он несколько раз попытался спровоцировать драку в классе, но я уклонился от нее. Митник никак не мог понять, почему такой хилак, как я, не подчиняется его требованиям. А я, со своей стороны, не понимал, какие у него могут быть основания для претензий. В конце концов я сказал ему, что напрасно он ко мне пристает, поскольку он не раз на моих глазах бывал бит Котолупом, а уж с Котолупом я справлялся. Этот довод не произвел впечатления. Напротив, мне предложили «стукалку»: нам предстояло после уроков столкнуться в кулачном бою.

Надо сказать, что я почти панически боялся драк. Когда ожидалось столкновение, больше всего на свете мне хотелось исчезнуть. Мои руки тряслись и

ноги подгибались — я испытывал чудовищную слабость. Но стоило начаться стычке, вся дрожь бесследно исчезала, появлялась ярость, и дрался я хорошо. Трусом не был. Естественно, я принял вызов, хотя правила «стукалок» мне не нравились, не подходили. Драться следовало только кулаками, а я прежде никого кулаком не ударил. Однако «стукалка» требовала выполнения правил.

После уроков мы сошлись в поединке у огромного котлована перед строившимся тогда кинотеатром «Родина». Оставив портфели, долго кружили, и ни один из нас не решался ударить первым. Наконец Митник выбросил кулак, а я ответил серией ударов. Боюсь, что оба месили воздух. Так продолжалось минут пятнадцать-двадцать, пока мы не замерзли — погода стояла промозглая, и дул ветер. Тогда схватка прекратилась по уговору, и Митник предложил считать, что «стукалка» закончилась вничью: хотя я ударил его трижды, а он меня только дважды, но кулак у него заметно больше моего, следовательно, ущерб нанесен равный. Больше всего мне не хотелось продолжать драку, и на ничью после некоторых препирательств я согласился. Мне казалось, что «ничья» окажется только поводом для новой драки, но, как ни странно, Митник больше никогда ко мне не приставал. Правда, вскоре отец забрал его к себе на завод. Мальчику исполнилось четырнадцать, и это давало право оставить школу, а учеником Митник был безнадежным. Учителя — и я с ними — вздохнули с облегчением.

Вот и все. С драками во 2-й школе покончено. Во дворе я бился много, но в школе все обстояло благополучно. К шестому классу я уже обзавелся друзьями во дворе, и моя дружба с Ковальчуком как-то сникла. Зато я подружился с девочками. Домой чаще всего я возвращался с неразлучными Людой Чаплыгиной и Асей Португал, а также с Лилей Ергеевой, самой красивой девочкой в классе. С ними, отличницами, я чувствовал себя немного не в своей тарелке, но отношения у нас сложились хорошие.

Как-то раз за нами увязался Алик Феллер. Перед тем мы разговорились с ним в школе, и обнаружилось, что он интересуется практически тем же, что и я. В шестом классе мы начали изучать физику. Кроме того, в своей парте я нашел учебник химии, оставшийся, видимо, со второй смены. Вместо того чтобы отдать книгу в учительскую, я положил ее к себе в портфель, как в пятом классе поступил с учебником астрономии. Химия произвела на меня еще более сильное впечатление, чем астрономия, и я стал брать множество научно-популярных книжек в районной библиотеке, главным образом по химии и географии, которую любил прежде. Вот разговоры о химии и физике, об астрономии и космических полетах вызывали у Алика не меньший интерес, чем у меня. По дороге домой мы увлеклись разговором настолько, что опомнился я только у Аликова дома на Прохоровской. Мы еще с полчаса простояли у ворот, и только тогда я отправился восвояси.

С этого дня мы возвращались всегда вместе. Я стал регулярно бывать у него дома. Еще чаще он бывал у меня. Затем мы почти перестали расставаться. Придя из школы и пообедав, мы тут же встречались снова, иногда делая вместе уроки — конечно, у меня; у Алика просто негде было разместиться двоим.

Сделав уроки — или не сделав их — мы принимались за химические опыты. Благо условия для этого складывались идеальные: никого в квартире, кроме нас, газ и вода под рукой, а реактивы и посуду мы приобретали в магазине «Лаборреактив» на Преображенской — маленьком и роскошном, по моим представлениям, где впоследствии, к моему огорчению, разместят «Канцтовары».

Впрочем, реактивы обходились слишком дорого: поначалу мы могли покупать их только за счет несъеденных школьных завтраков, а потому ограничивались приобретением только самого необходимого — пробирок, колбочек, бюреток, холодильников*, разновесов... Из реактивов поначалу мы приобрели медный купорос — самое дешевое из химически чистых веществ — и двуххромовокислый аммоний. Несколько позже выяснилось, что нам вовсе не обязательно покупать реактивы в этом магазинчике: химически чистые и даже просто чистые вещества нам не требовались — серная кислота прекрасного качества продавалась в хозяйственных магазинах. Там же приобретались коллоидная сера, селитры, аммиачная вода и огромное количество других препаратов. Огорчение доставляла только соляная кислота — бесконечно дешевая, но зато достаточно грязная. Иногда нам приходилось пользоваться довольно дорогими реагентами: бром мы добывали из медицинского раствора бромистого натрия очень низкой концентрации, почему-то никаким другим образом бром достать не удавалось.

В ход шли и подручные материалы: в избытке имелись электротехнические алюминий и медь, угольные электроды добывались из отработанных старых батареек, откуда бралась также двуокись марганца. Магний приобретался на «школьном аэродроме» — аэродроме летной школы, где доживали свой век списанные самолеты; многие стояли, вероятно, еще со времен войны. Впрочем, существовал и другой способ, достаточно варварский. Поэтому я к нему не прибегал, но уже добытый таким образом магний все же брал у ребят, которые просто жгли крупинцы этого металла из-за ослепительно красивого пламени. Хулиганы отдирали металлические крючки из школьной раздевалки — они изготавливались тогда из самого настоящего магния. В общем, реактивов хватало.

Надо сказать, что мама вскоре выгнала меня с моими химикатами из кухни, и мне пришлось переместиться в подвал, где нам принадлежал маленький сарайчик, пользоваться которым, после долгого моего хныканья, мама, к счастью, разрешила. Она, замученная работой, устала бесконечно убирать после моих опытов, а тут нам понравилось стрелять из пробирки облачками окислов марганца, которые получались при подогревании обычной медицинской марганцовки в растворе серной кислоты. После этих выстрелов на стенах кухни образовались трудноустраняемые коричневые пятна — и мамино терпение лопнуло. И слава богу! Мы с Аликом оборудовали себе лабораторию, где стали суверенными хозяевами. Какие-то мелочи, которые родители держали в сарайчике, постепенно совершенно исчезли, и родители никогда больше не претендовали на мое священное место, где я проводил практически все время, пока отец или мать находились дома.

В подвале целыми днями стояла тишина — редкие жильцы раз-два в месяц заглядывали, чтобы оставить в своем сарайчике какой-нибудь хлам или выгащить на божий свет колченогий столик для балкона, оставленный в сарае для сохранности на зиму. Только у профессоров с четвертого этажа, единственной семьи, занимавшей целиком трехкомнатную квартиру, в сарае хранились мало-мальски приличные вещи, которые весной извлекались для отправки на дачу (не помню, чтобы у кого-то еще из жильцов нашего подъезда имелась дача). Поэтому подвал пребывал в запущенном состоянии, его обжили бездомные коты, запах стоял соответствующий. В проходах между сараями валялся мусор — ходить было не-

* Речь идет о небольших стеклянных приборах, в которых охлаждающим агентом является вода.

приятно. Едва ли не первое, что мы сделали с Аликом, как только «вселились» и нелегально провели свет в свою клетушку (до нас о свете, по-видимому, не задумывались — все жильцы ходили со свечами или керосиновыми лампами), — убрали проходы между сараями и подмели пол. Занятие, надо сказать, ужасное, так как земляные полы, покрытые толстым слоем песка и пыли, перемешанных с крысиным пометом, пропитались кошачьей мочой и какой-то гнилью. Но мы все же довели помещение до приличного состояния, так что раз в неделю или две могли просто подметать, спрыскивая землю водой.

Когда отец моего приятеля Саши Кройтора, управдом, узнал, что мы обжили подвал, он выразил крайнее недовольство, но, увидев, как мы обустроили свое жизненное пространство, решил нас не изгонять и даже пригласил электрика, чтобы заменить нашу проводку, на соплях встроенную в общедомовой счетчик, на вполне добротную. Правда, повесил лишь одну лампочку — в центре подвала. Уже от нее мы протянули свой нелегальный провод, вкрутив на место обыкновенного патрона так называемый «жулик» — патрон с выходами для электрических вилок. Прекрасное решение: с одной стороны, пожарная безопасность более или менее соблюдена, а с другой, никто не мог бы обвинить старшего Кройтора в том, что он поощряет воровство казенной электроэнергии, не пропущенной через счетчик частного пользователя. Анатолий Кройтор выказал заинтересованность в том, чтобы его сын, пусть и в почти антисанитарных условиях, вписался третьим в нашу компанию: так он меньше оставался на улице да и получал какие-то знания. Впрочем, знания весьма относительные. Если Алик еще пытался читать учебник или популярные книги, которые я брал в районной детской библиотеке, то Саша решительно к книгам не притрагивался, а приобретенной родителями «Детской энциклопедией», которая тогда начала выходить, — предметом моей зависти — пользовался больше я, нежели он. Но все же...

Здесь, в подвале, пришлось ко двору и мои плотницкие навыки, приобретенные на уроках труда в 59-й школе. Из бесхозных досок, которые тогда во множестве валялись едва ли не на каждой дворовой свалке, а уж тем более — на большой соседней стройке у нашего дома, я смастерил лабораторный стол и полки для посуды и книг. Плотницкой работы хватало. Для нее мы купили инструмент, шерхебель и рубанок, а также стамески — этот инструмент очень пригодился и когда мы получили новую квартиру на Сегедской, и когда у меня появился собственный дом. Чуть позже с упоминавшейся стройки кинотеатра «Родина» мы натаскали кирпичей и выложили ими пол, затем залили цементом. Как пользоваться цементом, нас никто не учил, поэтому материала ушло невероятно много. Таскали мы его от кинотеатра «Родина» в тяжелых ведрах. Алик тащил десятилитровое ведро, я — пятнадцатилитровое, а когда Алик отказался, то я носил цемент сразу в двух ведрах. Возможно, уже тогда я заложил основы моего остеохондроза: килограммов тридцать или даже больше для тринадцатилетнего мальчика довольно хлипкой конституции — перебор, но тогда я не чувствовал, что это может иметь последствия. Так или иначе, но мы прилично обустроили нашу лабораторию, и я даже предпочитал по вечерам допоздна читать книги там, а не в квартире.

Занятия химией увлекли меня настолько, что я посвящал им много времени даже летом, когда можно бесконечно играть во дворе с мальчишками или девчонками. И химия стала для меня настоящим мостом в расширяющуюся вселен-



ную знаний, в мир науки. Конечно, до этого я читал много фантастики. Кстати, возможно, фантастическая повесть Александра Полещука «Великое делание» сыграла ключевую роль в моем увлечении химией. Читал книги по истории географических открытий. Но книги по химии приучили меня к совсем другому виду знаний — к точной науке. Возможно, и мой рывок в математике, который случился в седьмом классе, подготовили те книги по астрономии, физике, а прежде всего химии, которые я запоем начал читать в шестом классе. И стал желанным читателем в детской библиотеке.

В мире планового хозяйства и коммунистического воспитания существовал определенный порядок выдачи книг абонентам. Читатель мог взять одну художественную книжку на русском языке с обязательным приложением книжки на украинском, а также одну научно-популярную. Советский человек должен быть всесторонне развит, а потому научно-популярная литература навязывалась детям, хотя они предпочитали приключенческие повести. Я же оказался настолько благодарным читателем, что мне разрешалось брать все, что я захочу, — даже по две художественные книжки без обязательного украинского сопровождения, потому что я набирал по две, затем три, затем по пять-семь научно-популярных книг за один раз. Сначала на меня смотрели искоса: радовались, когда я беру две книжки, но три старались не давать — такое поведение казалось подозрительным. Но так как я приходил менять эти книги через день-два, библиотекари поняли, что никакого подвоха здесь нет, и стали с охотой записывать столько, сколько я пожелаю, — отчетность по научно-популярной литературе моими усилиями доводилась до плановых показателей, и можно не мучить принудителкой тех читателей, которые брали научно-популярные книги из-под палки. Меня настолько полюбили, что давали домой даже редкие книги — большей частью фантастику — из читального зала.

4.

...Родители уговорили меня — если не сказать принудили — поехать в пионерский лагерь. Несмотря на то что лагерь в Каролино-Бугазе остался одним из самых приятных воспоминаний одесской жизни, другой лагерь, в Люстдорфе, произвел на меня столь удручающее впечатление, что мне вовсе не хотелось расставаться со своей свободой: во дворе я чувствовал себя намного лучше, да и химическая лаборатория в подвале влекла меня гораздо больше, чем поднадзорный отдых у моря. Но родители хотели отдохнуть от меня, и я готов понять их — мне, слава богу, не пришлось бесконечно жить с детьми в одной комнате.

Итак, меня уговорили уехать, пообещав, что в лагере будет и сын Валентина Долгого. К тому же мой друг Велик собирался в тот же лагерь, и все дети вокруг завидовали нам: лагерь китобойной флотилии, самого состоятельного предприятия города, пользовался отменной репутацией. Директор флотилии Прибытков отдавал туда и своего ребенка — он значился в соседнем отряде, и разок-другой я его даже видел. Кроме детей китобоев, собирали там и детей практически всей элиты города. Надо сказать, что, действительно, кормили в лагере на убой — пожалуй, сытнее, чем дома, хотя для меня это почти не имело значения. Нас развлекали массовики-затейники, там меня поразили прекрасные, не виденные никогда ни до, ни после этого пионерские костры, удивили и увлекли интересные ребята — там я впервые услышал рассказы о Янтарной комнате, о Кенигсберге,

вел интеллектуальные и весьма познавательные беседы с мальчиком по фамилии Перельман, чей адрес я записал, но так никогда больше с ним и не встретился. Даже режим в лагере не слишком обременял. Правда, купание в море, которое плескалось внизу под обрывом, было чрезвычайно заорганизованным и ограниченным: пару раз за месяц нас сводили на пляж, где позволяли буквально окунуться в воду — два раза по пять минут. Самовольная отлучка каралась немедленным изгнанием из лагеря, и, насколько помнится, даже самые отчаянные не решались нарушить запрет. Я, привыкший к свободному общению с морем, переносил жесткие ограничения тягостно. Но не это досаждало больше всего.

Пионервожатый нашего отряда, учитель по фамилии Розен — по моим представлениям, уже немолодой, я думаю, лет за тридцать, — души не чаял в армии. Такой же «армиеман», только несколько помоложе, руководил параллельным отрядом. И в соседнем лагере работали их друзья — поклонники военной романтики. Розен учил нас ползать по-пластунски, заставлял зубрить азбуку Морзе и запоминать язык флагов. Почти весь месяц мы готовились к главному событию сезона — военной игре, в которой за победу сражались команды двух лагерей. Я с вожделием ждал этого события: в лагере на Люстдорфской дороге старшие ребята участвовали в такой игре, продолжавшейся целые сутки, и с горящими глазами рассказывали о ней; младшим же отрядам оставалось только с завистью выслушивать их. Однако сценарий игры сразу же разочаровал меня — он вовсе не походил на то, что грезилось мне по рассказам.

Во-первых, игра планировалась всего на несколько часов, и ночью нам полагалось спать, как и прочим детям, а не сидеть у костра или под прикрытием темноты проникать в тыл противника. Во-вторых, смысл игры сводился к выведыванию военной тайны. Для этого зачем-то следовало, преодолевая препятствия, ворваться в расположение сил врага и... Что «и», уже не помню. Мне не судилось совершить это «и». Уже на стадии прорыва, перепрыгивая очередной окоп — ров действительно смахивал на окоп, — я был схвачен несколькими «солдатами» враждебной армии и отправлен на допрос. Допрос, по гайдаровским образцам, велся с пристрастием. Как полагается любому Мальчищу-Кибальчищу, я мужественно скрывал от врага пароль — возможно, ту самую военную тайну. И враги поступали соответственно: выкручивали руки или, усевшись на распластанного пленника, пытались просверлить мою грудь острыми локтями. Увы, я плакал. Меня, слабака, отдали в обмен на других «военнопленных». Впрочем, к этому времени атака закончилась — не помню, чьей победой, — однако наши ребята, вернувшись в лагерь, со счастливыми лицами рассказывали, как они дрались, ставя синяки противникам. Все испытывали восторг. Кроме меня.

Разочарование усугубилось насмешками пионервожатого, назвавшего меня мамалыгой: и драться не умеет, и сопли распускает. Правда, он и раньше недолюбливал меня, а теперь и вовсе не стеснялся поддразнивать. Все как в 59-й школе. И я возненавидел армию, потому что возненавидел Розена: мне казалось, что в армии все должны быть такими, или в этом убедил меня сам Розен. Армия прочно соединилась не с романтикой, не с хитроумными планами, не с разведкой и взятием «языков», а с обыкновенной дракой, болью и унижением. И эта неприязнь будет только усиливаться соображениями отца: тебе надо служить — армия из тебя сделает человека. Я не хотел быть таким человеком, каким его делает армия, — Розеном или ему подобным — и слухи о дедовщине, доходившие до меня, только утверждали меня в мысли никогда не служить.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

«НЕТ СМЕРТИ СЕРДЦУ...»

О Константине Николаевиче Батюшкове

Выдающийся русский поэт Константин Николаевич Батюшков (1787—1855) — яркая и трагическая фигура в истории отечественной словесности. Он никогда не помышлял воздвигнуть себе «памятник нерукотворный», не жаждал великой славы — ни прижизненной, ни посмертной. В письме другу поэт заметил: «Умру и стихи со мной» [1, с. 325]. И далее под словами «Вот моя эпитафия» поместил следующее двустишие:

**Не нужны надписи для камня моего,
Пишите просто здесь: он был, и нет его!** [1, с. 243]

Свой блистательный талант Батюшков именовал «маленьким дарованием», «крохотной музой». Его мучила неудовлетворенность результатами творчества, о чем он писал поэту Василию Андреевичу Жуковскому: «Самое маленькое дарование мое, которым подарила меня судьба, конечно — в гневе своем, сделалось моим мучителем. Я вижу его бесполезность для общества и для себя. Что в нем, мой милый друг, и чем заменю утраченное время? Дай мне совет, научи меня, наставь меня: у тебя доброе сердце, ум просвещенный; будь же моим вождатым! Скажи мне, к чему прибегнуть, чем занять пустоту душевную; скажи мне, как могу быть полезен обществу, себе, друзьям?» [2, с. 308]

В дружеском послании «П. А. Вяземскому» (<1810>) Батюшков не принимает всерьез высоких, «кадиловозжигательных» оценок своей поэзии:

**Льстец моей ленивой музыки!
Ах, какие снова узы
На меня ты наложил?
Ты мою сонливу «Лету»*
В Иордан преобразил
И, смеясь, мне, поэту,
Так кадилом накадил,
Что я в сладком упоеньи,
Позабыв стихотвореньи,
Задремал и видел сон...** [1, с. 245]

* П. А. Вяземский восторженно отзывался о стихотворении Батюшкова «Видение на берегах Леты».

Передавая в шуточной форме этот сон, поэт с самоиронией оценивает степень своего дарования, считая, что оно утонет в Лете — реке забвения:

**Будто светлый Аполлон
И меня, шалун мой милый,
На берег реки унылой
Со стихами потащил
И в забвеньи потопил!** [1, с. 246]

Мифологическая река забвения не поглотила Константина Батюшкова. Новая творческая дорога, которую прокладывал он в русской литературе, была очевидна. Александр Сергеевич Пушкин считал себя его учеником, признавал его стихи поэтическим чудом: «Что за чудотворец этот Батюшков!» «Одной этой заслуги со стороны Батюшкова достаточно, чтоб имя его произносилось в истории русской литературы с любовью и уважением» [3, с. 228], — справедливо утверждал классик литературной критики Виссарион Григорьевич Белинский. Он указывал также на оригинальность и новаторский характер художественного мира, созданного поэтом: «Батюшков, как талант сильный и самобытный, был неподражаемым творцом своей особенной поэзии на Руси» [4, с. 461].

Удивительная, полнокровная, многообразная по тематике лирика Батюшкова отличается изяществом, благородством чувств, прямотушием, особой искренностью. «Живи как пишешь, и пиши как живешь... Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы»; «живи, как Бог велит» — такое кредо исповедовал поэт в жизни и в литературе.

**С отвагой на челе и с пламенем в крови
Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна.
О юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Верьйся челноку! плыви!** [1, с. 233]

Батюшков, будучи незаурядной творческой личностью, всегда стремился к независимости: «Конечно, независимость есть благо, по крайней мере для меня» [2, с. 23]. Государственная служба в министерстве народного просвещения в должности мелкого чиновника, на которую поэт поступил после окончания учебы в 1803 году, тяготила его. Батюшков высказывался о гражданской службе в духе крылатых фраз главного героя «Горя от ума» задолго до создания Александром Сергеевичем Грибоедовым этой бессмертной комедии: «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Чины людьми даются, / А люди могут обмануться», «Как тот и славился, чья чаще гнулась шея», «Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли, / А тем, кто выше, лезть, как кружево, плели. / Прямой был век покорности и страха»... «Служил и буду служить, как умею; выслуживаться не стану по примеру прочих» [2, с. 366], — заявлял Батюшков. Выступая противником чиновничьего карьеризма, поэт не желал двигаться «ужом и жабой», «торговать своей свободой» и совестью ради заработка под «ярмом должностей, часто ничтожных и суетных».

В то же время его финансовое положение было незавидным, Батюшков часто сетовал на безденежье. В одном из писем с горькой самоиронией он рисует образ поэта-бедняка, которому не хватает средств даже на покупку бумаги и чернил:



**А я из скупости чернил моих в замену
На привязи углем исписываю стену.** [2, с. 141]

И все же Батюшков для себя решает: «служить у министров или в канцеляриях, между челядью, ханжей и подьячих, не буду» [2, с. 186].

Батюшков также поддерживает своего друга Николая Ивановича Гнедича, отважившегося оставить казенную службу и посвятить себя колоссальному литературному труду по переводу с древнегреческого на русский язык «Илиады» Гомера: «В департаменте ты мог получить более, нежели получаешь ныне. Служа в пыли и прахе, переписывая, выписывая, исписывая кругом целые дести, кланяясь налево, а потом направо, ходя ужом и жабой, ты был бы теперь человек, но ты не хотел потерять свободы и предпочел деньгам нищету и Гомера. В департаменте ты бы мог быть коллежским советником, получить крест, пенсия, все, что угодно, потому что у тебя есть ум и способности, но ты не хотел потерять независимости» [2, с. 193].

Сам поэт, как сказано, тоже делает свой выбор:

**Но я и счастлив, и богат,
Когда снискал себе свободу и спокойство,
А от сует ушел забвения тропой!** [1, с. 228]

В стихотворном послании к Жуковскому и Вяземскому «Мои пенаты» (1811—1812) Батюшков воспел нехитрые радости жизни, свободной от ярма казенной службы и светских условностей, в своем небольшом, практически разоренном имении:

**Отечески пенаты,
О пестуны мои!
Вы золотом не богаты...
<...>
Где странник я бездомный,
Всегда в желаньях скромный,
Сыскал себе приют.** [1, с. 134]

В свою записную тетрадь поэт заносит сокровенные размышления: «Есть люди, которым ничего не стоит торговать своей свободой: эти люди созданы для света. А я во сто раз счастливее как бываю один, нежели в многолюдном обществе, особливо, когда я не в духе; тогда и самая малейшая обязанность для меня тягостна. Человек в пустыне свободен, человек в обществе раб, бедный еще более раб, нежели богатый. Но иногда богатство — тягостно» [2, с. 23].

Батюшкову мил его «шалаш простой». Поэт тщательно, даже с любованием, выписывает бытовые детали — «утвари простые» своей «хижины убогой»:

**В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхий и треногий
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,**

Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Всё утвари простые,
Всё рухляя скудель! [1, с. 134—135]

Но вся эта изношенная рухлядь обветшалого семейного гнезда поэту милее, чем суетная роскошь напыщенных аристократов:

Скудель!.. Но мне дороже,
Чем бархатное ложе
И вазы богачей!..

Отеческие боги!
Да к хижине моей
Не сыщет ввек дороги
Богатство с суетой,
С наемною душой
Развратные счастливыцы,
Придворные друзья
И бледны горделивцы,
Надутые князья! [1, с. 135]

Лирический герой вовсе не затворник. Вместо богачей и светских львов он готов радушно принимать в собственном «смирнном уголке» друзей, странников, всех, кому нужен кров и приют:

Но ты, о мой убогой
Калека и слепой,
Идя путем-дорогой
С смиренною клюкой,
Ты смело постучися,
О воин, у меня,
Войди и обсушися
У яркого огня. [1, с. 135]

Уединение поэта в его домашней жизни не означало праздности. Отвергая дружеские упреки в безделье и лени, Батюшков отвечал в письме Гнедичу: «И впрямь, что значит моя лень? Лень человека, который целые ночи просиживает за книгами, пишет, читает или рассуждает! ...Если б я строил мельницы, пивоварни, продавал, обманывал и исповедовал, то, верно б, прослыл честным и притом деятельным человеком» [2, с. 150]. Поэтической натуре чуждо предпринимательство, корыстолюбие. Батюшков утверждает высокую значимость литературной работы, исполненной «доблести ума и сердца»: «Человек, который занимается словесностью, имеет во сто раз более мыслей и воспоминаний, нежели политик, например, генерал» [2, с. 24].

В то же время он с горечью осознает, что такого рода деятельность не ценится в обществе, не признается как профессия. Имя писателя, поэта пока еще «дико для слуха» в той социальной среде, которая хладнокровно убивает сво-





им пренебрежением истинное дарование: «Нет, я вовсе не для света сотворен... Эти условия, проклятые приличности, эта суетность, этот холод и к дарованию, и к уму, это уравнение сына Фебова с сыном откупщика...» [2, с. 122] Талант не может пробиться на широкую дорогу без расчетливости и интриг: «И я мог думать, что у нас дарование без интриг, без ползанья, без какой-то расчетливости может быть полезно! И я мог еще делать на воздухе замки и ловить дым!» [2, с. 149]

Если гражданская служба с ее карьеристским «ползанием» отталкивала Батюшкова, то военная служба его привлекала. Имея прямую натуру, мужественный волевой характер, он уже в юности отправился добровольцем в Европу — воевать с армией Наполеона. Был ранен, награжден орденом за отвагу. В 1810 году вышел в отставку.

С началом Отечественной войны 1812 года, вторжения французских войск в Россию, отставной офицер вновь решил встать в строй. Однако болезнь несколько отсрочила его планы. 1 июля 1812 года Батюшков писал Вяземскому: «Если бы не проклятая лихорадка, то я бы полетел в армию. Теперь стыдно сидеть сиднем над книгою; мне же не причаться к войне. Да, кажется, и долг велит защищать Отечество и государя нам, молодым людям. Подожди! Может быть, и я, и Северин препояшемся мечами... если мне позволит здоровье...» [2, с. 223]

Пока же Отечественная война, вызвавшая небывалый подъем патристических чувств, геройского духа русского народа, находит отражение в поэзии Батюшкова. Его стихи с новыми темами, мотивами и образами в корне отличаются от довоенной лирики. Поэт больше не желает «петь любовь и радость, / Беспечность, счастье и покой / И шумную за чашей младость» [1, с. 154]. Программное заявление, проводящее резкую границу между двумя периодами творчества, содержится в послании «К Дашкову» (1812):

**Мой друг! я видел море зла
 И неба мстительного кары:
 Врагов неистовых дела,
 Войну и гибельны пожары.
 <...>
 Мой друг, дотоле будут мне
 Все чужды музы и хариты,
 Венки, рукой любви свиты,
 И радость шумная в вине!** [1, с. 153—154]

Поэт был свидетелем сожжения Москвы. Он видел страдания несметного числа беженцев из опустошенных иноземными захватчиками городов и сел. «Внимая ужасам войны», по дороге из Москвы в Нижний Новгород Батюшков сообщал Гнедичу в октябре 1812 года: «Ужасные происшествия нашего времени, происшествия, случившиеся, как нарочно, перед моими глазами, зло, разлившееся по лицу земли во всех видах, на всех людей, так меня поразило, что я насилу могу собраться с мыслями и часто спрашиваю себя: где я? что я? Не думай, любезный друг, чтобы я по-старому предался моему воображению, нет, я вижу, рассуждаю и страдаю. От Твери до Москвы и от Москвы до Нижнего я видел, видел целые семейства всех состояний, всех возрастов в самом жалком

положении; я видел то, чего ни в Пруссии, ни в Швеции видеть не мог: переселение целых губерний! Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя» [2, с. 234].

Это письмо можно рассматривать как прозаическую проспекцию поэтического послания «К Дашкову»:

**Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаянии рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
<...>
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!.. [1, с. 153–154]**

«Море зла», «война и гибельны пожары» на родной земле потрясли поэта. Он пишет Гнедичу о пережитых ужасах наполеоновского нашествия — «величайшего преступления против Бога и человечества»: «Нет, я слишком живо чувствую раны, нанесенные любезному нашему отечеству, чтоб мину-ту быть покойным. <...> Ах, мой милый, любезный друг! зачем мы не живем в счастливейшие времена! зачем мы не отжили прежде общей гибели!» [2, с. 234]

Батюшков трижды был в спаленной пожаром Москве:

**Трижды с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трижды прах ее священный
Слезами скорби омочил. [1, с. 153]**

«Между развалин, ужасов, нищеты, страха и всех зол» [2, с. 241] тяжкая скорбь поэта по израненной, опустошенной родине — «Всякий день сожалею о Нижнем, а более всего о Москве, о прелестной Москве, да прильпнет язык мой к гортани моей, и да отсохнет десная моя, если я тебя, о Иерусалиме, забуду! Но в Москве ничего не осталось, кроме развалин...» [2, с. 241] — сливается со скорбным голосом 136-го псалма «При реках Вавилона...», песни томящихся в иноземном плену изгнанников после падения Иерусалима: «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя. Прильпни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя...»

«Среди военных непогод, / При страшном зареве столицы», «Среди могил моих друзей, / Утраченных на поле славы» [1, с. 154] патриотический долг, «и жизнь, и к родине любовь» призывают Батюшкова переосмыслить его литературные и жизненные позиции:





Нет, нет! талант погибни мой
 И лира, дружбе драгоценна,
 Когда ты будешь мной забвенна,
 Москва, отчизны край златой!
 Нет, нет! пока на поле чести
 За древний град моих отцов
 Не понесу я в жертву мести
 И жизнь, и к родине любовь;
 Пока с израненным героем,
 Кому известен к славе путь,
 Три раза не поставлю грудь
 Перед врагов сомкнутым строем... [1, с. 154]

29 марта 1813 года Константин Батюшков был зачислен штабс-капитаном в пехотный полк, принял участие в победоносных заграничных походах русской армии 1813—1814 годов. За отвагу в сражениях был награжден орденом Святой Анны, двумя крестами.

Ты хочешь меду, сын? — так жала не страшись;
 Венца победы? — смело к бою!
 Ты перлов жаждешь? — так спустись
 На дно, где крокодил зияет под водою.
 Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец,
 Лишь смелым — перлы, мед, иль гибель... иль венец. [1, с. 239]

«Храбрость без веры ничтожна» — с этим утверждением Шатобриана полностью соглашался Батюшков. Поэт-воин твердо веровал, что русскую землю помог сохранить Христос Спаситель: «...с ужасом и с горестию мы взирали на успехи нечестивых легионов, на Москву, дымящуюся в развалинах своих; но мы не теряли надежды на Бога, и фимиам усердия курился не тщетно в кадьнице веры, и слезы и моления не тщетно проливались перед Небом: мы восторжествовали» [5, с. 195].

Ужасающие картины войны не могли не потрясти сознание Батюшкова. Он писал Гнедичу о битве под Лейпцигом: «Признаюсь тебе, что для меня были ужасные минуты, особливо те, когда генерал посылал меня с приказами то в ту, то в другую сторону, то к пруссакам, то к австрийцам, и я разъезжал один, по грудам тел убитых и умирающих. Не подумай, чтоб это была риторическая фигура. Ужаснее сего поля сражения я в жизни моей не видал и долго не увижу» [2, с. 259].

После окончания военной кампании, летом 1814 года Батюшков вернулся на родину. Долгим было это возвращение — через несколько европейских стран: «В Париж я вошел с мечом в руке. Славная минута! Она стоит целой жизни. <...> Из Парижа в Лондон, из Лондона в Готенбург, в Штокгольм... <...> в Або и в Петербург» [2, с. 308].

Отчизна встретила своего героя неприветливо. Его маленькое запущенное имение было на грани разорения. Гражданская служба по-прежнему отталкивала: «Я оставляю службу по многим важным для меня причинам и не останусь в Петербурге. К гражданской службе я не способен. Плутарх не стыдился считать кирпичи в маленькой Херонее; я не Плутарх, к несчастью, и не имею довольно

философии, чтобы заняться безделками» [2, с. 308]. Это невеселое расположение духа, понимание участи талантливых людей в России как участи трагической нашли отражение в стихотворении «Меня преследует судьба...» (1817):

**Меня преследует судьба,
Как будто я талант имею!
Она, известно вам, слепа;
Но я в глаза ей молвить смею:
«Оставь меня, я не поэт,
Я не ученый, не профессор;
Меня в календаре в числе счастливых нет,
Я... отставной асессор!»** [1, с. 249]

В переписке поэта начинают звучать жалобы на жизненное неустройство, «горести раздранного сердца»: «...объехав целый свет и возвратясь в горести в отчизну мою, имею нужду в покое» [2, с. 303]. Слово «горести», как можно заметить, повторяется в переписке поэта наиболее часто: «Одни заботы житейские и горести душевные, которые лишают меня всех сил душевных и способов быть полезным себе и другим» [2, с. 307—308].

Эти горестные настроения по возвращении на родину после тяжелого военного опыта («среди ужасов земли и ужасов морей»), а также мотивы разочарования, бесприютности, материальной неустроенности — «Вот моя Одиссея, поистине Одиссея! Мы подобны теперь Гомеровым воинам, рассеянным по лицу земному» [2, с. 308] — выразились в стихотворении «Судьба Одиссея» (1814).

Главный герой поэмы «Одиссея», которую создал античный «песней царь» Гомер, пережил в своих странствиях множество злоключений, преодолел огромное число трудностей и опасностей, побывал даже в Аиде — подземном царстве мертвых. А вернувшись наконец к берегам родного острова, не узнал отчей земли, покрытой густым туманом. Батюшков лирически переосмысливает сюжет «Одиссеи», находит в нем сходство с собственной биографией:

**Средь ужасов земли и ужасов морей
Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки
Богобоязненный страдалец Одиссей;
Стопой бестрепетной сходил в Аида мраки;
Харибды яростной, подводной Сциллы стон
Не потрясли души высокой.
Казалось, победил терпением рок жестокой
И чашу горести до капли выпил он;
Казалось, небеса карать его устали
И тихо сонного домчали
До милых родины давно желанных скал.
Проснулся он: и что ж? Отчизны не познал.** [1, с. 175]

У Батюшкова — мыслителя и поэта — вызревал трагический конфликт с действительностью, который обозначился во время Отечественной войны 1812 года: «Ужасные поступки вандалов или французов в Москве и в ее окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою малень-



кую философию и поссорили меня с человечеством» [2, с. 234]. Размышляя о двойственности человеческой природы, поэт ужасается скрытым до времени темным глубинам ее и нечто жуткое, живущее в душе каждого, олицетворяет в образе отвратительного, кровожадного, беспощадного хищника:

**Сердце наше — кладезь мрачный:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит!** [1, с. 113]

Грозные исторические события — «посреди ужасных развалин столиц, посреди развалин еще ужаснейших — всеобщего порядка и посреди страданий всего человечества, во всем просвещенном мире» [5, с. 184], — свидетелем и участником которых стал Батюшков, вынудили его переосмыслить свое отношение к жизни и творчеству. Рухнул романтический культ мечты («Мечтанье есть душа поэтов и стихов»), защищавший поэта от жестокой действительности: «Все, что я видел, что испытал в течение шестнадцати месяцев, оставило в моей душе совершенную пустоту. Я не узнаю себя. Притом и другие обстоятельства неблагоприятные, огорчения, заботы — лишили меня всего, мне кажется, что и слабое дарование, если когда-либо я имел, — погибло...» [2, с. 300] — признавался он в письме к Вяземскому. Беспристрастный и холодный взгляд на всю мировую историю — от древности до современности — привел Батюшкова к пессимистическому выводу о неразрешимости ее противоречий, ее, в конце концов, бессмысленности:

**Напрасно вопрошал я опытность веков
И Клии мрачные скрижали,
Напрасно вопрошал всех мира мудрецов:
Они безмолвьем отвечали.**

**Как в воздухе перо кружится здесь и там,
Как в вихре тонкий прах летает,
Как судно без руля стремится по волнам
И вечно пристани не знает, —**

**Так ум мой посреди сомнений погибал.
Все жизни прелести затмились:
Мой гений в горести светильник погашал,
И музы светлые сокрылись.** [1, с. 197]

Со всем напряжением душевных сил поэт ищет выхода, задается извечными мучительными вопросами о смысле бытия, человеческого существования:

**Скажи, мудрец молодой, что прочно на земли?
Где постоянно жизни счастье?** [1, с. 195]

Перед лицом неизбежной кончины все сферы человеческой деятельности представляются Батюшкову бесполезными, никчемными, безумным дурачеством смертного рода людского:



Увы, мы носим все дурачества оковы,
 И все терять готовы
 Рассудок, бранный дар небесного отца!
 Тот губит ум в любви, средь неги и забавы,
 Тот, рыская в полях за дымом ратной славы,
 Тот, ползая в пыли пред сильным богачом,
 Тот, по морю летя за тирским багрецом,
 Тот, золота искав в алхимии чудесной,
 Тот, плавая умом во области небесной,
 Тот с кистию в руках, тот с млатом иль с резцом.
 Астрономы в звездах, софисты за словами,
 А жалкие певцы за жалкими стихами:
 Дурачься, смертных род, в луне рассудок твой! [1, с. 130–131]

Тема соотношенности жизни и смерти, раздумья религиозно-философского характера наиболее глубоко раскрываются в стихотворном послании «К другу» (1815). «Сильное, полное и блистательное стихотворение», — отозвался о нем Пушкин. Земные радости для «послевоенного» Батюшкова уже не имеют ценности — они преходящи, бранны. В «область призраков обманчивых» включаются и казавшиеся когда-то незыблемым оплотом дружеские узы, отчий дом:

Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез,
 И место поросло крапивой.
 Но я узнал его; я сердца дань принес
 На прах его красноречивый.
 <...>
 Минутны странники, мы ходим по гробам,
 Все дни утратами считаем,
 На крыльях радости летим к своим друзьям, —
 И что ж?.. их урны обнимаем. [1, с. 196]

Отворачиваясь от тлена земной суеты, Батюшков ищет прочной опоры, ценностей вечных, незыблемых:

Так все здесь суетно в обители сует!
 Приязнь и дружество непрочно!
 Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?
 Что вечно чисто, непорочно? [1, с. 197]

Ответы на эти вопросы, «свет спасительный» духовного прозрения поэт обретает в православной вере:

Я с страхом вопросил глас совести моей...
 И мрак исчез, прозрели вежды:
 И вера пролила спасительный елей
 В лампаду чистую надежды.

Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен:
 Ногой надежною ступаю
 И, с ризы странника свергая прах и тлен,
 В мир лучший духом возлетаю. [1, с. 197]

Поэт духом постиг извечную гармонию Божьего Промысла: «...ничто доброе здесь не теряется, подобно как ни одна былинка в природе: все имеет свою цель, свое назначение; все принадлежит к вечному и пространному чертежу и входит в состав целого». Так писал Батюшков в статье «О лучших свойствах сердца» (1815).

«В мире лучшем», согласно христианскому убеждению поэта, пребудут те, кто имеет «отзывчивое и чуткое сердце», кто «лишь для добра живет и дышит».

Несомненно, в их числе и сам Константин Николаевич Батюшков.

Вот так он развил известное утверждение Жуковского: «Все, все развеется, погибнет. / Как пыль, как дым, как тень, как сон! // Тогда останутся нетленны / Одни лишь добрые дела. / Ничто не может их разрушить, / Ничто не может их затмить» [6, с. 6—7] — в поэтическом послании к другу-поэту:

**Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!.. [1, с. 239]**

Источники

1. Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений. М.; Л.: Советский писатель, 1964.
2. Батюшков К. Н. Сочинения: В 2 т. М.: Художественная литература, 1989. Т. 2.
3. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. М., 1955. Т. 7.
4. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. М., 1955. Т. 6.
5. Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М.: Наука, 1977.
6. Жуковский В. А. Собрание сочинений: В 4 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1959—1960. Т. 1.



Лариса МАРТЫНОВА

СЫН СОЛНЦА

О художнике Марате Джунусове

Светло-зеленые, лишённые зрачков глаза сына солнца устремлены на зрителя, но смотрят отрешенно, сквозь и мимо. Рядом, справа и слева, машут крыльями птицы, наделенные взглядом. Их движения, их перемещения в пространстве как бы пойманы в разные мгновения и зафиксированы на холсте. Темные края картины пульсируют вспышками красно-коричневого и нежно-голубого.

«Солнце мое, взгляни на меня...» Я не люблю все, связанное с мистикой. Здесь царствует мадам Блаватская с ее демонической гордыней. Говорят же: «Во многой мудрости много печали»... Но разум современного человека иногда напоминает мордочку хищного крысенка, который сует свой нос повсюду, а в пространстве бытия наверняка есть кладовки, из щелей которых так и веет сквозняком иномирья. Эзотерики, поэты и художники воспринимают порывы этого сквозняка своим шестым чувством.

Живопись, графика и поэзия — мир эмоций, в котором мистическое, интуитивное и подсознательное проявляется в особых образах и формах. Происходит это даже не по воле самого автора.

Один из примеров вторжения мистики в реальность — жизнь и творчество Марата Джунусова. Самая масштабная его выставка в Усть-Каменогорске называлась «Сын солнца».

Третьего января 2022 года Джунусов мог бы отпраздновать свое 75-летие. К сожалению, жизнь его трагически оборвалась на рубеже тысячелетий, в 1999 году. Его уход был настолько непредсказуемым и страшным, что об этом и говорить-то не хочется. И не надо, чтобы не уподобляться тем особенно информированным крысятам, которые расплодились сейчас в информационном поле. Я убеждена, что биографии талантливых, прославленных и гениальных представителей человечества надо оберегать от мусора, как зеленую лужайку и космос. Плохо то, что любой зловеющий «знак судьбы» был для нашего художника, воспитанного в традициях советского материализма и социалистического реализма, таким же полноценным материалом для работы, как увиденный им жизнерадостный лыжник на празднике в Караганде или молодой рабочий на казахстанской Магнитке. В коллекции Восточно-Казахстанского музея искусств, где я работаю, есть и то и другое.

Марат с удовольствием, профессионально и талантливо рисовал, живописал, фиксировал на холсте и на листках многочисленных блокнотов все, что видел и чувствовал. Он мог бы стать основоположником мистического реализма в искусстве. Он раскормил своих плазмидов, ангелов и демонов до состояния плотной материи. В его сознании и картинах они так же убедительны и материальны, как элементы пейзажа за окном и постановочные натюрморты. Наверное, только психологи и нейрофизиологи знают, сколько людей живут среди нас в двух мирах, одновременно с Гегелем и с Энгельсом. И главный вопрос философии о первичности духа или первичности материи для них не имеет никакого значения.

Важно то, что Марат Джунусов получил профессиональное художественное образование и никогда не отрекался от основ академической школы, которые у него проявляются, прежде всего, в колористике и цветовосприятии природы. Академист очень редко пишет чистым открытым цветом. Тот, кто изучал творчество импрессионистов, знает: невозможно увидеть серую тень. Она обязательно будет цветной. То же касается и рисунка, и формообразования. Даже авангардная стилизация академиста всегда выдает долгий предыдущий опыт работы на пленэре и в этюдных классах.

Джунусов ко всему еще и художник, как говорят, прирожденный. Отец Марата был подполковником МВД Казахстана, все остальные члены семьи тоже имели вполне будничные и более надежные, чем живописец, профессии. Одна из его сестер как-то сказала: «В детстве и юности мы брата совсем не понимали! Он всегда жил сам по себе». При этом любой человек, знавший Джунусова, воспринимал знакомство с ним как особый подарок судьбы. Художник Леонид Зайцев, который сейчас живет в Уфе, не согласился отдать в музей ни одного письма Марата из личной переписки с ним. Он хранит письма у себя как главную семейную реликвию.

Я знаю некоторых людей из окружения Джунусова. В школьные годы мне, как и ему, посчастливилось учиться в изостудии усть-каменогорского Дома пионеров у Ефима Наумовича Годовского. Сейчас уже трудно сказать, почему этот человек, выпускник ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мастерских), оказался в нашем городе. Многие говорили, что он был репрессирован уже в послевоенное время. Годовский не вернулся в Россию, а здесь сам уже практически не работал, все силы отдавал юным художникам. Каждый год, несмотря на свою инвалидность, он возил учеников на пленэр. У него была своя методика преподавания — обучение не столько технике, сколько умению вытаскивать из небытия собственные образы. В детстве мы, к сожалению, до конца не осознаем, кто и как «делает наши души», а Ефим Наумович, будучи в одном лице живописцем, графиком, искусствоведом, философом и литературоведом, лепил наше сознание и мироощущение по каким-то ему одному ведомым идеалам. Именно Годовский первым заметил и должным образом оценил способности Марата. Джунусов, так же как и российский художник (сейчас — народный художник РФ) Виктор Псарёв, был гордостью Годовского. Вместе с Маратом студию посещали многие впоследствии известные живописцы, графики, реставраторы. В их числе нынешние россияне Ольга Кузнецова, Ольга Раковская, Сергей Строков и казахстанцы Габдулмади Меркасимов, Анатолий Щур, Гумар Макаров, Татьяна Орлова.

По совету учителя, после окончания школы Марат поступил в Алма-Атинское художественное училище имени Н. В. Гоголя. Там его педагогами стали Айша Галимбаева, Молдахмед Кенбаев, Тулеген Досмагамбетов — художники, которые сейчас в Казахстане по праву считаются классиками. Впоследствии, будучи уже студентом Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, Марат регулярно писал Ефиму Наумовичу и своим друзьям.

Я и мои подружки пришли в студию примерно в шестьдесят четвертом — шестьдесят пятом. Марата уже не было в Усть-Каменогорске, однако нам, тогда еще маленьким девочкам, казалось, что он где-то рядом. О нем все говорили, читали его письма.

Мне достались лишь «шум его шагов», эскизы, картины, блокноты, которыми он доверял больше, чем людям.

Сейчас работы Джунусова есть в столице Казахстана Нурсултане, в музеях Алматы, Павлодара, Петропавловска, Семей (Семипалатинска). Восточно-Казахстанский музей искусств обладает самой большой авторской коллекцией этого художника (37 произведений). У нас есть личные документы Марата, бесценные путевые блокноты с эскизами и текстами, раскрывающими невидимую кухню его творчества, в этих блокнотах можно обнаружить видения и образы поистине потусторонние, которые во времена советского атеизма находились под большим запретом, чем всякий западный авангард. Музеи Караганды — города, где он долго жил, — с великой ревностью относятся к тому, что большую часть своего наследия Джунусов оставил на родине, в Усть-Каменогорске.

Он многое успел. Его картины были представлены на выставках в Алма-Ате, Омске, Кемерове, Новосибирске, Ташкенте, Фрунзе, Ашхабаде, Белгороде, Смоленске, Калининграде, Ленинграде, Москве и Киеве. Он много путешествовал. Был в Прибалтике, Средней Азии, даже в Италии. Наш художник выставлялся в Чехословакии, Польше, Германии.

Многие произведения Джунусова особенно привлекают как зрителей, так и искусствоведов. Чего стоит хотя бы его «фогелериана»! Так называют у нас серию картин, написанных по мотивам карагандинской ссылки Генриха Фогелера — знаменитого художника, путешественника, яркого представителя югендстиля — немецкого модернизма. Судьба Фогелера поразила Марата. Сейчас казахстанский период жизни немецкого художника-антифашиста в общих чертах восстановлен. А в восьмидесятые годы прошлого века сын Фогелера, Ян Генрихович, искал могилу отца по всему Советскому Союзу. Джунусов вместе с супругой, искусствоведом Натальей Ивановой, жил в Караганде с 1975 года. Каким-то образом он узнал о поисках краеведов, которые уже были информированы о том, что в этих краях (в селе Корнеевка) закончил свои дни деятель культуры мирового уровня. Он знал, что Генрих Фогелер учился в Дюссельдорфской академии художеств, а его усадьба в Ворпсведе с 1900 года стала притягательным местом не только для творческой молодежи Германии, но и для немецких коммунистов. В 1994 году была подготовлена персональная выставка Джунусова в Ворпсведе. Основной темой ее был казахстанский период биографии Генриха Фогелера, который в 1931 году эмигрировал в Советский Союз. Сначала немецкий художник активно работал в Москве, оформлял спектакли, путешествовал по республикам, после критики своих модернистских работ пы-



тался стать честным соцреалистом. Но, несмотря на все заслуги перед советской властью, в сентябре 1941 года его депортируют в Казахстан. Сюжет, в котором изможденный голодом старый художник долбит лопатой мерзлую землю, просто преследовал Марата и сохранился во множестве вариантов в его блокнотах. Так появилась серия живописных картин, одна из которых есть в нашей коллекции.

Без сомнения, история Генриха Фогелера, а затем и все последующие перестроечные события черной и серой гаммой вторглись в солнечную палитру Джунусова. В последних его работах — неприкрытая тоска, растерянность и разочарование в жизни, которые воспринимаются зрителем на физическом уровне. В конце девяностых ему было тяжело, как всем, но обманутым он себя не чувствовал, потому что и при советском строе жил достаточно замкнутой внутренней жизнью. Очень глубоко и по-своему переживая крах социалистической системы, наш художник был не способен иронизировать и ерничать по поводу прошлого, как Эрик Булатов и другие представители соц-арта. Помню, какое невероятное отторжение вызывала у меня картина «Прощание с морем». Это было в первые годы моей работы в музее. Со временем я оценила искренность автора, который научился создавать произведения искусства из собственных разрушенных идеалов. В 1990 году был написан большеформатный «Натюрморт с розой». Не надо быть психологом, чтобы прочесть настроение художника, работающего в мастерской, заваленной старыми холстами, где живая красная роза (так и хочется сказать — его душа) выглядит скорее диссонансом, чем классической доминантой, собирающей всю композицию в единое целое. Символический сюжет 1996 года — «Люди в тумане» — также отражает состояние растерянности, в котором находился не только сам Марат, но и множество людей в то время. Изображенная на этом полотне грустная лошадь с большими глазами была для Джунусова своеобразным символом Родины. Ее силуэт вместе с солнцеголовыми и крылатыми существами сопровождает его в путешествиях, кочует из блокнота в блокнот. Есть в этой картине и жуткая мистика, предчувствие гибели, понятные только близким художника. Как роза в натюрморте, алеет на сером фоне кровавая тога, в которой автор изобразил самого себя. Призрачными силуэтами выплывают из серого тумана фигуры предков Марата и его супруги Натальи. Люди эти следуют друг за другом, художник выстроил их в два ряда, которые смыкаются в центре полотна. А вне рядов еще один силуэт — одинокая фигурка сына художника.

Свои переживания Джунусов воплощает на холстах и бумаге в таком разнообразии форм и стилей, что ошарашенный зритель на каждой из его выставок поневоле сомневается — персональная ли она? С детских лет кумиром его был Марк Шагал. Уже в 1980-х Джунусов перешагнул рубеж, за которым открывается истинная свобода творчества. Даже заказные его работы до сих пор пользуются на выставках особой любовью зрителей. Одна из таких популярных картин — большеформатное полотно «На казахстанской Магнитке». Это сюжетная сценка с изображением молодых то ли строителей, то ли металлургов, отдыхающих после купания на искусственном водохранилище в Темиртау. В этой картине всё — правда. Казахстанский металлургический завод имел статус всесоюзной комсомольской стройки, а искусственное водохранилище в то время, когда художник работал над картиной (1976 год), было еще на удивление чистым. Говорят, даже раки в нем водились. Доминирующий ультрамариновый,

синий фон в сочетании с бронзово-охристыми и красными оттенками используется здесь как проверенный и сильный источник цветовой энергии, а каждый из этих юношей, изображенных по всем правилам академической школы, с течением времени стал символом молодости, комсомола, созидания и радости жизни.

Безусловно, заказная картина «Трудовая победа» напоминает советские плакаты. Но карагандинские пейзажи, такие как «Первый снег», — это настоящая брутальная лирика. Как раз такую картину мог видеть из своего окна карагандинский шахтер, и выглядел он, сам шахтер, именно так, как один из безвестных натурщиков на портрете, написанном в академическом стиле. Уже тогда художник работал над популярной в наше время экологической темой. Он, как никто другой, чувствовал невидимую тень Карлага над городом. Какая там мистика?! Я сама в конце семидесятых во время студенческой практики в течение месяца работала в одном из домоуправлений Караганды и прекрасно помню этих репрессированных бабушек, людей с изломанными судьбами, обитателей карагандинских хрущевек. Такое густое, физически ощутимое горе обитало там...

Я не знаю всей статистики предвоенного и послевоенного периода по количеству эвакуированных и тех, кого называли врагами народа. Их привозили эшелонами. И с ними впоследствии Казахстан осваивал целину и космос. Такому человеку, как Марат, здесь явно не хватало духовного скафандра. Но стоило ему выбраться в Среднюю Азию или зеленую Латвию — многоцветный мир и яркое солнце возвращались к нему вновь. В сознании художника одновременно жили образы казахской степи, морская стихия с рыбами, дельфинами и Венерами, ренессансные толстенькие крылатые амурсы и бычки, нарисованные им в стилистике Пабло Пикассо. Акварели «Море» и «Амур среди цветов», датированные 1999 годом, свидетельствуют о том, что радость и жажда жизни еще были на палитре и в сердце художника. Казахскую степь он чувствовал на уровне каких-то вибраций, электромагнитных волн и во время путешествий постоянно рисовал ее в блокнотах. Есть авторы, которые долго ждут вдохновения, ищут свой стиль, героя и образ. А на графических листах Марата флора и фауна горного и земного миров теснятся, рвутся наружу, как будто его картинки — самый удобный портал, чтобы перемещаться между мирами, чтобы существовать и там, и здесь.

С возрастом в сознании каждого человека формируется определенная архитектура мироздания-мировоззрения. Для меня картины Джунусова, так же как идеи Павла Флоренского, стали подобием цементирующего раствора, который связывает в едином сооружении все краеугольные камни естествознания и теологии. Можно ценить художественные достоинства работ этого художника, можно — его искренность и бесстрашие в искусстве. Он и себя исследовал, как окружающий ландшафт. Вдова Марата Джунусова, заслуженный деятель культуры Казахстана, искусствовед Наталья Иванина, недавно ушедшая из жизни, говорила о нем так: «Великий Шагал когда-то показал ему, что мир искусства не подчиняется законам мира физического. И что именно искусство может более точно раскрыть тайны последнего, определяя в нем место человека» (из книги Н. Ивановой «Дорога искусства. М. Джунусов»).

В заключение расскажу о самых интересных работах художника, посвященных «сыновьям и жителям солнца». В Восточно-Казахстанском музее искусств

есть два живописных полотна из этой серии. «Жители солнца» написаны в 1991 году, «Сын солнца» — в 1995-м. Названия даны картинам самим автором.

Знавшие его люди упоминали, что он любил порассуждать об искусстве вообще, но о секретах охоты за существами бестелесного мира не рассказывал никогда. Его влекло к воздушной стихии, наполненной шелестом крыльев, и солнечные существа были лучшей и последней добычей художника. Блокноты Марата пестрели трофеями — эскизами и набросками, свидетельствовавшими о настоящих муках творчества.

Нельзя сказать, что столь сложная художественная задача решалась впервые. История искусства знает тех, кто видел два мира. Даже петроглифы и пещерная живопись каменного века создавались не для украшения «интерьера». Не случайно охотники древности были по совместительству и художниками, и шаманами. Иероним Босх, Франсиско Гойя, Михаил Врубель не менее страстно искали способ, как бы поймать на плоскости холста «сыновей солнца» и «детей тьмы». В «доушаковской» русской иконографии мыслящие плазмиды изображались в виде крылатого и огненного колес. Таковыми их до сих пор можно увидеть на фресках в наших монастырях. Таковыми они виделись и создателям наскальных рисунков. У нас в Казахстане наиболее известны «солнцеголовые» из урочища Тамгалы. Возможно, что впоследствии «дети солнца» научились не пугать людей и обрели вид прекрасных юношей. Возможно, что прагматичные немцы и французы в эпоху Возрождения договорились изображать ангелов во плоти. Но самые честные и бесстрашные художники, такие, как наш Джунусов, видят и рисуют летающий и, несомненно, мыслящий клубок огня и перьев.

Я представляю, как же трудно было ему подниматься от четких контуров советской плакатной графики в эту беспредметную и тем не менее настойчиво прорывающуюся к нему ирреальность. В своих эскизах он фиксирует, как расплывается, распадается пространство в момент «перехода». Иногда он рисует филоновское крошево, иногда — лучи-стрелы Михаила Ларионова. Ему являются антиподы жителей солнца в виде фигур, укрытых черными капюшонами. В статье «Марат Джунусов. Концептуальный блокнот», опубликованной в Казахстане, я приводила примеры удивительного сходства блокнотов нашего художника с концептуальными альбомами Ильи Кабакова и Павла Пивоварова (Пепперштейна).

Каждый раз на очередной выставке Марата Джунусова я убеждаюсь, как призрачна граница, отделяющая в нашем сознании реальное и, скажем так, неведомое. Этот художник сериями, вещественно, красочно и рельефно живописал свои солнечные видения. Образы в его работах повторялись, как соседи на лестничной площадке, а опыт и повторяемость, учили нас на лекциях по диаграмме, — это критерии принадлежности явлений к действительности. Той, что существует по законам физики и математики.

В течение двадцати лет Джунусов пытался объяснить цветом и линией жизнь и мысль, бытующие в форме чистой и невесомой лучистой энергии. Он интуитивно понимал, что звук и цвет имеют одну природу, и рисовал их одинаково. Он научился ловить электромагнитные волны, призрачное сияние луны, шаровую молнию и солнечный свет.

АВТОРЫ НОМЕРА

Агалаков Александр Викторович родился в Томске в 1960 г. Окончил Томский государственный университет. Филолог, преподаватель, журналист. Занимался филологическим обеспечением транспортной милиции Западной Сибири. Публиковался в журналах «Звезда», «Новосибирск» и др. Автор нескольких книг, соавтор трех сборников публицистики. Живет в Новосибирске.

Игрунов Вячеслав Владимирович родился в 1948 г. в Житомирской области. Российский политический деятель, участник диссидентского движения в СССР, создатель первой в СССР библиотеки неподцензурной литературы. С 1965 г. занимался политической деятельностью. Организатор нелегального марксистского кружка, в котором обсуждались вопросы преобразования советского общества. В 1975 г. был арестован по обвинению «в хранении, изготовлении и распространении клеветнических материалов о советском общественном и государственном строе». В защиту Игрунова активно выступал Андрей Сахаров. В 1993 г. Игрунов стал одним из основателей партии «Яблоко». Был депутатом Госдумы I—III созывов. В настоящее время — директор Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ).

Левченко Наталья Ивановна родилась в Анжеро-Судженске. Окончила филологический факультет Полтавского педагогического института им. В. Г. Короленко. Работала в литературно-мемориальном музее В. Г. Короленко (Полтава, Украина), литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского (Семей, Казахстан), Новосибирском государственном краеведческом музее, заведовала Городским Центром истории Новосибирской книги. Автор ряда литературоведческих и краеведческих статей. Живет в Новосибирске.

Мартынова Лариса — специалист экспозиционно-выставочного сектора Восточно-Казахстанского музея искусств. Живет в Усть-Каменогорске (Казахстан).

Михеева Светлана родилась в 1975 г. в Иркутске. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор одиннадцати книг прозы, стихов, эссеистики. Публиковалась в журналах «Дружба народов», «Сибирские огни», «Октябрь» и др. Лауреат Волошинского литературного конкурса, лауреат премии им. С. Т. Аксакова. Участник ряда литературных фестивалей. Член Союза российских писателей. Живет в Иркутске.

Новикова-Строганова Алла Анатольевна — доктор филологических наук, профессор. Публиковалась в журналах «Вопросы литературы», «Наш современник», «Сибирские огни» и др. Автор четырех монографий и свыше пятидесяти научных и художественно-публицистических работ о творчестве классиков мировой литературы. Лауреат ряда литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Орле.

Пожарская Алина Евгеньевна родилась в 1989 г. в Москве. Окончила Московский государственный лингвистический университет. В настоящее время фрилансер. Публиковалась в изданиях «Дальний Восток», «Байкал», в детских журналах. Участница семинара Союза писателей Москвы, форумов молодых писателей России и СНГ, а также семинаров молодых писателей, пишущих для детей. Автор книг прозы «Другие вольеры» и «Записки с Белого острова». Живет в Москве.

Полиновский Леонид Александрович родился в 1939 г. в Новосибирске. Окончил Томский политехнический институт. Работал на кафедре теоретической механики Сибирского государственного университета путей сообщения. Лауреат премии «Сибирских огней» в номинации «Проза» (2020). Живет в Новосибирске.

Румянцев Дмитрий Анатольевич родился в 1974 г. в Омске. Окончил философский факультет Омского педагогического университета. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Новый мир» и др. Автор трех поэтических книг. Лауреат Всероссийской литературной премии им. В. П. Астафьева (2005). Член Союза российских писателей. Живет в Омске.

Титов Владимир Игоревич родился в 1980 г. в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный медицинский институт. Автор ряда публикаций. Ответственный секретарь журнала «Сибирские огни». Живет в Новосибирске.

Шупиков Алексей Александрович родился в 1990 г. в пос. Заречный Севского района Брянской области. Окончил Международную академию бизнеса и управления. Служил в УМВД России по Брянской области, сейчас работает специалистом по вооружению на частном предприятии. Публиковался в изданиях «Брянский рабочий», «По горячим следам», «Щит и меч» и др. Лауреат ряда литературных премий. Автор сборника прозы. Живет в Брянске.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 25, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 16.07.2022. Дата выхода № 8 за 2022 г. в свет 26.08.2022.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.